Зайдель Г. З

Классовый враг на историческом фронте

2 р. 50 к.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

Г. ЗАЙДЕЛЬ и М. ЦВИБАК

КЛАССОВЫЙ ВРАГ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

ТАРЛЕ и ПЛАТОНОВ И ИХ ШКОЛЫ

19 31

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

Г. ЗАЙДЕЛЬ и М. ЦВИБАК

КЛАССОВЫЙ ВРАГ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

ДОКЛАДЫ Г. ЗАЙДЕЛЯ и М. ЦВИБАКА О ТАРЛЕ И ПЛАТОНОВЕ И ИХ ШКОЛАХ И ПРЕНИЯ НА ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ПРИ ЛОКА И ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

19 31

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
Г. Зайдель. Тарле и его школа . . .	7 — 66
I. Методологические взгляды Тарле	8
II. Тарле, как историк рабочего класса во Франции .	22
III. Тарле — идеолог русского неоимпериализма .	37
IV. „Анналы". Школа Тарле	49
V. Заключение. „Научная" техника исторических работ Тарле	60
М. Цвибак. Платонов и его школа .	67 — 104
I. Политические взгляды Платонова . . .	69
II. Социальные корни платоновских „Очерков по истории смуты в московском государстве XVI--XVIII вв." .	77
III. „Школа" Платонова	87
IV. Историческая наука на службе у контрреволюции и интервенции .	99
Прения: . .	105 — 203
А. Введенский .	105
Н. Попов .	113
П. Щеголев	126
С. Валк	148
Л. Райский . . .	159
М. Мартынов . .	164
С. Семенов-Зуссер.	167
А. Молок .	170
В. Кашин . .	177
Х. Лурье	185
Н. Розенталь .	190
С. Томсинский .	193
З. Лозинский . .	197
М. Цвибак. Заключительное слово .	204
Г. Зайдель. Заключительное слово .	216
Приложения	
Письмо Я. Захера	225
Письмо Н. Розенталя . . .	228
Письмо А. Введенского .	230

Ответственный редактор *Э. А. Корольчук*
Технический редактор *Ф. С. Садовский*

Сдана в набор 26 мая 1931 г., вышла 9 июля 1931 г.

Типогр. „Печатный Двор", Ленинград, Гатчинская, 26.

С, 63. Соцэкгиз № 584/л. Ленинградский Областлит № 11965. 14½ л. Тираж 10.000. Зак. № 1044.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящий сборник представляет собой обработанные стенограммы докладов тт. Зайделя и Цвибака о Тарле и Платонове и их «школах» и прений по этим докладам, состоявшимся 29 января, 1, 12 и 16 февраля 1931 г., на объединенном заседании института истории и общества историков-марксистов при Ленинградском отделении Коммунистической академии. В прениях выступал ряд людей, вышедших из этих «школ» и пытавшихся выявить свое отношение к историческим концепциям своих учителей.

Дискуссия имела большое научно-политическое значение, в частности для Ленинграда, как это видно из прилагаемых писем, поступивших после окончания докладов в институт. Эти письма, несмотря на отдельные недоговоренности и умолчания о прошлых ошибках почти у всех авторов, свидетельствуют о том, что от «школ» Тарле и Платонова на сегодняшний день, собственно, уже ничего не осталось. О том же свидетельствуют, впрочем, выступления Кашина, Валка, Введенского и др., которые не только не в состоянии были во время дискуссии выдвинуть какие-либо аргументы в защиту исторических концепций своих учителей, но вынуждены были сами (каждый, конечно, по своему, в меру своего «отхода») подвергнуть критической проработке как свои собственные взгляды, так и взгляды Тарле и Платонова.

Поэтому совершенно комически звучит претензия господина Альбера Матьеза в последних его статьях представить дело таким образом, что историки-марксисты СССР говорят не от имени «всей исторической науки» нашей страны. Господин Альбер Матьез, бывший член французской коммунистической партии, называвший себя «другом советской России», получивший за это от французской реакции кличку «профессора гражданской войны на кафедре Сорбонны», — напечатал в своих «Анналах» безграмотную статью какого-то неизвестного «русского профессора» Бушмакина, полную инсинуаций по адресу марксистской исторической науки. [1] «Друг советской России» не только напе-

---

[1] См. «Annales historiques de la Révolution française». 1930 г., № 5, статью N. Bouschmakine — «Le neuf Thermidor dans la nouvelle litérature historique».

*

чатал эту безграмотную мазню, но и снабдил ее злопыхательским примечанием, свидетельствующим о том, что в лице Матьеза французская реакция получила нового трубадура и ненавистника рабочего класса и социализма. Что же, для Франции такого рода «перелеты» от пролетариата к буржузии в среде коррумпированной интеллигенции — обычное явление: Альбер Матьез имеет славных предшественников в лице нынешнего фашиста Мильерана, империалиста-«пацифиста» Бриана и многих других. Этим нас удивить трудно. Конечно, в своем примечании Альбер Матьез, становясь в позу «разоблачителя», заявляет, что в СССР «историческую науку, которая есть не что иное, как истолкование *текстов*, подчиняют *априорной догме*, которая и является своеобразным марксизмом, понимаемым и применяемым в виде катехизиса».

Для Матьеза только историческая наука в странах капитализма и в писаниях Тарле и Платонова является беспристрастным «истолкованием текстов», а в СССР, по словам нового приспешника реакции, «история перестает быть независимой и покорно уступает давлению всемогущей политики, которая навязывает ей свои концепции, свои очередные лозунги, даже свои очередные выводы». Стоит только прочитать наши доклады и прения по докладам (повторяем, даже тех «учеников», которые от Тарле и Платонова «полуотходят»), чтобы убедиться в том, сколько «независимости» от господствующих классов и политики империализма было в «исторических трудах» Тарле и Платонова. «Независимость» суждений Альбера Матьеза становится независимостью от пролетариата и полной зависимостью от империалистической буржуазии, лишь только он переходит к аттакам против советской науки. Это понятно у нас даже пионерам, — а Матьез прикидывается наивным «надклассовым» «истолкователем текстов» — и думает этим кого-то провести.

В ответ на инсинуаторскую статью Бушмакина группа советских историков-москвичей (Авербух, Далин, Фрейдберг, Кунисский, Лукин, Моносов, Старосельский, Завитневич) обратились с письмом к Альберу Матьезу, [1] в котором показывают лицемерие заявлений последнего и напоминают Матьезу, что он в свое время выражал сам следующую правильную мысль: «Даже самый скрупулезный и беспартийный историк конструирует свое представление о прошлом, исходя, более или менее, из своего персонального опыта; он поддается, независимо от собственного сознания, впечатлениям окружающей его среды (il sabit toujours, en dépit de lui-même, la pression des ambiances)». Напоминание об

---

[1] «Annales historiques», № 2, 1931 статья Матьеза «...Choses des Russie soviétique».

этом особенно вывело из себя нашего «надпартийного» профессора. «Там, где я выражаю сожаление, там, где я оплакиваю ограниченность человеческого могущества, — бьет себя в грудь Матьез, — вы испускаете крик радости, вы восхваляете бессилие, вы из этого делаете для вашего употребления доказательство, ставите себе это в заслугу». Бедный «марксист» Матьез (а ведь, он себя к ним причислял и, кажется, продолжает причислять)! Стоило ли быть названным «профессором гражданской войны» чтобы теперь перед всем миром засвидетельствовать свое полное непонимание основного тезиса учения Маркса о том, что человек будет свободен только в коммунистическом обществе и что в классовом обществе он скован в своих суждениях и действиях предрассудками и ограниченностью своего класса. Никто из советских историков не «восхваляет бессилия», как тщится это показать Матьез, а констатирует этот закон капиталистического общества и преодолевает его своим участием в построении социализма в нашей стране, в тяжелой борьбе за уничтожение классов, когда наука станет подлинно общечеловеческой. А пока классы не уничтожены, — каждый историк своей наукой служит тому или другому классу. И в миллион раз больше подлинного беспристрастия у тех историков, которые служат пролетариату, т. е. уничтожению «ограниченности человеческого могущества», — чем у хваленых «надпартийных» историков типа Матьеза, выступающих в союзе с темной реакцией против пролетарской исторической науки и, следовательно, за буржуазную — т. е. за увековечение этой классовой ограниченности науки, о которой так лицемерно сожалеет Матьез.

Стоит ли приводить дальнейшие высказывания Матьеза в ответ на упомянутое письмо московских историков-марксистов? Достаточно только указать на то, что Матьез третирует тов. Н. Лукина, как «историка» в кавычках, что, рассказывая по отчету газет о митинге советских ученых в Ленинграде против интервенции, бывший «друг советской Росси» берет под подозрение даже искренность заявлений академика Н. Я. Марра,[1] чтобы понять, как быстро Матьез из Павла превратился в Савла. Само собой разумеется, что господин Матьез, не взирая на факты, полностью поддерживает «голубиную чистоту» Тарле, а также «почтенного» Платонова.[2] Этим самым Альбер Матьез свидетельствует о том, что он не только не преодолел огра-

---

[1] Альбер Матьез цитирует следующее аутентичное заявление акад. Н. Я. Марра, сделанное им на митинге ученых в Ленинграде: «Мы твердо заявляем об этом сегодня: *кто не с революцией, тот против нас,* как бы безупречен он ни был в его собственных глазах и в глазах тех, которые думают, как он».

[2] «Annales historiques», № 2, ук. статья, стр. 152.

ниченности своего классового сознания, но стал открытым слугой французской реакции.

Тарле — прямой агент антантовского империализма, находился в теснейшем союзе с германофилом-монархистом Платоновым. Вместе с такими людьми как Любавский, Лихачев и др. они составляли центр контрреволюционного вредительства. Таким образом, по иронии судьбы, выступление Матьеза поддерживает не только антантофильствующего контрреволюционера Тарле, но и контрреволюцию германофильствующих профессоров монархистов.

Историческая наука — наиболее политическая из наук. Пролетариат, вступив в новый этап социалистического строительства — этап социализма, перешагнул через последние остатки буржуазной исторической науки. Историки буржуазии сходят с исторической сцены вместе с последними остатками буржуазных классов.

Мы надеемся, что наш сборник поможет более углубленно понять классовую сущность буржуазных исторических концепций, и даст оружие историкам-марксистам в дальнейшей борьбе с буржуазными историческими пережитками. Это оружие необходимо, т. к. эта борьба еще далеко не закончена.

Г. Зайдель.

ТАРЛЕ И ЕГО ШКОЛА.

Тема о вредительстве на фронте исторической науки имеет в настоящий момент актуальнейшее значение. Она теснейшим образом вытекает из современного этапа внутреннего и международного положения единственной в мире социалистической страны. Решительное наступление пролетариата СССР на последние остатки капитализма в городе и деревне вызывает бешеное сопротивление классового врага внутри страны и вне СССР. Вступая в третий, решающий год пятилетки, знаменующий собой завершение построения фундамента социалистической экономики, мы сталкиваемся с еще более судорожными усилиями враждебных классов помешать победному строительству социализма. Не подлежит сомнению, что обострение классовой борьбы в нашей стране, обострение противоречий между СССР и международным империализмом — на данном этапе будет все усиливаться.

Последняя опора международного империализма в нашей стране — кулачество — ликвидируется как класс на основе все более успешно развивающейся сплошной коллективизации. Это вызывает усиление интервенционистских замыслов международной буржуазии и полнейшее смыкание зарубежных интервенционистов с их агентами внутри страны — Рамзиными, Кондратьевыми и прочими отечественными вредителями.

Наиболее показательной для указанного процесса нового размежевания классовых сил является откровенная ориентация российского и международного меньшевизма, деятелей социал-фашистского II Интернационала, в сторону прямой поддержки интервенции против СССР. Последние писания Каутского у всех в памяти. На процессе «Промпартии» [1] было великолепно продемонстрировано, как меньшевики типа Громана, неонародники типа Суханова вместе с Рамзиным, Федотовым и др. белогвардейцами завязывали сношения с «Торгпромом» и Милюковым, охотно предоставляя им свои услуги по организации диверсионных актов, голода в СССР, расстройства промышленной жизни и прямой измены, — путем выдачи секретных планов и проч. и т. п.

---

[1] Доклад был сделан до процесса меньшевиков, еще ярче подтвердившего указанные факты.

Среди министров будущего правительства, которое рисовалось в мечтах вредителей из «Промпартии», а также «Трудовой крестьянской партии», фигурировало и имя Е. В. Тарле. Он предназначался в министры иностранных дел.

За Тарле была слава «прогрессивного», «левого» историка, историка рабочего класса. Как же этот левый историк оказался в лагере вредителей?

Я попытаюсь в своем докладе показать классовую сущность его работ, обнажить его классовое лицо, — и тогда мы само собой получим ответ на поставленный вопрос. Не надо забывать, что именно в Ленинграде создавалась и росла слава Тарле, что здесь он обрастал учениками, создавал свою «школу», что, таким образом, остатки «тарлевщины» особенно сильны до сегодняшнего дня как раз в Ленинграде, — и что наш долг, ленинградцев, вскрыть классовое существо «тарлевщины», которая является, как я это постараюсь доказать, по существу синонимом *контрреволюции и фальсификации истории.* Само собой разумеется, товарищи, что в моем, поневоле ограниченном небольшим временем докладе, я не в состоянии охватить решительно все стороны поставленной темы.

Тарле не только в царской России, но и при советской власти находился в гораздо более благоприятных условиях для научного творчества, чем любой из нас, — он при советской власти написал едва ли не больше чем во времена дореволюционные. Именно, в наши дни, уже после революции, Тарле попробовал в целом ряде работ развернуть свою концепцию по вопросам международной политики.

В настоящем докладе я остановлюсь только на важнейших работах Е. В. Тарле, характерных для его методологической и политической позиции.

I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТАРЛЕ.

Среди широкой публики и даже некоторых историков, причисляющих себя к марксистам, Тарле не только слыл за «передового», «прогрессивного», «левого» историка, но и воспринимался ими чуть ли не как полноценный марксист. Это ничего общего не имеет с действительностью. Тарле никогда марксистом не был, хотя и имел некоторое прикосновение в молодости к марксистским кругам.

Для понимания методологических взглядов Тарле нам придется сделать краткий экскурс в прошлое: к концу 90-х гг. прошлого столетия и началу 900-х гг. нашего столетия, когда Тарле складывался, как историк и общественный деятель. Эпоха 90-х гг. в России представляет для историка выдающийся интерес. Русский капитализм, бурно развивавшийся, стал в этот период мощ-

ной силой, подчинившей себе промышленность в городе и проникавшей также и в сельское хозяйство. Окрепшая русская буржуазия, явно недовольная феодализмом, стесняющим свободную игру капиталистических сил, настроена весьма оппозиционно против самодержавия. Но она боится решительной борьбы с абсолютизмом. Она оглядывается уже в ту пору с тревогой на пролетариат, дающий о себе знать совершенно недвусмысленно стачками и глухим недовольством, принимающим и политические формы.

Эти обстоятельства приводят к решительному разложению внутри так называемой «бессословной» русской интеллигенции. Старые, прекраснодушные мечты народников, веривших в возможность перескочить через капитализм прямо в царство мелкобуржуазного равенства «мелких товарных производителей», разлетаются в прах. Реакционная сущность эпигонов народничества становится столь явственной, что от них отворачивается значительная масса интеллигенции. Одна часть ее превращается прямо в трубадуров буржуазии. Самым ярким выразителем этих взглядов становится Струве со своим лозунгом «пойдем на выучку к капитализму».

Лучшие элементы русской интеллигенции образуют первые отряды героической революционной социал-демократии, становящейся во главе борющегося пролетариата. Со второй половины 90-х гг. вождем и создателем пролетарской революционной партии становится Владимир Ильич Ленин.

Между революционной социал-демократией и апологетами буржуазии в этот период завязывается борьба не на жизнь, а на смерть за рабочий класс. Буржуазия стремится сделать рабочий класс придатком к себе, уничтожить его самостоятельность, использовать его как орудие в собственных узко-классовых целях. Революционная с.-д., наоборот, стремится возглавить рабочий класс для его самостоятельной борьбы за собственные интересы и цели.

Наиболее удобной формой овладеть влиянием на пролетариат, подчинить его интересам буржуазии уже в ту пору стал «марксизм» в его ревизионистской форме. Вот почему Струве, Франк, Булгаков и др. проходят через социал-демократию, — чтобы извратить ее сущность, выхолостить из нее революционное содержание, превратить революционный марксизм в *«легальный марксизм»*. Дальнейшим видоизменением этого буржуазного, «легального марксизма» явилось известное «Credo» Кусковой-Прокопович, вышедшее в 1899 г. и ставшее, по существу, идеологической основой выступавшего тогда внутри социал-демократического движения «экономизма».

Именно в этот период (первые работы Тарле относятся к 1896 г.) на общественно-научную арену выступает и Тарле. Он

проделывает почти ту же самую эволюцию, что и его старшие собратья — Струве, Булгаков, Франк и др.: в литературе имеются упоминания о прикосновении Тарле в начале 900-х гг. к социал-демократическому движению. В своих «Революционных силуэтах» т. А. Луначарский, рассказывая о знакомстве с тов. Урицким в Киеве в 1901 г., пишет: «По просьбе местного политического Красного Креста я прочел реферат в его пользу. И всех нас — лекторов и его слушателей, в том числе Е. Тарле и В. Водовозова отвели под казацким конвоем в Лукьяновскую тюрьму».[1] Повидимому Тарле вскоре после этого окончательно освободился от всяких «революционных иллюзий» и стал делать свою блестящую приват-доцентскую карьеру, — во всяком случае никаких других данных, свидетельствующих о том, что Тарле продолжал в какой бы то ни было степени хотя бы «сочувствовать» социал-демократии, мы не имеем.

Тем не менее заигрывание Тарле с социал-демократией отразилось на его первых литературных выступлениях. К этому надо прибавить еще следующее. Как ученый Тарле складывался под воздействием своего учителя, известного представителя «русской школы» Лучицкого, от которого он заразился, как мы увидим, пристрастием к Конту и Роджерсу. Прикосновенность, хотя бы и сторонняя, и весьма кратковременная, к социал-демократическому движению, не могла не повлечь за собой и усвоения, конечно, поверхностного некоторых сторон марксизма, правда, в его вульгарном понимании, свойственном «легальным марксистам» вообще. Не надо забывать, что конец 90-х и начало 900-х гг. были временем, когда буржуазные ученые даже несколько «увлекались» марксизмом.

> Исторический материализм, — читаем мы у т. М. Н. Покровского, — пошел такой бурной волной, что захватил территорию, далеко выходившую за пределы не только революционных рабочих кружков, но и вообще всего, что так или иначе связано с пролетариатом. Мои слушатели, опять-таки, с трудом поверят, что фронт «экономического материализма»... тянулся от Плеханова и Ленина слева до Ковалевского и Милюкова (!) на крайнем правом фланге. Иные старые люди, помнящие те времена, и до сих пор считают Ковалевского одним из родоначальников исторического материализма на Руси.[2]

Фронт «экономического материализма» не мог не захватить также и Тарле: черты этой вульгаризации марксизма Тарле пронес до наших дней. Это облегчало ему рядиться в наши дни под «марксиста». Но для понимания своеобразия Тарле, который в противовес, напр. сухому и гелертерскому Струве, — отличался во всех своих выступлениях на научно-общественной арене ради-

[1] А. Луначарский, Революционные силуэты. М. 1922, стр. 58.
[2] М. Н. Покровский, Задачи общества историков-марксистов («Историк-марксист», т. I, 1926 г.).

кальной фразой, свободолюбивыми декларациями, показным «народо»- и «рабочелюбием», — необходимо принять во внимание, что *политически* Тарле складывался на рубеже двух столетий, когда в России явно назревала революция, когда сравнительное затишье предшествующего десятилетия сменилось бурным нарастанием революционных настроений рабочих и крестьянских масс. Так же, как *методологически* Тарле складывался под двойным воздействием идеалистических идей его учителя **Лучицкого и** «экономического материализма», так и *политически* Тарле испытал противоречивое влияние нарастания революционной волны в России и высокой экономической конъюнктуры 1896 — 1900 гг. в Европе, когда, казалось, рабочий класс отказался от своей революционности и вошел в колею мирного сосуществования с буржуазией, пошел за ревизионистской программой Бернштейна.

Этими обстоятельствами объясняется в значительной степени и *тематика* Тарле и его *словесный радикализм*, прикрывающий буржуазную сущность его идей с первых же шагов его научной деятельности. Если Струве просто звал «на выучку к капитализму», то Тарле это делал значительно искуснее: он писал о рабочем классе, о социализме, о революциях. Тарле выполнял «социальный заказ» буржуазии значительно тоньше, чем Струве, приспособляясь к более радикальным настроениям предгрозовой эпохи. Но, по существу, Тарле вслед за Струве уже в своих первых исторических работах обосновывает тезис о несамостоятельной политической роли рабочего класса, о том, что пролетариат всегда был, есть и будет придатком буржуазии — и его провиденциальная роль заключается в том, чтобы таскать каштаны из огня для своего хозяина.

Если так называемая «русская школа», во главе с Кареевым и Лучицким, искали доказательств необходимости установления незыблемости буржуазного строя в России на примере разрешения крестьянского вопроса в эпоху Великой французской революции, то Тарле, ученик Лучицкого, переместил центр тяжести своего научного интереса на *рабочее движение* той же эпохи. Но прежде чем заняться непосредственно рабочим движением эпохи Великой французской революции, необходимо было проследить корни социализма, который в конце XIX в. был уже синонимом рабочего движения. Вот почему первая диссертация Тарле посвящена Томасу Мору. Вот почему значительная часть его статей, которые Тарле печатал в толстых, прогрессивных журналах эпохи, в «Мире божьем», «Вестнике Европы» и др., а затем собрал в особую книгу «Очерки и характеристики из европейского общественного движения», — значительная часть его статей посвящена рабочему движению, осмыслению политической роли рабочего класса в истории.

Таким образом, тематика Тарле не случайна: она выросла из

потребности русской буржуазии в России в конце 90-х гг., перед лицом надвигающейся революции, осмыслить историю рабочего движения, чтобы по-своему, в своих классовых интересах, истолковать современную роль рабочего класса и использовать его в собственных целях. Поскольку буржуазии этого периода приходилось выступать значительно более радикально, чем в начале 90-х гг., постольку ее апологеты прибегали и к революционной тематике, и к звонкой фразе. Виртуозно все это проделал Тарле: в 900-х гг. он выполнял на исторической арене ту же роль, какую Струве сыграл несколько раньше в области экономической науки, — и с тех же методологических позиций, что и Струве.

В самом деле, что является сущностью «струвианства»? Ленин определяет эту сущность в следующих выражениях:

> Основная черта рассуждений автора, отмеченная с самого начала, это его узкий объективизм, ограничивающийся доказательством неизбежности процесса, и не стремящийся вскрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма, — объективизм, характеризующий процесс вообще, а не те антагонистические классы в отдельности, из борьбы которых складывается процесс. [1]

Раскрывая эту характеристику «струвианства», Ленин показывает, как «узкий объективизм» Струве приводит его к апологии господства буржуазии. Среди наиболее важных черт, образующих струвиальный «узкий объективизм», отмеченных Лениным, остановимся на следующих: 1) Струве, по словам Ленина, приводит доказательства «исторической неизбежности и законности капитализма в широком смысле». Для этого он вносит в вопрос об исторической ограниченности капитализма, неизбежности смены его новым, социалистическим строем «важный корректив», — вместо «пропасти», отделяющей капитализм от социализма, Струве признает «целый ряд переходов». 2) В капитализме Струве видит только один признак — «господство менового хозяйства», но не видит второго признака — «присвоения прибавочной стоимости владельцем денег». 3) Струве трактует государство, как вечный институт, который был в родовом строе, будет и в будущем, ибо государство — это «организация порядка». 4) Струве смазывает «усиление неравномерности при капитализме». Наконец, 5) Струве в ряде случаев заменяет классовый анализ анализом биологическим — является, напр., сторонником закона Мальтуса. [2]

Анализ ранних работ Тарле показывает, что он обеими ногами стоит на позициях «струвианства». Прежде всего, Тарле стремится внести в марксизм тот же «корректив», что и Струве. Он, вслед за Бернштейном доказывает, что Маркс оказался «не-

[1] Ленин, Соч., 1-ое изд., т. II. стр. 152.
[2] См. Ленин, цит. работа.

прав» в своем предсказании неизбежности революционного низвержения буржуазии. Мало того, Маркс, по словам Тарле, еще при жизни отказался от своего прогноза.

Время шло, — вещает Тарле, — и менее проницательному взору могло стать ясным, что совершена какая-то ошибка, что преувеличена скорость промышленной эволюции, умалены силы врагов, переоценены силы своего лагеря, что идеологическое пристрастие способно застлать пленкой самые проницательные глаза. Коренная ошибка заключалась в том, что научного права ставить такой вопрос Маркс не имел. [1]

Но и вторая половина прогноза Маркса о дальнейшем направлении исторического процесса, по словам Тарле, оказалась неверной: не подтвердились ни теория обнищания, ни теория концентрации, ни «миф» о крушении. Маркс

не мог не ошибиться, удача здесь могла бы быть только частичной и безусловно случайной; он и ошибся, и первую часть прогноза отверг сам, вторую часть отвергли очень многие из его эпигонов. [2]

Мы в дальнейшем подробнее остановимся на том, как наш ученый историк понимает закономерность исторического процесса. Сейчас посмотрим, как Тарле доказывает «ошибку» Маркса. Для этого Тарле анализирует историю второй половины XIX в. и, пересказывая своими словами Бернштейна, дает следующую характеристику современности:

Не рискуя впасть в ошибку, — пишет Тарле, — можно утверждать, что вся история истекшего пятидесятилетия заключалась в постепенном исчезновении революционных тенденций и чувств из умственного и морального обихода западно-европейского общества, и что коренные явления социальной и политической эволюции тесно переплетались с этим основным руководящим мотивом, то обусловливая его, то, в гораздо слабейшей степени, сами им обусловливались. [3]

Революционное движение в Англии (чартизм), во Франции (48-й год, Парижская коммуна), в Германии (48-й г., Лассаль, Маркс) потерпели поражение. Основной причиной этого поражения, по словам Тарле, является укрепление капиталистического строя, слияние воедино буржуазии, дворянства и мелкой буржуазии, готовность государственного аппарата обслуживать интересы всех классов общества, в том числе и рабочего класса. Рабочий класс, в общем, примирился с государством, т. к. буржуазное государство стало «*организацией порядка*».

Во второй половине кончившегося столетия, — читаем мы у Тарле, — положение вещей... изменилось; громадное неслыханное развитие промышленности позволяло отчасти капиталистам мириться и с укорочением рабо-

[1] Е. В. Тарле, «К вопросу о границах исторического предвидения» в сборнике «Очерки и характеристики общественного движения в Европе XIX века», Спб. 1903 г., стр. 155.

[2] Там же, стр. 157.

[3] Там же, стр. 1.

чего дня, и с повышением заработной платы, и с обязательным страхованием, а упрочившиеся новые политические порядки, с участием рабочих в парламенте давали этому толчок. Положение рабочего класса во всех промышленных странах Западной Европы улучшилось, и обнаружилась даже небывалая раньше тенденция: известная часть рабочего класса, ставя в зависимость развитие собственного благосостояния от захвата государством внешних рынков, сблизилась с промышленной буржуазией как раз в области самых существенных вопросов: увлечение милитаризмом, маринизмом и колониальными успехами, несомненно коснулось уже и английского, и немецкого, и французского рабочего в некоторых промыслах.

Одним словом, рабочий класс перестал быть классом «для себя», он превратился в придаток буржуазии:

Если рабочий класс, — заключает наш историк, — в его значительной части перестал быть революционным *за страх*, то честь этого класса перестала быть революционной и *за страх, и за совесть*.[1]

Установив политическое лицо рабочего класса в современную ему эпоху, Тарле пытается обосновать несамостоятельную подсобную роль пролетариата и в прошлом. Как подобает всякому буржуазному ученому, докапывающемуся до «основ», Тарле идет в глубь веков. Он берется сначала за Томаса Мора, которого марксистская традиция считает родоначальником утопического социализма. Диссертация Тарле «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии», вышедшая в 1901 г., представляет собою попытку пересмотреть этот установившийся взгляд на значение Томаса Мора в истории социализма.

Характерно, что Тарле, арестованный как раз в этом же 1901 г. за свою прикосновенность к социал-демократическому движению, в своей диссертации пытается, по примеру немецких буржуазных доцентов, сделать себе карьеру на сокрушении Маркса и его учеников. Он выступает против Каутского, который в начале 900-х гг. был в глазах широкой публики противником «ревизионизма» и представителем ортодоксального марксизма. Тарле с видом «ученого колпака» обвиняет Каутского в следующих смертных грехах: во 1-х, в отсутствии ссылок на источники, в 2-х, в том, что Каутский

стремится без всяких оснований, путем чисто «словесных» оборотов подогнать якобы существующие потребности XVI века ко всему содержанию идеалов Томаса Мора.

Мимоходом попадает и Мерингу, которого наш «левый» историк, вслед за буржуазно-реакционной прессой Германии, третирует en canaille.

Подобный образ действий, — продолжает свои упреки Каутскому наш выслуживающийся перед буржуазными коллегами доцент, — достоин «исто-

[1] Там же, стр. 51 — 52. Подчеркнуто Тарле, как и дальше, за исключением особо оговоренных мною мест. — *Г. З.*

риографов» в роде Меринга, но недостоин таких, как Каутский, показавший себя хотя бы в той же самой книжке внимательным биографом и человеком, способным писать блестящие личные характеристики.

Для Тарле, например, совершенно неприемлемым является мысль Каутского о том, что появление гуманизма связано с началом развития капитализма. Он готов обвинить за это Каутского чуть ли не в фальсификации истории.

Это-то стремление, — вновь подчеркивает Тарле, — насильственно подогнать *все* содержание умственного движения, проявление умственных теорий под наперед установленную (и, в данном случае, фантастическую) схему и отозвалось на анализе Каутским «Утопии» и испортила этот анализ в сильной мере.[1]

Между тем, несмотря на ряд упрощений, которые имеются у Каутского и в 900-х гг., в эпоху написания им «Томаса Мора», на некоторые элементы мещанских оценок и идей, анализ Каутского, конечно, значительнее и глубже анализа Тарле. Каутский, например, отмечает одну чрезвычайно важную черту коммунизма Мора, которая показывает связь этого коммунизма с эпохой и отделяет его от позднейших утопистов-коммунистов. Эта черта: отсутствие обобществления орудий производства (при обобществлении средств производства) — Мор до этой мысли не дошел, поскольку в основе производства в эпоху Мора лежало ремесло. Тарле этого не видит — он проходит мимо этой важнейшей черты моровского коммунизма. Мало того, *Мор — для Тарле не коммунист*. Идеология Мора для Тарле является только плодом литературного заимствования у «блаженного» Августина и у Платона. Мор — просто радикальный писатель, отрицавший современную ему действительность.

Утопия, — пишет Тарле, — дает яркий образец того, как создавались теории, наиболее отрицавшие действительность, наиболее с нею непримиримые... В его построении мы видим, до какой степени самая идея безнадежности практических улучшений и их невозможности придает иногда широту теоретическому полету мысли, освобождает ее от всех стеснений и задержек.[2]

Сведя на нет значение Мора, как коммуниста, как родоначальника утопического социализма, Тарле идет дальше. В той же книге «Очерки и характеристики» напечатан весьма поверхностный эскиз нашего «радикального» историка — «Дело Бабефа». Оказывается, что не только Томас Мор не был коммунистом, но и Гракх Бабеф к этой породе людей не имел никакого отношения.

Историческое значение Бабефа, — читаем мы в этой статье, — заключается вовсе не в теоретическом новаторстве, как хотят думать некоторые его биографы, а только и исключительно в политической роли, которую ему

[1] Е. В. Тарле, Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии, Спб. 1901, стр. 156, 157, 158.
[2] Там же, стр. 457.

пришлось сыграть; он сделался представителем протеста против того, что он считал реакцией, против окончания революции. [1]

Расправившись, таким образом, с предками современного социализма, причесав их под радикальных буржуа, Тарле подкрепляет этим свой основной тезис о том, что рабочее движение и ныне и раньше, никогда вообще не имело самостоятельной ценности. Занявшись после революции 1905 г. историей рабочего класса в эпоху Великой французской революции, Тарле, как мы увидим, фактически обосновывал на специфически подобранном архивном материале этот свой контрреволюционный тезис. Но уже в первый период своей деятельности, в эпоху первой русской революции Тарле в своей книге «Падение абсолютизма» развил эту идею. В названной книге, весьма радикальной по фразеологии, Тарле стремится на историческом материале оправдать свой тезис об отсутствии революционности в рабочем классе конце XIX и начала XX вв. Революционность рабочего класса возможна только при буржуазии.

Едва ли какая-нибудь форма правления, — пишет Тарле, — способна оказывалась так быстро и естественно создавать в моменты кризиса враждебную себе кооперацию нескольких классов, как именно абсолютизм. Он, по сущности, по идее своей, отрицает всякую динамику, всякое движение, всякую эволюцию в теории.

Вот почему насильственное низвержение абсолютизма неизбежно. И если рабочий класс оказывается главной боевой силой этого насильственного низвержения, то потому, что «соглашение с рабочими для абсолютизма социологически невозможно». Таким образом провиденциальная роль рабочего класса, с точки зрения Тарле, заключается в том, чтобы помогать буржуазии сокрушать феодализм.

Во Франции, — упорно повторяет Тарле, — пролетариат достиг известной высоты классового сознания лишь в XIX веке, когда абсолютизм уже был низвержен, но уже в эпоху Великой революции, еще не вполне осмысливая обусловленность своих интересов, он помогал весьма деятельно буржуазии в ее победоносной борьбе. [2]

Так было, по словам Тарле, и в Германии и в Австрии.

Лишь только абсолютизм сокрушен, капитализм укрепился и организовал «порядок», пролетариат перестал быть революционным. Так обосновывает Тарле пошлый струвианско-бернштейнианский «корректив» к марксовой теории исторической ограниченности капитализма. Так, наш «левый» историк выступает в

[1] Е. В. Тарле, «Очерки и характеристики», стр. 194. Мы увидим из дальнейшего, что от характеристики Бабефа, данной Тарле в начале 900-х гг., он не только не отказался впоследствии, но пытался ее углубить и обосновать, прибегая к явно фальсификаторским приемам.

[2] Е. В. Тарле, Падение абсолютизма, 1 изд., стр. 142—145.

своих ранних исторических работах, подобно Струве, самым плоским апологетом капитализма.

Неудивительно, что Тарле в предисловии к своей неоднократно нами цитированной книге «Очерки и характеристики» посвящает ряд теплых строк своему старшему собрату и одному из своих учителей в области методологии и политики, все тому же Струве.

Всего одна статья, — пишет Тарле в этом предисловии, — заново написанная, должна была войти в настоящий сборник, — эта статья была посвящена разбору и оценке исторических взглядов Петра Бернгардовича Струве. Читатель, верно, не удивился бы, встретивши эту статью в сборнике, носящем такое название, какое носит предлагаемый: во-первых, Струве высказал ряд значительных, если не всегда одинаково подкрепленных, то часто весьма и весьма своеобразных воззрений на общественные западноевропейские движения в XIX веке, а во-вторых, он сам, со всем комплексом пережитых им мыслей и настроений, со всею эволюцией, через которую он прошел, является для нас исторической фигурой далеко не последнего значения.

В заключение Тарле характеризует Струве, как человека «строгого долга, острой мысли, веского слова», оговариваясь при том, что его статья о Струве, — «во многом полемизирующая, вовсе не панегирическая, а только беспристрастная (!)», [1] — но что может быть более «панегирической», чем упомянутая характеристика! Тарле, конечно, «полемизировал» со Струве, употреблял более радикальную фразеологию, давал другой материал, выполнял «социальный заказ» буржуазии на сравнительно свежей «революционной» тематике, но делал это, методологически и политически идя по-стопам Струве.

«Узкий объективизм», на почве которого методологически стоит Тарле уже в своих ранних работах, таким образом прикрывает его реакционную политическую сущность. Именно, с точки зрения «узкого объективизма», Тарле подходит, напр., к таким политическим деятелям как Парнелль или Гамбетта. Он ухитряется писать о Парнелле, почти не затрагивая вопроса о дифференциации в ирландской деревне. Он пишет о Гамбетте, этом типичном буржуазном деятеле Франции конца XIX в., совершенно не освещая его классовой сущности.

И все свои реакционные идейки Тарле с первых же шагов протаскивает, подобно Струве, под прикрытием Маркса. Уже выше нами было указано на то, какой существенный «корректив» вносит Тарле в теорию марксизма. Но этого «корректива», снимающего, собственно, основное в марксизме, для Тарле недостаточно. Он идет дальше — и оспаривает самую возможность установления закономерности исторического процесса. При чем Тарле с серьезным видом якобы полемизирует со Штаммлером, который,

---

[1] Е. В. Тарле, «Очерки и характеристики», предисловие, стр. II.

как известно, в первую голову «критиковал» марксистскую историческую законосообразность. Цена этой «полемике» со Штаммлером — грош, ибо Тарле, подобно Штаммлеру, толкует закон Маркса о столкновении между производительными силами и производственными отношениями, как конфликт между экономикой и правом (по Тарле «правовые условности»). Вслед за Штаммлером, совершенно не понимая неоднократно подчеркиваемой Марксом мысли, что закономерность общественного развития коренным образом отличается от закономерности в природе, что «люди сами делают историю», — Тарле оперирует примером из области естественных наук, анализируя «закон тяжести» и фантазируя насчет того, как изменить этот закон, «если между землей и притягиваемым телом станет какой-либо предмет».[1]

В лучшем случае Тарле усваивает марксизм в виде вульгаризированного «экономического материализма». «Экономика — пишет он — не Ахиллес, а политика — не Гектор, у стихии нет самолюбия, желания торжества ради торжества, стремления к видимой кричащей победе.[2] Но, будучи «экономическим материалистом», неизбежно скатываешься либо к фатализму, либо к апологии «случайности». Так это происходит и с Тарле: его историческая «стихия» поворачивается у него часто противоположным концом.

Есть слово, — пишет он, — которым социология до сих пор расписывается в своем малосилии — слово «случай». Этот-то неуловимый ингредиент и входит в гораздо большей мере в «происшествие», нежели в «сознание», и делает предсказания «происшествий» часто ошибочными и почти всегда немотивированными.

Маркс потому и ошибся в своем прогнозе, что он не учел всего грандиозного значения «случайности» истории.

Мириада условий самых кричащих, самых обескураживающих, осталась в тени (для Маркса. — *Г. З.*), а вперед выступила блестящая точка, — образ людей, которым нечего терять и которые будут всесильны. Не говоря о явно односторонних психологических соображениях касательно обоих лагерей во время решительной битвы, была совершена масса других натяжек.[3]

Одним словом Маркс не мог ничего предсказывать, ибо «случай» в истории играет решающую роль, а всех «случаев» не предусмотришь. Повторяя почти в каждой своей работе имя Маркса, Тарле собственно от Маркса ничего не оставляет. Тарле выступает, как типичный *буржуазный эклектик* в области методологии. Как мы уже выше указывали, Тарле от своего учителя Лучицкого унаследовал пристрастие к Конту и Роджерсу. Об увлечении И. В. Лучицкого Контом Тарле сочувственно пишет в своей статье,

---

[1] Е. В. Тарле, Падение абсолютизма, 1-ое изд., стр. 9.
[2] Там же, стр. 7.
[3] Е. В. Тарле, «Очерки и характеристики», стр. 151, 155, 156.

посвященной 50-летию своего учителя.[1] В работах Лучицкого, посвященных реформации во Франции, работах, представляющих образчик идеалистического объяснения идеологических явлений, Тарле видит «реальное научное объяснение всей «героической» эпохи политических выступлений гугенотов и отпора, данного ими католической реакции».

Тарле и в зрелые годы совершенно не понял разницы в методологических принципах марксизма и контизма.

Это видно не только из упомянутого отзыва Тарле о методе Лучицкого. В одной из своих мало известных работ, относящейся к 1908 г., посвященной развитию «философии истории»,[2] наш «марксист» пишет следующее о взаимосвязи между социологией Конта и Маркса:

> ...*новейшая социология является производной влияния Маркса и Огюста Конта.* Конт расчистил почву в том отношении, что одному Марксу, занятому анализом вновь открытого материала, было не по плечу и не под силу расчищать почву и в том отношении, в каком расчищал ее Конт, исследуя метафизику и религию философии истории.

Так Тарле милостиво соединил Конта с Марксом, сделал из них эклектическую смесь.

В 80-х годах Лучицкий, как это видно из воспоминаний Тарле, несколько остыл к Конту (чего нельзя сказать о Тарле), но зато увлекся Роджерсом. По словам Тарле, Лучицкий видел в Роджерсе родоначальника нового «экономического» направления в истории. Это направление, — говорил Лучицкий, — «обещает в будущем радикально изменить то, что называют научной историей».

Тарле, следуя за Лучицким, пронес увлечение Роджерсом вплоть до наших дней. Совершенно не понимая значения метода Маркса, Тарле ставит на одну доску с основоположником революционной теории, диалектического материализма, типичного, «ползучего эмпирика», Торольда Роджерса.

> Почти одновременно с выходом первого тома «Капитала», — пишет Тарле, — в Англии (с 1866 г.) стало публиковаться многотомное исследование проф. оксфордского университета Роджерса под названием «История земледелия и цен в Англии». С каждым томом становился все яснее ход исторической жизни английского крестьянства, причины и последствия расслоения его на отдельные экономические группы, все больше и больше подтверждалась та истина, что без истории хозяйства данной страны можно рассказать, но нельзя понять ее истории вообще. *Роджерс, не зная Маркса и*

---

[1] Е. В. Тарле, И. В. Лучицкий. К 50-летию его литературной деятельности («Голос минувшего», январь 1914 г.).

[2] Е. В. Тарле, Всеобщая история (очерк развития философии истории). Психо-неврологический институт. С разрешения лектора. По лекциям проф. Е. В. Тарле, составил Г. С. Издание (гектографированное — *Г. З.*) слушателей стенографов. С.-Петербург. 1908 г., стр. 95. Подчеркнуто мною. — *Г. З.*).

*

вполне независимо от Маркса, дал первое приложение его воззрений и методов и именно по истории земледелия и земледельческого класса.[1]

Вся сила глубокомыслия Тарле по поводу Роджерса станет яснее, если мы познакомимся с отзывом о Роджерсе и его методе, данном только в наши дни, совсем недавно, таким откровенно фашистским идеологом, как В. Зомбарт. В статье «Экономическая теория и экономическая история», напечатанной в «Economic History journal» в 1929 г., Зомбарт называет работу Роджерса «История земледелия и цен» лишь «комментарием к собранным автором статистическим данным, комментарием, полным технических указаний и не более того».[2]

Так выглядит метод Роджерса с точки зрения смертельного врага марксизма, Зомбарта. А «рабочий» историк Тарле умилительно ставит Роджерса в один ранг с Марксом. Характернейшая черта эклектика — это попытка соединить несоединимое. И Тарле соединяет Конта, Роджерса и Маркса. Но этого мало для Тарле. В цитированном уже нами гектографированном курсе, посвященном развитию философии истории, наш историк с симпатией говорит, конечно, о «неокантианцах», отмечая, что «теорией познания», вновь выдвинутой учениками Канта, заинтересовались «приверженцы объективной школы (читай, марксистов. — *Г. З.*), первые начав ее «изучать».[3]

Совершенно понятно, что когда Тарле хочет «поглубже» обосновать философский метод Маркса, он ничего другого не может придумать, как старую сказку о том, что Маркс на свой лад перекладывал пресловутую «триаду» Гегеля. Вот как звучит у Тарле получаемый Марксом «синтез»:

Из этой частной собственности и капитализма социализм совместит только некоторые стороны и явится действительным *примирением* элементов, какие только и могут дать человечеству и мир и счастье.[4]

Каким «примиренцем» выглядит у Тарле Маркс, видно из того, как трактуется им учение Маркса о революции:

Вся история состоит из борьбы классов. Иногда она протекает медленно, иногда развивается быстро. *Когда развитие идет медленно, то называется эволюцией, когда оно развертывается быстрым темпом, то называется революцией. Между революцией и эволюцией разница количественная, но не качественная.*[5]

Этих цитат хватит. Тарле обнаруживает в понимании Маркса и его метода такую бездну премудрости, что ее хватило бы, веро-

---

[1] Е. В. Тарле, «История труда и его значение» (в журн. «Архив истории труда в России». 1921 г., кн. 1, стр. 7). Подчеркнуто мною. — *Г. З.*

[2] Цитировано по рецензии *И. Звавича*, «Обзор английских исторических журналов». («Историк-марксист», т. 13, 1929 г.)

[3] См. цитированный курс лекций «Всеобщая история», Психо-неврол. инст., стр. 13.

[4] Там же, стр. 86. Подчеркнуто мною, как и дальше. — *Г. З.*

[5] Там же, стр. 92.

ятно, не на один десяток тех бездарных доцентиков, которые подвизаются в буржуазных университетах на сокрушении и извращении марксизма. Эклектизм Тарле здесь перерастает в какое-то новое качество и превращается в пустую, буржуазно-либеральную болтовню. Эта болтовня, этот каскад радикальных фраз для Тарле служат, однако, часто прекрасным орудием и прикрытием его реакционного мировоззрения. Словесный радикализм Тарле приобретал иногда неожиданные формы, и в свое время увлекал не одного доверчивого читателя, или слушателя.

Приведем несколько примеров. Цитировавшийся нами выше курс лекций по «философии истории» Тарле, искромсавший Маркса и превративший его в смирненького эволюциониста, вдруг кончается таким «мажором» в честь Маркса, сумевшего в эпоху реакции, после 1848 г., не растерять своих надежд на победу его идей.

Даже в эти отчаянные моменты, обращаясь умом к той исторической дали, когда этот промежуток будет ничтожным, он (Маркс) один, можно сказать, не терял духа и мужества. Он жил упованием, что настанет момент, когда о тех людях, которые являются угнетателями в данный момент, будут говорить: «Жалкие, ничтожные людишки, желавшие заградить могущественнейшую реку, желавшие сделать нечто неосуществимое, идущие против природы!» Вот эта светлая мысль, что если бессмысленный гнет и торжествует, то торжествует временно, — эта мысль может считаться тем завещанием Маркса, расставаться с которым человеку в самые горькие годы торжества абсолютизма не следует! [1]

Это говорил Тарле в 1908 г., в годы установившейся реакции Столыпина, свирепствовавших военно-полевых судов, — и это не могло не производить впечатления на мелкобуржуазную студенческую аудиторию, которая уж, конечно, после этого принимала Тарле, как стопроцентного марксиста и революционера. А вот что писал Тарле накануне первой русской революции, в 1903 г.:

...Еще не доказано, и вовсе не доказано, — окончательно ли старая песня, или Западная Европа имеет дело лишь с паузой... [2]

Это писалось после того, как Тарле доказывал черным по белому, что революционность в западной Европе исчезла. В той же работе Тарле выражается еще резче и радикальнее:

Никогда нельзя определить, — писал он, — произойдет ли самое столкновение в решительных формах, напр., в виде восстания? История полна случаев, когда совершенная апатия сменялась внезапно бешенством и возбуждением и наоборот, — и все это происходило очень часто самым, казалось бы, нелепым и неожиданным образом, неожиданным даже для участников драмы. [3]

Прикрывшись агностицизмом и выдвинув свою теорию всесильности «случая» в истории, Тарле, как видим, огорашивает

[1] Там же, стр. 102.
[2] Е. В. Тарле, «Очерки и характеристики», стр. 53.
[3] Там же, стр. 158. Подчеркнуто Тарле. — *Г. З.*

читателя и слушателя чрезвычайно радикальной и звонкой фразой. Именно это обстоятельство делало Тарле, особенно в эпоху революции 1905 г., очень популярным. Лекции по эпохе Великой французской революции, начатые Тарле в то время в Петербургском университете, привлекали толпы слушателей.

Популярность Тарле усилилась еще после того, как Тарле в одной из манифестаций был ранен в голову шальной шашкой царского казака. Реакционеры увидели в лице Тарле настоящего «красного» и рисовали его в виде революционного потрясателя всех основ собственности и морали. Вот что писал в эту пору известный черносотенец и погромщик, протоиерей Буткевич:

> Интеллигентская молодежь, сбитая с толку различными социалистическими и революционными теориями, толпами спешит в аудиторию Тарле, надеясь услышать там хоть нечто такое, что могло бы послужить для нее опорой и оправданием действий, явно предосудительных и безнравственных, каковы бойкоты, забастовки всякого рода, обструкции, экспроприации, убийства, грабежи, воровства, насилия и т. п.[1]

Бедный отец Буткевич и иже с ним! Они были уверены, что «сильнее кошки зверя нет», что Тарле самый крайний социалист и революционер, а Тарле в это время, если что-нибудь и доказывал, то только следующее: Маркс — смирненький буржуа, пролетариат всегда служил навозом для буржуазии, и буржуазный строй, вообще, — строй нормальный, вечный и несокрушимый. Так радикальная фраза помогала нашему историку прикрывать свою буржуазную сущность, так искусно Тарле с первых дней своей научно-литературной деятельности выполнял «социальный заказ» русской буржуазии — взять на буксир пролетариат, заставить его служить орудием для укрепления государства буржуазии. *Методологический эклектизм* являлся для Тарле великолепным орудием в достижении им этой *политической* цели.

II. ТАРЛЕ КАК ИСТОРИК РАБОЧЕГО КЛАССА ВО ФРАНЦИИ.

Работы Тарле накануне и во время революции 1905 г. являются только подготовительной ступенью для написания им широко известных работ, посвященных истории рабочего класса в эпоху Великой французской революции. В историографию Тарле входит не как автор исследования о Томасе Море, или очерков о падении абсолютизма, а как автор книг: «Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789—1799)». СПБ. 1907, «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». 2 тт. 1909—1911 гг., «Континентальная блокада» — 2 тт. (I том вышел в 1913 г., второй том вышел уже во время войны, но напи-

---

[1] Проф. (!) Г. И. Буткевич, Уроки первой французской революции (из переписки друзей). Харьков, 1907, стр. 2.

сан раньше). Таким образом, Тарле как историк возмужал и расцвел в эпоху между двумя русскими революциями, в эпоху реакции (в широком смысле слова).

Ленин характеризовал наступившую после разгрома революции реакцию, как «период измены и уныния в лагере демократии, кризиса и частичного развала социал-демократических организаций».[1] Размежевание классовых сил в России приняло совершенно новый характер. Либерализм превратился в защитника контрреволюции. Вот что писал Ленин об этом повороте русского либерализма:

> То, что до революции называлось либеральным и либерально-народническим «обществом» или «просвещенной» частью и представительницей «нации» вообще, широкая масса зажиточной, дворянской, интеллигентской «оппозиции», которая казалась чем-то целым, однородным, пропитывающим земства, университеты, всю «порядочную» печать и т. д. и т. д. — все это проявило себя в революции, как идеологи и сторонники буржуазии, все это заняло очевидную теперь для всех *контр-революционную* позицию по отношению к *массовой* борьбе социалистического пролетариата и демократического крестьянства. Контр-революционная либеральная буржуазия родилась и растет. Этот факт не перестает быть фактом от того, что его отрицает «прогрессивная» печать, или от того, что его замалчивают и не понимают наши оппортунисты, меньшевики.[2]

Бывшие «марксисты», Бердяев, Булгаков, Изгоев, Струве, Франк и др. выступают со своими печально-знаменитыми «Вехами», где прямо заявляют о необходимости покончить с социалистическими иллюзиями и начать откровенно идеологическое обслуживание русского капитализма. Струве и К° становятся откровенными глашатаями империалистической «Великой России». Как относится Тарле к этой контрреволюционной клике? Может быть он стоит в стороне, если не противодействует, то не помогает, находится, так сказать, «вне схватки»? Формально он стоит в стороне, но по существу, прикрываясь радикальной фразой, всем политическим смыслом своих исторических работ помогает реакции. В его вышеупомянутых крупных работах о рабочем классе в эпоху Великой французской революции мы находим в развернутом виде доказательства на обширном, специфически подобранном архивном материале из эпохи революции, тезиса о несамостоятельной, подсобной для государства буржуазии, роли рабочего класса.

Какова в общих чертах марксистско-ленинская трактовка вопроса о роли рабочего класса во время французской революции? Мы различаем два основных этапа в истории рабочего класса в эту эпоху. Первый этап — роль рабочего класса в эпоху революционной диктатуры мелкой буржуазии — до термидорианской реакции. Второй этап — после падения Робеспьера. На первом этапе рабочий класс, вернее французский предпролетариат, не выступал

[1] Ленин, Соч., 1-ое изд., т. XI, ч. 1, стр. 155.
[2] Там же. Подчеркнуто Лениным. — *Г. З.*

как совершенно самостоятельная сила, а являлся частью широкого мелкобуржуазного блока, возглавляемого якобинцами. Под давлением предпролетариата и французской бедноты, в целом, якобинцы провели максимум, как классовую меру, обеспечивающую интересы бедноты в городе и деревне, ввели террор, направленный против всех врагов революции, сумели организовать отпор как внутренним, так и внешним врагам революции. Именно потому, по Марксу, «весь французский терроризм был ничем иным, как плебейским способом покончить с врагом буржуазии — с абсолютизмом, феодализмом и с мещанством» — потому, что французский предпролетариат этой эпохи в широком мелкобуржуазном блоке составлял один из самых активных составных элементов революционной диктатуры.

Было бы, однако, заблуждением думать, что французский предпролетариат целиком и полностью сливался в этот период с робеспьеровской группой. Эбертисты, и в особенности, бешеные, отчасти Бабеф этого периода (т. е. Бабеф — сторонник «аграрго закона») — выражали недовольство предпролетариата-бедноты *ограниченным кругозором мелкобуржуазной диктатуры*. Но не будучи пролетариатом в подлинном смысле этого слова, т. е. индустриальным пролетариатом, превратившимся в «класс для себя» — французский рабочий класс этого периода не смог выдвинуть последовательной революционно-пролетарской программы. Отсюда крайний радикализм «бешеных», напр., но совершенно неверные, объективно реакционные лозунги этой группы — уничтожение террора, восстановление конституции 1793 г. — лозунги, которые в период диктатуры якобинцев играли на руку контрреволюции. Отсюда — *своеобразная диалектика* революционной эпохи: не бешеные и не Бабеф, а значительно менее радикальная группа, представляющая интересы *устойчивой мелкой буржуазии*, — именно, группа Робеспьера оказывается наиболее способной стать во главе революции и осуществлять те *плебейские* методы расправы с феодализмом, о которых писал Маркс.

Эту своеобразную диалектику революционной диктатуры якобинцев подчеркивал Маркс, когда он говорил о «трагической двойственности» Робеспьера. Последний был вынужден, по словам Маркса,

> признать и санкционировать в «Правах человека» современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов... и в то же время аннулировать в лице отдельных индивидуумов жизненные проявления этого самого общества, и в то же время желать построить по античному образцу политическую верхушку общества.[1]

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. Изд. Ин-та Маркса и Энгельса, т. III, стр. 150.

Ту же диалектику существа революционного правительства — широкой народной базы, на которой держалась революционная диктатура якобинцев, при ее исторической и социальной ограниченности, подчеркивал и Ленин. Он писал:

Материальное, производственное обновление Франции в конце XVIII века было связано с политическим и духовным, с *диктатурой революционной демократии и революционного пролетариата (от которого демократия не обособлялась и который был еще почти слит с ней)*, с беспощадной войной, объявленной всему реакционному. Весь народ и в особенности массы, т. е. *угнетенные классы*, были охвачены безграничным революционным энтузиазмом...[1]

Именно этот энтузиазм «угнетенных классов», наиболее активную часть которых составлял французский предпролетариат, и придавал ограниченной мелкобуржуазной диктатуре якобинцев широкий размах, делая ее на известном этапе победоносной и всесокрушающей. Таким образом, в эпоху революционной диктатуры мелкой буржуазии, — на *первом этапе* рабочий класс не играет самостоятельной роли, но вместе с тем, без учета значения рабочего класса, как *наиболее радикальной* группы в широком, народном, мелкобуржуазном блоке — нельзя понять его истинной роли.

Наконец, *на втором этапе*, нисходящем периоде революции, после 9-го термидора, когда побеждает и все более крепнет буржуазная контрреволюция, ведущая прямо в объятия Бонапарта, *рабочий класс играет уже другую роль*. Не став еще «классом в себе», он, на опыте революции, настолько самоопределяется, что в состоянии сделать, по выражению Маркса, «первые попытки . доставить торжество своим классовым интересам». («Коммунистический манифест»). Речь идет о Бабефе, ставшем вождем «Заговора равных». С точки зрения Маркса, идеи Бабефа, несмотря на такие черты, как «всеобщий аскетизм» и «грубая уравнительность» выражали «требования *пролетариата*» (там же).

Такова марксистско-ленинская схема развития рабочего класса в эпоху Великой французской революции. А какова схема Тарле? Она не заключает в себе ничего общего с указанной, она продолжает традиции реакционных историков, рассматривавших буржуазию, как демиурга исторического процесса, а пролетариат, как покорного слугу буржуазии.

За всю рассматриваемую эпоху (1789 — 1799. — *Г. З.*), — пишет Тарле, — рабочие не обнаруживают, вообще говоря, ни малейших признаков принципиально враждебного отношения к основам господствовавшего экономического строя, ни к какому-либо из политических режимов, начиная с Учредительного собрания и кончая консульством. Сознание классовой обособленности, чувство товарищеской солидарности, за немногими исключениями, мало проявляются в рабочей среде в рассматриваемый период.[2]

---

[1] Ленин, Соч. 1-ое изд., XIV, ч. 1, стр. 211. Подчеркнуто мною. — *Г. З.*

[2] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху Французской революции, т. II, стр. 546 — 547.

Чтобы «доказать» этот тезис, *явно расходящийся с действительностью,* Тарле вынужден, конечно, *фальсифицировать* историю. Для этого Тарле, во-первых, преуменьшает развитие промышленности во Франции, во-вторых, умалчивает о ряде важнейших событий этого периода, в-третьих, совершенно смазывает различие между термидорианской контрреволюцией и революционной диктатурой, наконец, в четвертых, извращает истинную роль Бабефа.

В самом деле, для Тарле Франция накануне революции была одной из самых отсталых в капиталистическом отношении стран. Экономическое положение Франции, по Тарле, характеризуется: а) господством различных форм домашней индустрии, б) громадной ролью деревенского промышленного труда, в) отсутствием, за редким исключением, сколько-нибудь крупных промышленных предприятий, г) «примитивностью промышленной техники сравнительно с Англией, отчасти с Голландией, немецкой Швейцарией и западно-германскими странами». [1]

Подходя к историческим явлениям грубо механически, только с точки зрения внешней видимости, Тарле не понимает значения и роли *мануфактурного периода* в развитии капитализма. Он всецело воспринимает точку зрения своего учителя И. В. Лучицкого, который писал о развитии промышленности в Лимузине:

> Работа на дому, в пользу купцов, — вот что характеризует собой большинство кустарей области. Работа за свой страх и на собственные средства — редкое явление. [2]

Тарле рассматривает и руанскую и лионскую промышленность, которая является типичной «рассеянной мануфактурой», как домашнюю промышленность. Примитивизируя промышленное развитие Франции, Тарле готов считать Россию эпохи Екатерины II по степени промышленного развития чуть ли не более передовой страной, чем Франция. Для него

> Франция времен Людовика XVI гораздо ближе к екатерининской России, чем к Англии Аркрайта и Уатта... Механические усовершенствования, шедшие из Англии, были до самого XIX века для Франции совершенно случайным новшеством, экзотическим явлением... По типу своему французская промышленность конца XVIII в. отнюдь не была более развитой, чем промышленность русская. [3]

Работы новейших буржуазных историков Балло, Шмидта, Анри Сэ и др. полностью опровергают эту примитивную точку зрения Тарле. Историк, посвятивший целое исследование положению рабочих *национальных мануфактур* во Франции, совершенно

[1] Е. В. Тарле, цит. соч., стр. 544.

[2] И. В. Лучицкий, Крестьянское землевладение преимущественно в Лимузине, 1900 г., стр. 99.

[3] Е. В. Тарле, «Россия и Запад». Сборник стат. 1918, стр. 141.

игнорирует даже своих западных коллег, не говоря уже о работах Маркса.[1] Между тем, Балло, например, отнюдь не марксист, преувеличивающий роль государства в создании капитала, в основном подтверждает выводы Маркса, заявляя, что «крупная промышленность» была до «введения машин». Если бы Тарле действительно объективно подходил к исследованию исторического процесса, он, хотя бы в своих *послевоенных* работах, должен был посчитаться с работами указанных историков французской промышленности. Между тем, в своей работе, вышедшей уже в наши времена, в 1928 г. «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства», Тарле продолжает оставаться на своей старой точке зрения, обнаруживая не только непонимание роли мануфактуры, но диллетантски относясь и к вопросу о промышленной революции во Франции.[2]

Сводя промышленное развитие Франции в эпоху Великой французской революции к господству «ремесла и домашней индустрии», Тарле тем самым обосновывает свой тезис о ничтожном значении рабочего класса во время революции. В самом деле, раз мы имеем господство ремесла и домашней промышленности, то даже о предпролетариате не приходится говорить. Мы имеем такую стадию отделения производителя от средств и орудий производства, когда между крестьянином и рабочим значительно меньше разницы, чем между крестьянином и ремесленником. И совсем неудивительно, что с начала революции рабочие полностью сливались с буржуазией,

> идя сначала с теми слоями населения, которые стремились к низвержению старого порядка, а потом всецело признавая авторитет властей.[3]

Припомним, что тот же Тарле начинает описание периода, предшествовавшего открытию Генеральных Штатов, с рабочих волнений — разгрома домов фабрикантов Ревельона и Анрио,[4] и

---

[1] См. работы Ballot, L'introduction du machinisme dans l'industrie française. Paris 1923, Henri Sée, La vie économique le la France sons la monarchie censitaire (1815 — 1848). Paris, 1927; Ch. Chmidt, Les debuts de l'industrie cotonnière (Revue de l'histoire économique 1913 и 1914 гг.) и др. См. также статью В. Далина, «Мануфактурная стадия капитализма во Франции» («Истор.-марксист», т. 14), где точка зрения Тарле подвергнута углубленной марксистской критике на основе новейших данных.

[2] См. Ф. Потемкин, «Промышленная революция во Франции» («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 4, 1929 г.). Автор статьи несколько преувеличивает значение работы Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху Фр. рев.», впадая этим в противоречие со своей дальнейшей оценкой методологической беспомощности Тарле при исследовании экономического развития Франции.

[3] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху рев., т. II, стр. 544.

[4] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху рев., ч. 1, Спб., 1909. «Столичная беднота, — пишет Тарле, — напомнила о себе не наказами, а неожиданным для всех (и для нее самой!!) агрессивным выступлением», стр. 17.

тогда нам станет ясна вся неправильность утверждения Тарле даже для начального периода революции.

Но этот неправильный тезис выставлен Тарле совершенно-сознательно. Он у него теснейшим образом увязан с игнорированием классовых сил, приведших к установлению максимума. В противоречие с действительными фактами, Тарле утверждает, что закон о максимуме, «как регулятор цены на предметы потребления, оказался мерою совершенно неудачною и не улучшил, а ухудшил положение потребителя».[1] Стоит только сравнить дикий скачок цен после отмены максимума с ценами в эпоху максимума, чтобы сразу опровергнуть это утверждение Тарле. Наш «историк» рабочего класса не может понять (или делает вид, что не понимает), что без закона о максимуме революционная диктатура не удержалась бы и несколько недель, что революционная диктатура Робеспьера могла опираться на рабочий класс и бедноту потому, что максимум был единственным средством, который, в общем, защищал интересы неимущего потребителя. Именно, массы принудили Робеспьера и якобинцев в целом стать во главе движения за максимум, Представители буржуазии, жирондисты, поплатились властью, были поставлены вне закона, были отброшены в лагерь контрреволюции, между прочим потому, что они противились всеми силами введению максимума. А Тарле считает максимум какой-то «надклассовой» мерой, никого не удовлетворившей. Чем же тогда можно, по Тарле, объяснить выступления «эбертистов», «бешеных», всех радикальных групп, представлявших бедноту в широком смысле слова и, следовательно, рабочий класс — за усиление максимума, за его неукоснительное соблюдение? На все эти вопросы у Тарле ответа не найдется. Ибо его утверждение не имеет под собой никакой почвы в действительности.

Максимум был плодом «больного воображения» якобинцев: рабочий класс тут не при чем. Такова «философия» Тарле. Рабочий класс, вообще, никакой роли не играл в событиях. У рабочих королевских мануфактур, по Тарле, была «полная беспрекословная покорность по отношению к установленным властям».[2] Было бы еще с полбеды, если бы это утверждение относилось только к рабочим национальных мануфактур, а к рабочим вообще только в начальный период революции. Но по Тарле это не так. Оказывается, что и в последующие периоды рабочие вообще ничем себя не проявляют, как классовая сила: рабочие «не играют никакой самостоятельной роли ни в 1794 г., при падении Робеспьера, ни в 1795 — 99 гг. В эпоху Директории они пассивно ждут перемены, возлагая надежды свои то на воскрешение режима Робеспьера,

---

[1] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху рев., т. II, стр. 433.

[2] Е. В. Тарле, Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции. Спб., 1907, стр. 192.

то на «военное правительство», которое их избавит от Директории».[1]

Чтобы это «доказать», приходится просто фальсифицировать историю. Это достигается Тарле путем умолчания. Тарле умалчивает о событиях, имеющих *кардинальное* значение для понимания движущих сил революции и контрреволюции в эпоху после термидора. У него нельзя найти ни одного слова о восстаниях в жерминале и прериале 1795 г., являющихся прелюдией к «заговору» Бабефа и шедших под лозунгами социально-политическими. Требования «конституции 1793 г. и хлеба» великолепно характеризуют эти движения, являющиеся ответом на безудержную спекуляцию буржуазии после отмены максимума, на прогрессирующий голод и нищету масс, на белый террор контрреволюции. Это были массовые движения рабочего класса — *против буржуазии*, а для Тарле рабочие все время «пассивно ждут перемены». Умолчание о жерминале и прериале, таким образом, не является случайным — оно помогает Тарле фальсифицировать историю.

Наконец, читатель двухтомного исследования Тарле о рабочем классе во время революции тщетно будет искать в выводах автора в конце книги (Тарле тщательно во всех книгах резюмирует свои выводы) хотя бы упоминания о Бабефе, о роли его идей в истории рабочего движения. В самом исследовании пройти совсем мимо Бабефа, конечно, даже Тарле не мог, но там, где Тарле касается Бабефа, мы имеем поразительное недомыслие, полное извращение идей Бабефа. Говоря о Бабефе, Тарле отмечает:

> 1) совершенную определенность непосредственной *политической* программы: требование замены существующей конституции — конституцией 1793 г. и 2) неясность программы социальной.[2]

Для Тарле неясна социальная программа Бабефа, который совершенно отчетливо говорит о «реальном равенстве», об «обязанности всех трудиться», об «уничтожении богатства и бедности», об общем владении всех землею и орудиями производства. Тарле утверждает, что «Анализ доктрины Бабефа»

> *не есть требование отказа от частной собственности*, ибо всюду в прокламации виден протест лишь против «исключительного» присвоения богатыми «всех» средств, и первый пункт прокламации тоже в этом отношении мало выясняет дело, именно потому, что мысль, в нем выраженная, не развивается в последующих пунктах.[3]

Посмотрим, однако, что гласят последующие пункты, напр., п. 11. В нем говорится: «революция еще не закончена, так как богатые монополизируют все имущество и всю власть, тогда как

[1] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху революции, т. II, стр. 596.

[2] Е. В. Тарле. Там же, стр. 522.

[3] Там же. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

бедные работают, как настоящие невольники, чахнут в нищете и не играют никакой роли в государстве». [1]

Навряд ли можно подвергнуть сомнению *коммунистический характер этого пункта*. Но предположим, что для нашего ученого и «радикального» профессора это не ясно. Но ведь пункт 4 того же документа прямо гласит: «труд и потребление должны носить коллективный характер». Наконец, есть ведь и ряд других документов, в частности «Манифест равных», где мы читаем о необходимости «коллективной собственности», «общности имуществ», где провозглашается «долой частную собственность — на землю», где мы читаем следующие пророческие слова:

> Французская революция является только предвестницей другой, более великой и более торжественной революции, которая будет уже последней. [2]

Совершенно ясно, что Тарле тщится изо всех сил цитировать «неясные» места у Бабефа и умалчивает о совершенно отчетливых и ясных коммунистических высказываниях его. Эта фальсификация понадобилась Тарле для углубленного подтверждения старой его мысли, высказанной им, как мы видели, в ранних работах, что Бабеф является только радикальным политическим деятелем, а отнюдь не коммунистом. Для Маркса развитие рабочего класса в эпоху французской революции рисуется в таком виде:

> Революционное движение, которое началось в 1789 г. в «Социальном клубе», которое в середине своего пути имело своими главными представителями Леклера и Ру и, наконец, потерпело на время поражение вместе с заговором Бабефа, — движение это вызвало к жизни коммунистическую идею... Эта идея, последовательно разработанная, и есть идея нового мирового порядка («Святое семейство»).

Итак, рабочий класс в лице Бабефа выдвинул, по Марксу, идею «нового мирового порядка» — коммунизм. Но по Тарле, для которого рабочий класс вообще служит лишь придатком буржуазии, Бабеф, конечно, может фигурировать в лучшем случае только в виде радикального писателя. Что, в самом деле, может сделать с точки зрения ограниченного буржуазного историка, каким выступает перед нами Тарле в этих своих работах, посвященных рабочему классу во Франции, какой-то там жалкий пролетариат! [3]

---

[1] Буонаротти, Гракх Бабеф и заговор равных. ГИЗ. 1923 г., стр. 182. См. также книгу А. Пригожина, Гракх Бабеф — провозвестник диктатуры трудящихся. М. 1925. Приложение, стр. 214.

[2] Цитировано по книге А. Пригожина, ук. соч. (см. приложения), стр. 211.

[3] Характерно, что Матьез пытается в своей новейшей работе «Термидорианская реакция» представить Бабефа вдохновителем (вместе с Фрероном) гнусных действий «золотой молодежи». Матьез конструирует совершенно неправдоподобную «догадку» о том, что «Tribun du peuple» Бабефа издавался на средства Фрерона и его «белогвардейских» друзей — термидорианцев. Матьез тщится «доказать» ту же мысль, что и Тарле, — что Ба-

Такова «философия истории» нашего историка рабочего класса. Само собой разумеется, что читатель тщетно ищет в книгах Тарле ответ на вопрос: где кончается революция и начинается контрреволюция? Никакого водораздела между эпохой Робеспьера и «термидорианской» реакцией Тарле не устанавливает. Для Тарле переворот 9 Термидора является «концом террора»,[1] как будто террор, теперь уже направленный против бедноты и рабочего класса, не продолжается с прежней силой. Водоразделом, с точки зрения Тарле, является *отмена максимума*, при чем «термидорианский» конвент просто продолжает то, что уже начато при Робеспьере. Классового характера мелкобуржуазной диктатуры якобинцев Тарле не видит. Поэтому «термидор» для Тарле является некоторым новым политическим моментом, но отнюдь не *контрреволюцией*. В этой части зависимость между П. П. Щеголевым, проводящим ту же идею в своей статье в «Историке-марксисте», а затем и в своей книге «После термидора», — и его учителем, Тарле, несомненная. П. П. Щеголев правильно полемизировал с Тарле по вопросу о классовом характере максимума. В этом вопросе Щеголев оказался прав, он преодолел своего учителя. Но вот в «Историке-марксисте» мы читаем:

Прежде всего, — пишет Щеголев, — нам удалось установить строгую преемственность между деятельностью термидорианцев и политикой последнего периода якобинской диктатуры. Исходные пункты целого ряда «реакционных» мероприятий нужно отодвинуть далеко за пределы грани, образуемой переворотом 9-го термидора, ближе к весне 1794 г. Процесс социального перерождения и начало социальных сдвигов в значительной степени восходят ко временам диктатуры «неподкупного». Под внешней оболочкой господства Робеспьера зарождаются и вызревают тенденции, получающие полное свое развитие только к самому концу 1797 г.[2]

Та же мысль, которую развивает Тарле о продолжении контрреволюционным «термидорианским» конвентом политики Робеспьера, выражена П. П. Щеголевым и в его книге «После термидора».

Таким образом, — пишет Щеголев, — в области применения закона о максимуме переворот 9-го термидора не вызвал никаких немедленных изменений в установившейся административной практике. То принципиально новое, что было привнесено в рутину этой практики, восходит еще ко времени Робеспьера. Частичный отказ от прямолинейного буквального исполнения закона имел место в самый разгар террора. Именно тогда начался кой-какой перелом в сторону свободной торговли, путем изъятия из действия макси-

беф не был родоначальником коммунизма. Совпадение взглядов Тарле и Матьеза — трогательное. См. А. Матьез. Термидорианская реакция. 1931 г., стр. 66 и 67.

[1] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху революции, т. II, стр. 434.

[2] П. П. Щеголев, «К характеристике экономической политики термидорианской реакции». («Историк-марксист», № 4, 1927 г., стр. 100).

мума целого ряда дорогих тканей. В мероприятиях этих покровительство отдельным отраслям текстильной промышленности идет об руку с защитой потребительских интересов крупной буржуазии.[1]

Одним словом:

9-е термидора скользит по поверхности, не оставляя никаких следов. Для всей истории максимума 9-е термидора вообще не образует никакой вехи.[2]

Таким образом, контрреволюционное значение термидорианского переворота у Щеголева смазывается. В этом вопросе он идет целиком еще за своим учителем Тарле. И другой ленинградский историк Я. М. Захер в этом вопросе — существеннейшем вопросе для правильного понимания судеб революции — идет за Тарле. С точки зрения Захера «*Все классы общества одинаково тяготились диктатурой якобинцев*», и уже, конечно «переворот 9-го термидора *был одобрительно встречен всеми классами французского общества*».

Правда, тут же Захер спохватывается и заявляет, что надо расматривать события 9-го термидора, как «переворот», — но от этого дело не меняется, так как логически это заключение из всех предпосылок, выставленных Захером, отнюдь не следует.[3] В некритическом следовании за Тарле Я. М. Захер идет даже дальше, чем П. П. Щеголев, утверждая, что

закон о максимуме, оттолкнув от революции крестьянство, не удовлетворил вместе с тем рабочий класс.[4]

Согласие с основными тезисами Тарле у Захера, таким образом, трогательное. Захер не занимался эпохой после термидора, но из его точки зрения логически следовал бы тот же вывод, к которому приходит Тарле. Последний пишет:

Изнуренным безработицей и голодом, отчаявшимся в средстве (т. е. в максимуме. — *Г. З.*), которое еще пятнадцать месяцев тому назад он считал панацеей от всех зол, вступал рабочий класс в начавшийся новый период. 1795 — 99 гг. оказались для рабочих *продолжением бедствий*. Максимум ухудшил положение рабочих, и они без тени протеста смотрели на казнь Робеспьера, отмена максимума не спасла их от голода, — и они стали ждать человека, который избавил бы их от новых владык, низвергших Робеспьера и севших на его место. Но и в том и в другом случае они были уже не актерами, а только зрителями.[5]

---

[1] П. П. Щеголев, После термидора, 1930, стр. 83 — 84. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

[2] Там же, стр. 74.

[3] Я. Захер, 9-е термидора, Ленинград, 1926, стр. 18, 127. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

[4] Там же, стр. 16.

[5] Е. В. Тарле. Рабочий класс во Франции в эпоху революции, т. II, стр. 434. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

Вся эта формулировка, совершенно смазывающая классовую разницу между политикой Робеспьера и контрреволюции, совершенно не соответствует действительности. «Термидор» не просто явился «продолжением бедствий», а качественно новым ухудшением положения рабочего класса: катастрофическое обесценение ассигнаций, в буквальном смысле этого слова голодная заработная плата, обреченность рабочего класса на вымирание, — все это началось при Директории и в значительной степени объясняется тем, что максимум был отменен, — и для спекуляции, наживы, ажиотажа был открыт неограниченный простор. Наконец, для Тарле подготовка бонапартистского переворота рисуется в виде прямой линии — от Робеспьера, через Директорию — к Консульству. А для революционного марксиста — *не революционная диктатура является причиной бонапартизма, а контрреволюционный переворот 9 термидора*, свергший мелкобуржуазную диктатуру, фатально вел к диктатуре Бонапарта, к военно-буржуазной диктатуре.

На примере Великой французской революции Тарле как бы предостерегает русских рабочих от иллюзии, что можно путем революционной диктатуры расправиться победоносно с абсолютизмом. Основной политический смысл работ Тарле о рабочем классе во Франции сводится к оправданию контрреволюции, к апологии господства буржуазии. И все это делается нашим историком под прикрытием ярких радикальных фраз. Прочтите места, где Тарле описывает тяжелое положение рабочих при Директории, и вам покажется, что вы имеете дело с печальником рабочих интересов, с революционным историком. На каждом шагу Тарле подчеркивает бедственное положение рабочих:

> Тысячи рабочих *погибают* в Лионе от отсутствия занятий, от голода... рабочие Нанта посылают отчаянные моления всем властям... *трагическое* положение хорошо освещают отчаянные мольбы рабочих о помощи, сохранившиеся в редких уцелевших документах этого рода [1] и пр. и т. п.

Весь этот словесный радикализм прикрывает реакционную контрреволюционную концепцию автора.

Мы не можем в какой бы то ни было степени подробно остановиться на работе Тарле «Континентальная блокада», которая является прямым продолжением его работ, посвященных рабочему классу в эпоху революции. В основном Тарле стоит в «Континентальной блокаде» на тех же методологических позициях, что и в прежних работах. Он упорно повторяет ту мысль, что в эпоху Наполеона главный тон задавали «купцы».

Явно преуменьшая уровень промышленного развития Франции, Тарле всей своей книгой, с одной стороны, славословит На-

[1] Е. В. Тарле, Положение рабочего класса..., II, стр. 446, 449, 450. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

полеона, который личной своей волей и гением «вздыбил» отсталую Францию, попробовал сокрушить экономически самую передовую страну, а с другой — как бы показывает, к чему может привести авантюризм сильной личности. Нет никакого сомнения, что под именем Наполеона Тарле разумеет Вильгельма II, тем самым служа интересам русской и антантовской буржуазии, сводившей борьбу двух систем империализма к провокации войны со стороны авантюристически настроенного Вильгельма. Этот тезис во время войны и после нее будет упорно защищаться в разных вариациях Тарле и его школой.

Для полноты характеристики контрреволюционности точки зрения Тарле на Великую французскую революцию и роль в ней рабочего класса, — необходимо хотя бы в нескольких словах напомнить о работах, вышедших в этой связи уже после Октябрьской революции. Я имею в виду сборник документов «Революционный трибунал», вышедший под редакцией Тарле, и исследование Тарле «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства (1815-1831)». Первая работа является типичной халтурой, нарочито выпущенной для «посрамления» деятельности ЧЕКА. Подобранный из контрреволюционных источников материал [1] дает картину совершенно необоснованного и дикого террора, лишенного на первый взгляд какого бы то ни было смысла. Единственное объяснение, которое напрашивается при чтении этих документов, это крвожадность революционеров. В предисловии к первой части «Революционного трибунала» Тарле готов поддержать тезис Олара, Матьеза и др., что террор имеет оправдание, как средство против угрожавшего Франции *внешнего врага*.

Слово «революционер» и слово «патриот» были синонимами в те годы во Франции, и дикие жестокости террора в глазах темной массы были ответом на попытки иностранцев и «изменников» расчленить страну. [2]

Но Тарле на этом не останавливается. Это объяснение кажется ему неполным: он обязательно хочет представить французских революционеров подонками общества, отбросами человечества.

Если бы историки этой (Олара, Матьеза и др. — *Г. З.*) школы одновременно больше подчеркивали также губительнейшую роль, сыгранную *бесчисленными темными и определенно преступными элементами*, пристроившимися к террору, то их концепцию можно было бы признать более подтверждаемой фактами, чем воззрения первой (Тэн, Валлон и др. — *Г. З.*) школы. [3]

---

[1] «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции. Воспоминания современников и документы. Редакция проф. Е. В. Тарле». Изд-во «Былое» (вышло две части).

[2] Там же, стр. 4.

[3] Там же, стр. 4 — 5. Подчеркнуто мной. — *Г. З.*

Интересно, что Тарле в своих прежних капитальных работах о Великой французской революции этого факта нигде не подчеркивал. После Октября Тарле еще более «углубил», «уточнил» свою точку зрения на террор. Это было им сделано для вящего посрамления деятельности органов диктатуры пролетариата. Попытки Тарле оправдаться против обвинения его в том, что «Революционный Трибунал» направлен своим острием против красного террора большевиков — ссылкой на то, будто в 3-ей части, не увидевшей света, даны другого характера документы, — является попыткой с негодными средствами. Слишком уже выпирает в первых двух частях и в предисловии автора — обнаженный политический контрреволюционный смысл этой работы.[1]

Что касается упомянутой второй работы Тарле, то в частности, в описании причин лионского восстания, наш историк явно продолжает свою прежнюю тенденцию — смазать значение рабочего класса. Для Тарле характерно то, что он относит к полупролетариям и таких хозяев, которые владеют 6 — 8 станками, отдают их в работу наемным рабочим и эксплуатируют их, платя им только половину стоимости выработанного товара.

Рабочий-пролетарий и хозяин мастерской, полупролетарий, были на одной стороне социальной баррикады, предприниматели-капиталисты на другой.[2]

Конечно, если отнести к «полупролетариям» упомянутых «хозяйчиков-эксплуататоров», то классовый характер поведения имущих классов оказывается скрытым. Между тем, новейшие исследования лионского восстания, основанные на обширном архивном и современном печатном материале, как раз показывают, что восстание было не столько следствием тяжелой безработицы и кризиса, сколько ответом на *провокацию капиталистов:*

Отдельные капиталисты явно провоцировали восстание, как выход из неудовлетворявшей их легальной ситуации.[3]

Этот важнейший момент Тарле совершенно игнорирует. Тот же «узкий объективизм», который двигает Тарле в ранних его работах, торжествует и здесь. Этот методологический грех мстит за себя, так как Тарле и в этой работе пытается за радикальной фразой скрыть свою реакционную точку зрения. С одной стороны он причисляет к пролетарскому лагерю таких предпринимателей, которые не могли не быть на стороне буржуазии, с другой сторо-

[1] См. «Большевик», 1928 г., №№ 1 и 3, статью т. Слепкова «Орудие победы» и ответ Тарле.

[2] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства, стр. 237.

[3] См. статью Ф. Потемкина, «Причины восстания лионских рабочих в 1831 г.» («Архив Маркса и Энгельса», кн. 4, 1929 г., стр. 210). См. также рецензию Н. Завитневича на разбираемую книгу Тарле («Историк-марксист», т. XI, 1929 г.).

ны, — он преувеличивает *пролетарский* характер движения и просто без оговорок относит лионское восстание «к первому чисто рабочему революционному восстанию новейших времен.»[1]

Тарле не может понять, что лозунги лионских повстанцев были еще неясны и неопределенны, что никакой особой социально-политической программы, противопоставленной буржуазной, — у повстанцев 1831 г. не было. Ведь в движении участвовали не только рабочие, но и «хозяйчики» (хозяйчики совсем другого типа, чем те предприниматели, которых Тарле считает «полупролетариями»), основной целью борьбы было введение тарифа. Это восстание, как правильно выражается т. Лукин, было «*предвестником новых классовых битв* между капиталом и трудом».[2] Рассматривать же первое лионское восстание 1831 г., как «первое революционное восстание новейших времен», что делает Тарле, без всяких поправок, без попытки выяснить особенности этого движения, отсталые черты, характеризующие идеологию повстанцев, — значит опять-таки смазать специфические черты последующих боев пролетариата, когда он выступил как «класс для себя» и выставлял совершенно отчетливую, противоставленную буржуазии программу.[3]

Итак, Тарле остается верен себе на протяжении всех работ, посвященных рабочему классу. Движущих сил Великой французской революции Тарле не понимает, «термидор» для него смена лиц, а не контрреволюционный переворот. Террор для него орудие «патриотов», которое используют в своих низких целях подонки и преступники. Что касается до рабочего класса, то в эпоху французской революции на всем ее протяжении рабочий класс является придатком буржуазии. Роль придатка буржуазии остается у рабочего класса и для последующих эпох, ибо «новейшие» движения пролетариата, по Тарле, ничем не отличаются от лионского восстания 1831 г.

Таким образом, в эпоху между обеими революциями в России Тарле в исторической области выполнял ту же задачу, которую поставили себе авторы «Вех» в области непосредственно политической. Вслед за Струве Тарле доказывает, что рабочий класс не-

---

[1] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства, стр. 227.

[2] Н. Лукин (Антонов), Новейшая история Зап. Европы. М. 1923 г., стр. 419. Подчеркнуто мной. — *Г З*. См. также С. Моносов, Лионское восстание.

[3] Признавая большую ценность упомянутой статьи Ф. Потемкина о лионском восстании, мы не можем согласиться с его выводом, что надо видеть в лионском восстании «скорее одно из последних и поздних движений «мануфактурного периода» («Архив М. и Э.», кн. 4, стр. 211). В данном случае мы имеем со стороны Ф. Потемкина в виде реакции на преувеличения Тарле несомненное преуменьшение значения лионского восстания 1831 г.

минуемо должен служить буржуазии. Неудивительна ненависть этого «историка рабочего класса» к диктатуре пролетариата, после Октября и крушения русской буржуазии, его попытка в своих работах дискредитировать террор и, под видом радикальной трактовки значения первых восстаний рабочего класса, дискредитировать самую идею рабочей революции, как самостоятельной революции. Идеологически Тарле с первых дней и до сегодняшнего дня является апологетом буржуазии, ярым врагом рабочего класса.

III. ТАРЛЕ — ИДЕОЛОГ РУССКОГО НЕОИМПЕРИАЛИЗМА.

Вопросами внешней политики Тарле вплотную занялся во время мировой войны. «Памяти студентов Юрьевского университета, павших за родину» посвящен II том «Континентальной блокады», вышедшей, как я уже указывал, во время войны, а именно, в 1916 г. в Юрьеве. В «Книге о войне», изданной приложением к газете «Современное слово», Тарле в статье «Пред великим столкновением» впервые развивает основные принципы своей концепции о задачах русского и антантовского империализма, которые в несколько видоизмененном виде (послевоенная обстановка обязывала) он обосновывал уже в наши дни, в СССР, сначала в «Анналах», а затем в своей книге «Европа в эпоху империализма».

Отметим одну деталь: Тарле во время войны выступает, как антантофил и германофоб, как верноподданный царской России, но все это облито патокой радикальных фраз о демократии, о свободе, о культуре и пацифизме.

> ...Судьбы европейской культуры, — вздыхал Тарле в упомянутой статье, — зависят от того, удастся ли... найти такой выход из бушующего пожара, который бы не грозил новыми и близкими катастрофами. Пока этот выход даже и отдалеино не намечается. [1]

Смыслом этого воздыхания является поддержка лозунга «война до победоносного конца». Верный рыцарь русской буржуазии Тарле выступал на всем протяжении войны именно под этим лозунгом. Чтобы его обосновать, надо было, конечно, представить Россию и Антанту в качестве невинных агнцев, а Германию, — единственной виновницей войны. Создатели Версальского трактата могут быть благодарны нашему «историку рабочего класса»: он потрудился для этого достаточно в пределах России.

Каковы основные тезисы концепции Тарле в цитированной

---

[1] Е. В. Тарле, «Перед великим столкновением» («Книга о войне», бесплатное приложение к газете «Современное слово». Петроград, 1915 г., стр. 161).

статье? Прежде всего Тарле доказывает, что причиной образования Антанты является агрессивная политика Германии, ее союз с Австрией и Италией.

Образование тройственного союза, — пишет он, — вызвало естественное стремление России и Франции объединиться для будущего отпора общим врагам.

Но не только образование Антанты, — колониальная, завоевательная политика Франции в Азии и Африке является... делом рук Бисмарка.

Еще в 1878 г., — поучает нас Тарле, — Бисмарк толкнул французов на завоевание Туниса, давши им понять, что Германия ничего против этого не имеет... Мечты о реванше, о возвращении Эльзаса и Лотарингии должны были замениться планами расширения колониальных владений. [1]

Наш «марксист» забыл на одну минуту об империалистических интересах французской буржуазии. Классы в истории внешней политики для Тарле, вообще, величина, которую учитывать не надо. Республиканская Франция, заключившая союз с монархической Россией, просто продолжала «традиционную» политику.

Мысль о франко-русском союзе, — видите ли, — осуществленная в 1807—11 гг. Наполеоном I и Александром I, неоднократно снова и снова привлекала внимание держав. Об этом союзе дипломаты заговаривали в последние годы эпохи реставрации в 1827—30 гг., эта идея затем вновь воскресла после Крымской кампании, в 1857—60 гг.

После такого «глубокого» анализа причин заключения франко-русского союза, явившегося одной из основных предпосылок к мировой войне, нас уже не может удивить глубокомысленное утверждение Тарле, что Россию на Дальний Восток «толкнули, между прочим, дружеские советы из Берлина». И уже совершенно естественно, что Англия для поддержания «равновесия» на континенте Европы не могла не присоединиться перед лицом наглеющей Германии к франко-русскому союзу. Огромную, решающую роль в этом деле сыграли дипломатические таланты Эдуарда VII. [2]

В другой статье «Эльзас-Лотарингский вопрос накануне великой европейской войны» наш проницательный историк внешней политики приводит «доказательства» невозможности Франции примириться с потерей ее «исконных» провинций.

Мечта о возвращении отторгнутых провинций, — пишет Тарле, — всегда соединялась гармонически (удивительная «гармония», которая пахнет кровью и смертью! — *Г. З.*) с мыслью о воссоздании и укреплении поколебленного

---

[1] Е. В. Тарле, «Перед великим столкновением», стр. 3, 5.
[2] Там же, стр. 12, 8, 10.

чувства национальной безопасности, и в то же время национальной чести... Эльзас и Лотарингия не восставали против Германии, хотя жилось им невесело (теперь, под эгидой французского империализма, им живется «веселее», — стоит только вспомнить о репрессиях Пуанкаре, встретивших, кстати, сочувственную поддержку со стороны радикалов и социалистов, против эльзасских «автономистов»! — *Г. З.*), не высказывали никогда мечтаний о мировом пожаре, который должен их освободить (память у нашего «историка», действительно, короткая — Тарле решил забыть вопли о «реванше, которые в течение десятилетий, предшествовавших войне, неслись со страниц националистической французской печати. — *Г. З.*), — но когда пожар возник, они оказались психологически совершенно готовыми (почему? не потому ли, что французская буржуазия подготовляла их неустанно и упорно? — *Г. З.),* им не пришлось создавать программу своих пожеланий. [1]

Конечно, жители Эльзаса и Лотарингии, при «воссоединении» этих провинций с Францией, обнаружат

те же чувства бурного ликования, которые проявились в пока завоеванной французами части Верхнего Эльзаса, в январе 1915 г., при посещении президента Пуанкаре. [2]

Так совершенно обнаженно «доказывал» Тарле во время войны голубиную невинность Антанты. В этой схеме все фальсифицировано сначала до конца. Доказывать теперь, что Франция была империалистической, что Англия является одним из самых подлых поджигателей войны, что Пуанкаре непосредственно толкал Россию на войну, что последняя шла на войну во имя собственных империалистических интересов, — что вся антантовская клика не менее виновата в войне, чем Бисмарк и Вильгельм — после работ М. Н. Покровского не представляет труда. [3] С точки зрения подлинной исторической науки статьи Тарле о внешней политике, написанные им во время войны, — не выдерживают самой легкой критики. Если я их излагаю, то только для того, чтобы показать, что схема, развитая Тарле, в его книге «Европа в эпоху империализма», имеет свой прообраз в работах Тарле во время войны. Преемственность тут прямая и совершенно бесспорная.

Характерно, что Тарле в этих же статьях периода войны развивает свою мысль о том, что рабочий класс в Зап. Европе настроен империалистически, что у него те же интересы, что у буржуазии.

Всем, знакомым с настроениями рабочего класса в последние десятилетия, хорошо известно, — пишет Тарле, — что целые категории рабочих (и категории немаловажные) часто подпадают под влияние некоторых особых тенденций и начинают *признавать совпадение* до известной степени своих интересов с интересами их хозяев. [4]

---

[1] Е. В. Тарле. «Эльзас-Лотарингский вопрос накануне великой современной войны» (сборник «Вопросы мировой войны», под ред. проф. М. И. Туган-Барановского, изд. «Право» 1915 г., стр. 133).

[2] Там же, стр. 134.

[3] См. М. Н. Покровский, Империалистическая война.

[4] Там же, стр. 127 — 128. Подчеркнуто мною. — Г. З.

Этот тезис усиленно подчеркивает Тарле и в своих статьях после февральской революции в России, в газете «День»:

В сохранении уже имеющихся рынков сырья и сбыта, — читаем мы в статье Тарле, «Германская программа и интересы рабочего класса», — в борьбе против насильственного сокращения территории этих рынков — оба класса (рабочие и буржуазия. — *Г. З.*) явно и непосредственно заинтересованы. [1]

Но этот же тезис является основным лейтмотивом книги Тарле «Европа в эпоху империализма».

Колоссальное экономическое значение промышленного производства (возраставшее с ростом народонаселения) объясняется, между прочим, еще и тем, что как уже было выше замечено, громадный и все растущий общественный класс — рабочий — теснейшими узами связан именно с промышленным капиталом и со всеми его судьбами... В тех случаях, когда представители промышленного капитала боролись против других разновидностей капиталистического класса, рабочий класс оказывался всегда солидарен именно с представителями промышленного капитала (либо весь рабочий класс, либо его большинство)... Это невольное, стихийное, так сказать, «сотрудничество» обоих непримиримо враждебных классов, связанных с промышленностью... эта общая заинтересованность в подобных обстоятельствах и предпринимателей и рабочих делали всегда промышленный капитал могучей движущей силой в течение всего периода 1871 — 1914 гг. [2]

Тарле использует этот тезис для доказательства бессилия рабочего движения, сплошного оппортунистического загнивания социал-демократических партий накануне войны.

Чем более усложнялись настроения в рабочей среде относительно вопросов международной (в частности, например, колониальной) политики, — тем менее становились или казались реальными в глазах правительства опасения, что рабочий класс всею своей массою ответит на мобилизацию революционным выступлением.

Такую формулировку дает Тарле на стр. 17 2-го издания «труда» «Европа в эпоху империализма». Некоторый туман в этой формулировке напущен Тарле в связи с критикой его первого издания со стороны т. М. Н. Покровского, который сразу по выходе в свет этого «труда» Тарле, — показал на страницах «Историка-марксиста» его недвусмысленную контрреволюционную концепцию. [3] В первом издании Тарле выражался определеннее. Он писал о том, что в эпоху империализма мы имеем

повсеместно... замедление и относительное ослабление остроты классовой борьбы. [4]

---

[1] «День» от 30 апреля 1917 г.

[2] Е. В. Тарле, Европа в эпоху империализма, стр. 11 — 12. Цитируем по второму изданию. Оно, под влиянием критики, и в целях мимикрии было «дополнено» и «исправлено» Тарле, но, как увидим из дальнейшего, основного в своей концепции автор скрыть не мог.

[3] См. М. Н. Покровский, «Новые течения в русской исторической литературе» («Историк-марксист», т. 7, 1928).

[4] Е. В. Тарле, Европа в эпоху империализма, 1-е изд., стр. 16. Подчеркнуто мною. — *Г. З.*

Он заявлял, что

капитализм 1871 — 1914 гг. и не с таким противником, как рабочий класс этого периода, справился бы: так он был тогда силен. Рабочий класс 1871 — 1914 гг. и при меньшей устойчивости неприятеля не рискнул бы на революционное выступление, так он был неуверен в себе, не объединен в настроениях, так разнохарактерны были входившие в него слои и прослойки. [1]

Отступая во втором издании перед натиском марксистской критики, Тарле ухитряется все же оставить прямую клевету на революционное крыло рабочего движения, с ществование которого он пытался замолчать в первом издании. . . В самом деле, никак нельзя скрыть, например, того факта, что накануне войны революционно-марксистское крыло в Германии, во главе с «левыми радикалами», Розой Люксембург, К. Либкнехтом и др., все больше и больше становилось популярным в массах рабочего класса, было на пути завоевания большинства внутри германской с.-д. Этого факта скрыть нельзя. Зато можно его так объяснить, чтобы «тем хуже стало для фактов». Объяснение Тарле поистине чудовищное и клеветническое. Приведем его полностью:

. . . Рабочие массы и верхи партии начали с серьезным беспокойством убеждаться в том, что их жизнью и смертью играет неуравновешенный и ограниченный человек (речь идет, конечно, о Вильгельме II, которого наш «марксист» считает чуть ли не «демиургом» истории — главным виновником войны. Это не мешает тому же Тарле утверждать, что вообще, нечего говорить о «виновниках» войны. Так от субъективного идеализма наш «марксист» скатывается к фатализму. — *Г З.*), что так называемые «ответственные» руководители германской политики весьма мало перед кем бы то ни было ответственны, словом, даже те, кто мечтал о колониях и умышленно закрывал глаза на очевидный факт близящейся войны, стали понимать, что добиться войны еще не значит добиться колоний, что *хотеть* колоний мало,— нужно *уметь* их взять, и что при том положении вещей, какое образовалось внутри и вне государства, лучше бы Германии повременить с решительным выступлением. Другими словами: к Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, Лео Иогихесу и их товарищам стали несколько больше прислушиваться не потому, что убедились в несоответствии войны и захвата колоний с принципами социализма, но потому, что кое-кто со страхом начал понимать, что при подобных Вильгельму руководителях имперской политики Германская империя может потерпеть поражение.

Эта возмутительнейшая фальсификация, ставящая на голову действительное положение вещей и изображающая массовое революционное *интернационалистское* крыло германского рабочего класса *патриотическим* и *шовинистическим* — напечатано черным по белому в первом издании «Европа в эпоху империализма» и перепечатано полностью во 2-м издании той же книги. [2] Что это не плод непонимания, наивности, добросовест-

---

[1] Е. В. Тарле, Европа в эпоху материализма, 1-е изд., стр. 16.
[2] См. Е. В. Тарле, Европа в эпоху империализма, 1-е изд., стр. 78 — 79; изд., стр. 82.

ного заблуждения, а вполне сознательная фальсификация, — видно из того, что Тарле во 2-м издании пытается с невинным видом замести следы. Он вставляет следующую сакраментальную фразу:

Конечно, нечего много распространяться о том, что *левое течение имело и иные корни* и что далеко не весь германский рабочий класс был «рабочей аристократией» по положению. Низкая в некоторых отраслях заработная плата, тиски нужды, неуверенность в завтрашнем дне, давление налогового пресса, постоянные раздражающие известия о грубейшем обращении с отбывающими воинскую повинность — все это само по себе было почвою, питавшею левые настроения в обширных слоях рабочей массы. Но я тут хочу отметить, что именно внешняя политика стала все больше раздражать и беспокоить *также* (подчеркнуто Тарле. — *Г. З.*) и «рабочую аристократию» перед войной, 1914 года.[1]

Тарле, видите ли, хотел показать, что «рабочая аристократия» стала также беспокоиться. Но ведь речь-то у него все время идет о левом крыле, имевшем «иные корни», по его собственному признанию, — и ведь именно рабочим, идущим за левым крылом, он приписывает патриотические побуждения. Плохо вышло у нашего маэстро: следов он не запутал, а показал свое полное убожество, вскрыл свою трусливую природу.

Эти сальто-мортале, эти, по выражению. М. Н. Покровского, «курбеты», которые проделывает Тарле с фактами, в зависимости от того, для чего они ему нужны — являются коньком нашего историка. Если «гражданский мир» был почти установлен накануне войны, то зачем понадобилось правительствам и стран согласия, и стран тройственного союза устанавливать драконовы меры, загонять рабочее движение в подполье? Если, в самом деле, накануне войны все рабочее движение было оппортунистическим, то откуда потом взялся Циммервальд, Кинталь, а после войны Коммунистический Интернационал? К чему задавать такие вопросы нашему «беспристрастному» историку! Дело обстоит очень просто — Циммервальд, Кинталь — все это выдумки большевиков, плод больной головы Ленина и его бунтарских сподручников. Погодите, все пройдет, большевики будут свергнуты и вновь восторжествует тезис нашего «историка» о том, что рабочий класс имеет великую историческую миссию тащить пышный шлейф буржуазии.

Удивительно ли после этого, что Николай II, например, изображается в виде искреннего сторонника мира, «убежденного, что до войны дело все равно не дойдет», что политика царского правительства по отношению к Турции рисуется как политика чуть ли не благородного выжидания, что единственным виновником агрессивных планов против Турции объявляется Гартвиг, что замалчивается роль Сербии в провокации войны (убийство

---

[1] Е. В. Тарле, Европа в эпоху империализма, стр. 82. Подчеркнуто мной, кроме оговоренного места. — *Г. З.*

Фердинанда), что значение русской мобилизации, объявление которой означает, по существу, начало войны, смазывается, что наконец, Брест-Литовский мир изображается, как причина продолжения войны Антантой. [1]

Нет возможности останавливаться на всех «курбетах», которые проделал Тарле во втором издании с этими совершенно ясными положениями, обнаруживающими его антантофильскую империалистическую природу. Интересующихся этим вопросом мы отсылаем к статье тов. И. Рубинштейна в «Историке-марксисте» под характерным заглавием «Отступление в боевом беспорядке». [2] В статье показано, как Тарле, который благородно возмущался тем, что ему приписывают вещи, о которых он и не помышлял, [3] как Тарле «уточнял», т. е., по существу, вилял, пытался неудачно замести следы. Приведем конец указанной статьи:

> Отказ Е. Тарле от ошибочных положений 1 издания неполон, и не последователен. Тарле пытается оговоркою, изменением ударения, смягчением резкой формулировки добиться того, что может быть достигнуто прямым признанием ошибки, переходом к другой исторической схеме, отказом от основного греха — фаталистического понимания исторического процесса. Второе издание «Европы» окончательно решает вопрос о «недоразумениях», «неточностях», «невнимательном чтении», «приписывании», на что ссылается Е. Тарле. «Европа в эпоху империализма» была понята так, как она была написана. А Е. Тарле, надо полагать, хорошо знал, *что* и *как* он пишет. «On ne vat jamais si loin, quand on ne sait où l'on vat», говорит французская пословица. Или в вольном переводе: «Кто далеко так собрался, — тот в маршруте разобрался». [4]

На основании тех данных, которые я сообщил из прошлых писаний Тарле, можно телько еще больше подтвердить этот вывод. В своей книге «Европа в эпоху империализма» Тарле ведь только углублял и развивал ту схему, которую он начертил еще во время войны. При советской власти нельзя было говорить так откровенно, как при царской, к которой Тарле, якобы, находился в «оппозиции». Интересы русской буржуазии и русского неоимпериализма после войны требовали некоторых поправок (о них я буду говорить ниже), но политический и классовый смысл писаний Тарле о внешней политике остался при советской власти таким же, как и до войны.

Стоит все-таки привести еще один характерный пример тех «уточнений», которые Тарле делал в своих тезисах в зависимо-

---

[1] См. статью М. Н. Покровского. «Новые течения в русской исторической литературе» («Историк-марксист», т. 7), его же, предисловие к книге «Империалистическая война».

[2] «Историк-марксист», т. 11, 1929 г.

[3] См. «Историк-марксист», т. 9, 1928 г., статью Тарле «К вопросу о начале войны» и ответ редакции там же.

[4] И. Рубинштейн, Ук. статья («Историк-марксист», т. 11, 1929 г., стр. 161 — 162).

сти от обстановки. В цитированной нами статье «Пред великим столкновением» в 1915 г. Тарле так писал о нарушении Германией «*нейтралитета Бельгии:*

Более чем вероятно, что Англия без особой потери времени выступила бы против Германии, даже если бы нейтралитет Бельгии не был нарушен. [1]

В первом издании своей книги «Европа в эпоху империализма» Тарле писал совершенно противоположное:

Для Англии захват Бельгии Германией, мирный или военный, был таким страшным экономическим и политическим злом, с которым мириться она никак не желала. Еще Наполеон I говорил, что Антверпен — это пистолет, направленный в грудь Англии. Отдать Бельгию Германии значило предоставить Германии превосходный плацдарм, великолепно снабженный в хозяйственном отношении, для будущего нашествия на Англию. Впоследствии Ллойд-Джордж сказал, что пока речь шла о Сербии $^{99}/_{100}$ английского народа было против войны, когда речь зашла о Бельгии — $^{99}/_{100}$ английского народа пожелало воевать. [2]

Здесь нарушение «нейтралитета» Бельгии Германией рисуется в виде непосредственной причины вмешательства «миролюбивой» Англии. Когда М. Н. Покровский вскрыл это обнаженное намерение Тарле *обелить* Англию, — Тарле во втором издании лицемерно изменил редакцию:

В Англии, конечно, уже за несколько лет знали, что Германия нарушит нейтралитет Бельгии, но теперь был сделан вид, что это — совершенная неожиданность, и сейчас же началась агитация. Предлог для войны был сразу найден. В Англии захват Бельгии Германией, мирный или военный, с давних пор *считался* таким страшным экономическим и политическим злом, с которым мириться она никак не желала. [3]

Сразу становится ясно, что это лицемерная поправка, если сравнить эту редакцию с той, которую Тарле дал во время войны. При царе Тарле полным голосом говорит о том, что Англия все равно напала бы независимо от нарушения бельгийского нейтралитета. При советской власти, учитывая интересы русской буржуазии после войны, стремящейся задобрить Англию, которая должна помочь свержению большевиков, — Тарле сначала обеляет Англию, а затем полуоговорками замазывает классовый смысл своего выступления в защиту великобританского хищника.

Развернутую защиту интересов русского империализма мы находим и в статьях Тарле в период между февралем и октябрем 1917 года. Мы говорим о его статьях в газете «День». Здесь талант Тарле подпускать радикальный туман развернулся во всю. В «освобожденной России» стесняться было нечего. Теперь можно было во всю глотку кричать «война до победонос-

---

[1] Сборник «Книга о войне», стр. 14. Подчеркнуто мною. — *Г. З.*
Е. В. Тарле, Европа в эпоху империализма, 1-е изд. стр. 287.
[3] Там же, 2-е изд., стр. 295 — 296.

ного конца!» Так казалось Тарле и его друзьям в первые дни февральской революции, когда массы еще были охвачены «добросовестным оборончеством». 9 марта в статье «Из трех выбыл один» Тарле заявляет:

Император Николай II, как показала история всех войн и последние события, пал не потому, что воевал, а потому, что *мешал обороне.* [1]

Исходя из этой программы, Тарле прежде всего из всех сил борется против всяких попыток Финляндии и др. «окраин» отделиться от России. Сначала Тарле насчет намерений финляндцев настроен весьма оптимистически. Он подсчитывает силы в финляндском сейме и приходит к выводу, что «эксцессы» едва ли возможны. Характерно, что он рассчитывает, конечно, на финляндских «меньшевиков».

Большинство сейма (103 из 200) — социалисты. Они теплее всего приветствуют происшедшее. Если употреблять русские термины, то придется признать — что они — в общем «меньшевики», а им очень бы хотелось, чтобы никакие рискованные эксперименты не поставили под угрозу русскую политическую свободу. [2]

Чтобы проверить свои расчеты, Тарле отправляется в Гельсингфорс и присутствует там на открытии сейма, а также на рауте у нового генерал-губернатора, назначенного Временным правительством, Стаховича:

Смотрел я сегодня на рауте у генерал-губернатора (тотчас после речи и открытия сессии), — умиленно сообщает Тарле, — на эти обветренные лица, трудовые красные руки, аккуратные старомодные сюртуки, облекающие кряжистые фигуры — и припоминались голландские мужики и ремесленники, отстаивавшие и отстоявшие в XVI веке свою родину. Но когда взор переходил на Стаховича и Корфа, когда вспоминалось, что эти представители освобожденной России явились вестниками освобождения Финляндии, едва только русский народ получил возможность повелевать и распоряжаться — приходилось признать, что Россия великодушно и достойно отпраздновала свой праздник. После 2-го марта 1917 г. герцоги Альбы у нас немыслимы. [3]

Крепко надеялся наш историк на смирные чувства недалеких финляндских мужичков. Но ничего из этой надежды не вышло. Когда финны начали заикаться о том, что их не удовлетворяет куцая автономия, данная им Временным правительством, — Тарле немедленно меняет тон. Недавно еще утверждавший, что «герцоги Альбы у нас немыслимы», Тарле сам не прочь разыграть из себя нечто в роде вестника грядущего русского Альбы. Комментируя отсрочку финляндским сеймом принятия закона об уравнении в правах русских с финнами, Тарле пишет:

---

[1] «День», № 4 от 9 марта 1917 г. Курсив, как и дальше, кроме оговоренных мест, мой. — *Г. З.*

[2] «День», № 25 от 5 апреля 1917 г.

[3] «День», № 26 от 6 апреля 1917 г.

Остается, следовательно, второй способ: добиться от русской власти признания суверенитета — или чего-то близко походящего на суверенитет Финляндии.

Мыслимо ли это? — с возмущением спрашивает наш свободолюбивый писатель. — Если наблюдать Россию из Гельсингфорса и вообще ее не знать, то может показаться, что мыслимо. А если спокойнее разобраться в явлениях и жить в самой России, придется ответить: нет, немыслимо.

И Тарле прямо угрожает расправой «à la Альба», если финны вздумают отделиться:

без борьбы и борьбы длительной, упорной, ожесточенной — и вполне бесплодной — дело не обошлось бы...[1]

События развиваются дальше. Финны недвусмысленно требуют чего-то «близко походящего на суверенитет». Финские социал-соглашатели, используя выгодную ситуацию, демагогически заявляют, что они не хотят «помогать русскому буржуазному правительству вести империалистическую войну». Временное правительство оказывается бессильным всерьез вести вооруженную борьбу с Финляндией. В тот момент, когда «главноуговаривающий» Керенский гонит на фронт «русскую скотинку» на смерть во имя интересов русского и антантовского капитала, Тарле предпринимает путешествие в Стокгольм и там беседует с Брантингом,

который, — по словам Тарле, — всеми силами своего старого сердца любит русскую революцию. Говорили мы с ним, — продолжает Тарле, — и о Финляндии, и совершенно были согласны, что интересы революции и правильно понятые интересы Финляндии вполне совпадают. Но Брантинг интересы русской революции видел в борьбе не против Гендерсона, а против Вильгельма.[2]

Так Тарле выполняет роль прямого агента русского империализма, переходя от угроз к обещаниям и обратно к угрозам, по отношению к строптивой Финляндии. Нужно ли еще особенно распространяться на тему о том, что Тарле всецело приветствует меры, предложенные Корниловым для «оздоровления» армии, т. е. смертную казнь и палочную дисциплину против солдат, что он всеми силами ратует за диктатуру.

10 июля, — пишет он, — одновременно с известием о Тарнопольской катастрофе страна узнала, что правительство взяло в свои руки диктаторскую власть. Значит Россию будет спасать революция!..[3]

Конечно, большевики для Тарле того периода это — «шпионы» с «Окопной правдой», это — «внутренние немцы». Тарле вспоминает свои знания из Великой французской революции, чтобы обрушиться на этих «внутренних немцев», из рабо-

---

[1] «День», № 39 от 21 апреля 1917 г.
[2] «День», № 100 от 4 июля 1917 г.
[3] «День», № 106 от 11 июля 1917 г.

чих и крестьян, которые не хотят воевать за интересы денежного мешка. Мы не можем удержаться от того чтобы не привести из писаний Тарле следующую красочную цитату. Статья называется «Бьет двенадцатый час» (одно название чего стоит!»). Тарле пишет:

Немец и самый страшный, тот углепромышленник, который, лицемерно вздыхая о трудных временах, уже теперь прячет запасы угля, за которые зимой потребует 400% надбавки. «Немец» — тот рабочий, который бастует только потому, что это теперь вполне безопасно и безубыточно для него лично, и который ломает нарочно станок, чтобы иметь законное право ничего не делать; «немец» — тот хозяйственный мужичок, который, с одной стороны, захватывает чужую землю и снимает чужой урожай, а с другой стороны, хлеб в город в продажу не вывезет, так как деньги ему не нужны: налогов платить не приходится. Справится ли правительство, которое вчера образовалось, со всеми этими «немцами»? Великая французская революция справилась. Там тоже кружился вихрь алчности, себялюбия, царила полная разнузданность классовых вожделений. Но революция поняла, что ей нужно прежде всего спасать Францию. Гильотина была поставлена, чтобы казнить роялистов, но, когда оказалось, что не менее роялистов контрреволюционны все, грабящие свою родину, — то эта же гильотина заработала с удесятеренной энергией. Казнили буржуа, крестьян, рабочих, всех, кто противился или путем разных уловок не подчинялся таксации («закону о минимуме»); казнили за умышленное незасеивание земельных участков; казнили за накопление у себя хлебных запасов свыше нормы; казнили за невывоз хлеба на ближайший рынок; казнили за недоставку реквизированных для армии продуктов...

...Разумным, логическим, единственно целесообразным следованием примерам Великой революции будет, конечно, суровейшая нелицеприятная беспощадная судебная репрессия по отношению ко всем мародерам, чем бы они ни прикрывались, и в каком бы виде они ни являлись: во фраке ли, в рабочей ли куртке, в крестьянском ли зипуне.[1]

Смысл этого кровожадного призыва к гильотине времен Великой французской революции — совершенно ясен: не нужно быть особо прозорливым человеком, чтобы понять, что словечко о «фраке» вставлено для самоуспокоения — с одной стороны и для обмана масс с другой. Наш пацифистски настроенный историк просто на просто зовет корниловцев расстреливать русских рабочих и крестьян. Классовая природа Тарле полностью обнажена в этой красноречивой тираде. Для полноты картины нам придется обратить внимание читателей еще на один любопытный штрих из писаний Тарле, той эпохи. Тарле, как мы видим, с первых же дней февральской революции серьезно занялся внешней политикой: он даже взял на себя добровольную роль эмиссара по иностранным делам русской буржуазии, побывал в Гельсингфорсе, в Стокгольме. Он, повидимому, полагал, что — чего доброго? — и он может стать министром иностранных дел. В наше время он мечтал об этом вкупе с Платоновым (как известно, германофилом, что не мешало Тарле фигурировать в спи-

---

[1] «День», № 119 от 26 июля 1917 г.

сках ТКП и «Промпартии», которая ориентировалась на Францию. Насчет двурушничества Тарле мастер, как увидим, замечательный: он ставил на всякий случай ставку и на Германию, и на Францию — авось где-нибудь клюнет!). В февральские дни и позднее Тарле даже пробовал выставить программу чуть «порадикальнее», чем Милюков, он заявлял, что посольства при царе были «шпионскими гнездами» (вот как здорово сказано, а вы говорите, что Тарле не радикал!) и требовал реорганизации наших заграничных посольств.

В этих Авгиевых стойлах, — писал наш министр в мечте, — нужно все перестроить сверху донизу и прежде всего их очистить. До тех пор они будут не только мало дееспособны, но прямо вредны. [1]

Одновременно Тарле преподавал Временному правительству правила *двурушничества*. Чтобы легче было надувать массы, надо, по мнению Тарле, почаще общаться с «революционной демократией» и держать ее в курсе дел.

Ведь есть, — пишет Тарле, — та чрезвычайно легко уловимая степень откровенности, которой бывает вполне достаточно, чтобы, не производя недопустимого нарушения дипломатической тайны, совершенно удовлетворить самое требовательное демократическое собрание. Как блистательно умел, например, пользоваться трибуной рейхстага Бисмарк! И ведь он — это любопытнее всего! — вовсе не лгал в своих речах, в которых излагал основные принципы своей дипломатии в каждый данный момент. Правдивость в этих речах, конечно, не мешала ему *хитрить, обманывать, скрывать свою игру*...[2]

Несомненно, что Тарле уже в те времена, когда только приходилось считаться с начавшимся напором масс, предвосхитил свою двурушническую роль в наши дни. Тарле умел при советской власти «хитрить, обманывать, скрывать свою игру»: выступать в качестве друга советской власти и вместе с тем быть в заговоре с вредителями против нее, защищать антантофильскую точку зрения и вступить в прямой союз с германофилом и черносотенцем Платоновым, прикидываться «марксистом» и развивать самую что ни на есть идеалистическую, фаталистическую точку зрения.

Октябрьская революция безусловно произвела на Тарле столь потрясающее впечатление, что для него, недавнего «прогрессиста», писавшего все же в газете «День, пытавшейся быть «левее» кадетов, — все окрасилось в один сплошной цвет. Брест-Литовский мир Тарле расматривает как

величайшее несчастье для России. Брест-Литовский мир не есть только дурной, тяжелый, невыгодный для России трактат: Брест-Литовский договор

---

[1] «День», от 5 мая 1917 г.
[2] Там же.

есть смерть России, как самостоятельного политического и экономического организма.[1]

На вопрос о том, можно ли оставаться нейтральным в борьбе между Германией и Антантой, Тарле отвечает отрицательно. Он продолжает защищать ориентацию на Антанту. Он *уверен в том, что Антанта произведет интервенцию* и спасет Россию от большевиков.

Союзники должны нас спасать, — пишет он, — даже если бы они ненавидели и презирали нас за отказ от договорных обязательств, так как ненависть и презрение играют весьма малую роль в политике, сравнительно с интересами. Интересы же непосредственной безопасности — Франции, Англии, Италии — интересы торгово-промышленные — той же Англии и Америки — повелительно требуют избавления России от власти Германии.

Конечно диктатура пролетариата для Тарле это «власть Германии».

Если Россия жива, — продолжает он, — союзники во имя самосохранения сделают все, что в их силах, чтобы пробудить ее от летаргии, *если только для этого нужно затянуть войну, они только для этого затянут войну.*[2]

Эти строки Тарле являются открытым, оголтелым призывом к интервенции. Когда интервенция, которую Антанта, как известно, действительно предприняла, кончилась, несмотря на все старания, крахом, — Тарле впал в состояние полной прострации. Именно к этому времени относится его сближение с монархистом и германофилом Платоновым, человеком, который до войны вместе с протоиереем Буткевичем считал Тарле чуть ли не «красным», но который во время советской власти так приголубил нашего «радикала» и антантофила, что провел Тарле в академики, а до избрания в академики отдал в его распоряжение исторический журнал Академии наук «Анналы». К характеристике этого журнала, где Тарле попытался развернуть во время советской власти свою политическую программу и сколотить свою «школу» из обломков прошлого, я и перейду.

IV. «АННАЛЫ». «ШКОЛА» ТАРЛЕ.

«Анналы», журнал «всеобщей истории, издававшийся российской Академией наук», выходил в течение 1922 — 1924 гг. под редакцией академика Ф. И. Успенского и бывшего в то время члена-корреспондента Академии наук Е. В. Тарле. Целью издания, как сообщалось в предисловии, было «ведение возможно

---

[1] Е. В. Тарле. «Германская ориентация» (Статья в журнале «Международная политика и мировое хозяйство», двухнедельный журнал, № 1, 1918. Выходил в Петрограде при ближайшем участии Бериацкого, П. П. Маслова, бар. Нольде, Загорского, Тарле).

[2] Там же, стр. 8. Подчеркнуто Тарле. — *Г. З.*

более полной регистрации появляющейся на Западе научной исторической литературы». Редакция обещала обратить особое внимание на освещение вопросов, связанных «с историей великой войны и революционными переворотами, за нею последовавшими в разных странах Европы». Редакция обещала также уделить пристальное внимание «экономической истории». Наконец, декларировалась необходимость освещения методологических проблем и ряда спорных вопросов всеобщей истории и торжественно объявлялось, «что широкая терпимость ко всем взглядам и точкам зрения, представленным в науке — обязательно для редакции».

В том же предисловии отмечалось, что весьма трудны сношения с заграницей и даже с Москвой и провинцией, но что вместе с тем

за последние годы, несмотря ни на что, научная жизнь продолжалась и в Академии, и в Петербургском, и в Московском, и в некоторых других провинциальных университетах. Если новому журналу, — заявляла редакция, — удастся стать органом обмена мнений и научных сообщений, обслуживающих русских специалистов, часть его дела будет сделана. [1]

Обозревая все четыре тома журнала, вышедших за 1922 — 1924 гг. в свет, можно совершенно определенно констатировать, что журнал стал действительно органом, «обслуживающим русских специалистов», но специалистов-историков, определенного толка —*антимарксистского*. В нем печатались работы крупнейших буржуазных историков, начиная от Тарле, Кареева, Бузескула, Гревса и др. и кончая плеядой молодежи, выросшей на дрожжах антимарксистской и реакционной методологии. Из молодежи, которая за последние годы определилась как марксисты или близкие к ним, можно назвать, пожалуй, только П. П. Щеголева и Я. М. Захера. Но характерно, что Захер, ставший даже коммунистом, вскоре был разоблачен ленинградскими историками-коммунистами, как двурушник, на словах боровшийся с буржуазно-реакционной историографией, а на деле помогавший ей, а наследие Тарле в работах Щеголева, как мы видим, сохранилось до сих пор. [2]

Деятельными сотрудниками журнала являлись Н. Платонова, М. К. Гринвальд, С. М. Глаголева-Данини, Н. С. Измайлова, Б. А. Романов, М. О. Либталь, Н. Цемш, А. Н. Шебунин — и др. — ученики и ученицы Платонова, Тарле и Гревса. Если к

---

[1] «Анналы», № 1, стр. 4, 5.

[2] Следует упомянуть еще об одном ученике Тарле, А. Розенберге, который «по молодости» не успел еще принять участия в «Анналах», но который всегда выступал, как верный последователь и сторонник Тарле. В единственной, напечатанной им работе (см. «Труды Всесоюзной конференции историков-марксистов», т. II. Доклад Розенберга.) А. Розенберг выступил как типичный приверженец «экономического материализма», ищущий в торговых путях весь смысл исторического процесса.

указанным «молодым» прибавить имена Вульфиуса, Добиаш-Рождественской, А. С. Изгоева, Ф. Ф. Зелинского (оба последних находятся ныне в эмиграции), Жебелева, Егорова и др., то можно будет прямо констатировать, что самый состав должен был определять методологический и политический характер журнала. Методологически — он был явно или завуалированно антимарксистский, политически, несмотря на всю прикрытую научной фразеологией «объективность», в конечном итоге — буржуазно-реакционным, т. е. *антисоветским*.

Конечно, ни о какой широкой «терпимости» ко всем взглядам и точкам зрения не могло быть и речи в этом журнале. Во всех четырех книгах журнала невозможно найти ни одного отклика на вышедшие уже в эти годы исторические работы (напр., тт. Н. Лукина, М. Н. Покровского). Случайным исключением является маленькая заметка о работе В. Быстрянского, посвященной Парижской коммуне 1871 г.[1] Не случайно, конечно, редакция не сдержала своего обещания и совершенно не освещала истории революционного движения. Здесь редакции пришлось бы, особенно когда речь идет о послевоенных революционных движениях, прямо высказать свое мнение и открыть свое лицо. Поэтому редакция предпочитала вообще не затрагивать таких вопросов, несмотря на свое обещание. Экономическая история послевоенной Европы также не освещалась: здесь сказалось бессилие историков-идеалистов, никогда не занимавшихся вопросами экономики, дать что-нибудь интересное и стоящее внимания. Зато очень много внимания редакция обращала на освещение внешней политики и на историю империалистической войны 1914 — 18 гг.

Мы ниже коснемся политического смысла этих статей по указанным разделам. Необходимо прежде всего отметить, что статьи особенно крупных историков, работавших в «Анналах», не носили серьезного научного характера — за отдельным исключением (Бартольд, Успенский, и др.); статьи руководителей журнала носят публицистический характер. Много внимания уделяли Кареев, Тарле, Бузескул и др. также биографиям и характеристике умерших русских историков буржуазного лагеря. Но и эти биографические заметки носят в подавляющем большинстве случаев публицистический характер. Их политический смысл — показать величие и силу буржуазной русской историографии и выразить скорбь по поводу того, что «тяжелые условия», созданные для исторической науки в Советском Союзе, являются одной из причин преждевременной смерти русских ученых.

Тяжелы были для А. И., — писал например Д. Егоров о Савине, — последние его годы... Оскудение жизни он переносил легко, с юмором даже, зачастую я заставал его над работой сколки и увоза снега с мостовой, пиле-

[1] «Анналы», № 2, стр. 317.

нием и ноской дров, контрабандированием пищи и т. п. Ехать шесть суток в «холодном» поезде, в маленьком отделении, до нельзя набитом китайцами (даже миф о китайцах не забыл упомянуть автор некролога! — *Г. З.*) вызывало в нем лишь более усиленный отпор физического и нравственного организма. Но оскудение знания, сужение научных горизонтов — вот что он нес с величайшей тягостью.[1]

Одним словом, мысль читателя упорно направлялась на то, что причиной смерти А. И. Савина была не «испанка», которой он заболел в Англии, а ужасающие условия жизни, созданные «проклятыми большевиками». Ни одним словом в некрологе Д. И. Егорова, посвященном Савину, не упоминается, что этот *крупнейший буржуазный историк в последние годы своей жизни старался сблизиться с марксистской молодежью и даже преподавал в Институте красной профессуры.* Этот факт, опровергающий тезис Д. Егорова об «оскудении жизни», не приводится автором нарочито, чтобы сгустить краски.

В духе такой же публицистики, имеющей целью подчеркнуть невозможные условия научной работы в СССР, написан и ряд других статей, при чем в большинстве случаев авторы очень искусно избегают необходимости говорить об этом прямо, а достигают этого косвенным, но не менее верным путем. Так, О. Добиаш-Рождественская умиляется в статье «Впечатления академического Парижа» тем, что в Париже,

как и прежде, молодые люди не завладевают словом в присутствии старших. Молодые девушки в положенные дни неукоснительно навещают своих tantes и grandes tantes, grandes-mères и arrières-grandes-mères и давление famille властно чувствуется во всех мнениях, решениях и действиях ее члена.

С упоением рассказывает она о том, что

в день осеннего открытия Institut de France отряды конницы в султанах наполняют grande Cour Института, публика входит в зал между шпалерами сынов Марса, побрякивающих штыками, и «бессмертные», membres de l'Institut в зашитых зелеными ветками фраках вступают в свой hemicycle под дробь барабана.

И конечно, по замечанию Добиаш-Рождественской,

в этой своеобразной атмосфере иногда точно «остановившегося», но здорового и честного быта отдыхаешь душой от того чувства «качки» — которая ныне владеет миром.[2]

За «здоровым и честным бытом» сотрудникам журнала «Анналы» приходилось, как видим, ехать за границу, благо, научные командировки в те годы были к полным услугам наших «анналистов». А по приезде из-за границы, можно было даже свое политическое кредо, сожаления об утраченном буржуазном правопорядке печатать в органе Академии наук, в пухлых томах ре-

---

[1] «Анналы», № 2, стр. 224.
[2] «Аннады», № 1, стр. 51, 52.

цензируемых нами «Аннал». Публицистика, самая обнаженная публицистика, самая, по существу, заостренная антисоветская политика сквозит во всех статьях Е. В. Тарле. Они в большинстве посвящены вопросам внешней политики. Ряд идей, которые впоследствии несколько более завуалированно развивал Е. В. Тарле в своей книге «Европа в эпоху империализма», в этих статьях получают свое развитие в разных вариациях. При чем, по существу, эти статьи в совокупности своей безусловно образуют собою некую *платформу*, как бы *программу внешней политики*, которую нужно вести *в противовес большевикам*.

Эта внешне-политическая программа Е. В. Тарле легко увязывается с его методологией, которую автор преподнес читателю в первом номере журнала в вводной статье «Очередная задача». Указав на то, что огромное накопление новых исторических материалов в течение XIX века разрушило много прежде незыблемых схем и что продолжающееся, особенно за последние 45 — 50 лет, накопление этот процесс разрушения углубляет, Е. В. Тарле ставит следующий вопрос:

Чем объясняется это только что отмеченное явление? Почему неслыханное обилие новых фактов и проверка старых шла более на пользу критическим, а не конструктивным умам, хотя, казалось бы, скорее должно было наблюдаться обратное? [1]

Указывая на то, что экономические явления в истории играют большую роль, Тарле констатирует, что

именно этот материал (историко-экономический. — *Г З.*) несравненно меньше поддается систематизации, чем всякий другой, и теории тут разлетались и разлетаются в прах с поистине необычайной легкостью, почти непосредственно вслед за возникновением.

Далее следует плоская риккертианская мысль о том, что

ход экономической истории еще более однократен и неповторяем, а потому еще труднее поддается подведению под ту или иную закономерность, чем, например, процесс политический, эволюция права или государственных форм.

Беря за пример такое экономическое явление, как капитализм, Тарле утверждает, что

нельзя (курсив Тарле. — *Г З.*) опровергнуть констатирование однократности и неповторяемости всех пока известных фаз мирового капиталистического процесса. А там, где нет повторяемости, нет возможности построить хотя бы эмпирический закон развития.

Что же остается историкам делать, если никакой исторической закономерности, по существу, установить нельзя? Огромное накопление исторического материала, особенно в области экономической, «повелительно требует», прежде всего чтобы этот

[1] «Анналы», № 1, стр. 2.

новый материал был если пока не объяснен, то хоть упорядочен и сколько-нибудь систематизирован». Систематизация эта пока производится неудачно. Даже работы Белова и Зомбарта, напечатанные в «Schmoller's Jahrbuch» по вопросу о происхождении капитализма и городов, не вполне удовлетворют Тарле, хотя он и признает огромную эрудицию их авторов. Дело в том, что

если не в своих личных взаимных укорах, то в критике и по существу *оба* (курсив Тарле. — *Г. З.*) правы. Поэтому приходится, подобно редакции упомянутых «Schmoller's Jahrbuch», хранить растерянный и грустный нейтралитет.[1]

Итак, наш историк растерян и готов держать «грустный нейтралитет»: исторические схемы, по мере накопления новых фактов, стареют и разрушаются. Никто не может с уверенностью сказать, какая схема правильнее. Все зыбко, неопределенно и временно под луной.

Что же должен и может делать историк, если он хочет оставаться на почве научного анализа, т. е. не просто собирать факты, а объяснять их? А самое важное ведь как раз в том, чтобы объяснить эти факты «не для доказательства в пользу наперед выставленного политического или религиозного тезиса». Между тем, в эпохи революций все писатели и ученые, часто независимо от своей воли, находятся под влиянием злобы сегодняшнего дня и создают «псевдоисторию» «поставляют современную ему самому, а не излагаемую событиями мотивацию», т. е. «модернизируют то, о чем пишут».[2] Тут следует патетическое место, излагающее психологическое состояние историка, лично пережившего революцию. Приведем эту безусловно автобиографическую деталь из рассуждений Тарле.

Рвется старая ткань, обнажаются концы и начала, выступает стихия, которую в первое время ие видишь, а только подразумеваешь ее присутствие. А главное, наблюдаешь все ничтожество исторического значения рационального начала, всю особую, нечеловеческую, а какую-то иную непреодолимую логику, которая, правда, и в обыкновенное время властвует в истории, но затмевается трибуною, газетою, словами, жестами, криками, спорами, рассуждениями, статьями — словом, всем тем, что с таким успехом маскирует и укрывает от нашего взора — в нормальные эпохи — истинные движущие силы исторического процесса. Государства, называвшиеся вечными, разлетаются в куски, государственная культура оказывается ничтожной пленкой, первозданный хаос охватывает и топит скорлупу, которая только что представлялась несокрушимым и величавым ковчегом. Это только кажется некоторым слабонервным людям, попавшим в такой циклон, что они сходят с ума и бредят, нет, это они до сих пор бредили, убаюкиваемые искусственным спокойствием, забывши, что в нескольких аршинах под изящным кровом их каюты темная и бездоииая пучина, готовая их поглотить, и что пучина есть извечная природная реальность, а их каюта хрупкая и искусственная выдумка; что пучина была до каюты, и останется после каюты, и

---

[1] «Анналы», № 1, стр. 10, 11.
[2] Там же, стр. 13, 14.

сами они еще могут изучать пучину, да и то изучают ее плохо, но управлять ею не могут никак, самое большее — могут пытаться отсрочить гибель своей скорлупки.

В этой длинной тираде трепещет живой пульс переживания нашего историка, чувствующего, что Октябрьская революция и совершающиеся события являются огромным катаклизмом, влияния которого избегнуть никак нельзя. И, однако, весь смысл дальнейших рассуждений Тарле заключается именно в том, чтобы отрешиться от впечатлений революции, остаться *над схваткой,* побороть, как он выражается, «роковые влияния на интеллект».

Этими «роковыми влияниями» охвачены, по мнению Тарле, и Эдуард Мейер, сравнивающий Англию с Карфагеном, и Герберт Уэльс, написавший книжечку о всемирной истории, в которой

этот многопишущий автор — смесь Жюля Верна с Джеком Лондоном — думает, что он даст разгадку всех тайн всемирной истории, тогда как на самом деле предлагает какую-то беспорядочную окрошку из нескольких среднего достоинства учебников, сдобренную типичной обывательской философией и парадоксами в стиле Ла-Палиса и Кузьмы Пруткова.

Необходимо отказаться от этих настроений, являющихся следствием психической неуравновешенности переживших войну и революцию людей.

Нам нужно, — декламирует наш «объективный» историк, — осмотреться, проверить себя, убедиться, чего из наших интеллектуальных способностей нас лишил, или что нам дал еще продолжающийся катаклизм и единовременно — мы должны выяснить очередные задачи науки и методы, средства к их разрешению. Воскресающее понемногу научное общение с Европой и Америкой может и должно стать благотворным элементом в этом процессе. [1]

Итак, все изложенные нами «методологические» рассуждения Тарле сводятся, в конце концов, к призыву: назад, от революции, вся «объективность» — к отрешению от ее впечатлений, в лучшем случае, к преодолению ее действия на интеллект, весь критицизм — к возврату в объятия буржуазной науки.

В ряде своих статей, особенно в статьях о внешней политике, Тарле добросовестно и систематически выполняет эти свои методологические установки. Самый факт существования Советского союза Тарле, конечно, «признает», но он преодолевает действие на «его интеллект» существования социалистической России с особыми задачами и целями. Политика Советского союза для нашего «объективного» историка является продолжением политики царской России, взаимоотношения между СССР и капиталистическим миром продолжают развиваться по старой схеме: петербургский период русской истории и сплетение «на-

[1] Там же, стр. 15, 16, 17.

циональных» стремлений русского буржуазно-помещичьего государства с «национальными» стремлениями Англии, Франции, Германии и пр. Возрождение франко-русского союза, размежевание между империалистическими задачами Великобритании и России на восточных границах, новые комбинации внешне-политического характера в связи с разгромом Германии, тезис о том, что Германия главная виновница войны и что ее поражение является прогрессивным фактором, а возрождение в прежнем виде невозможно, доказательства о необходимости сохранить status quo, установленный Версальским миром и, в крайнем случае, несколько исправить границы во имя соблюдения «равновесия» империалистических государств в Европе, и пр. подобные мысли буржуазного политика, рассуждающего так, как будто СССР является только новым названием для старой России, без всякого внутреннего содержания — вот смысл всех статей Тарле по внешней политике, статей, послуживших преддверием для написания его известной, антантофильской и контрреволюционной книги «Европа в эпоху империализма».

Самым характерным в писаниях Тарле и его «школы», особенно после революции, было использование марксистской фразеологии. Мы встречаем у Тарле многократные ссылки на Маркса, особенно на Энгельса, мы наблюдаем, как он искусно играет роль скромного исследователя, чуть-ли не ученика основоположников марксизма. В статье «Три катастрофы», например, Тарле проводит совершенно эклектическую и оппортунистическую мысль о примате международных отношений над внутренними. И тут же мы находим прикрытие этой насквозь антимарксистской идеи авторитетом... Энгельса.

В последние годы, — читаем мы в упомянутой выше статье, — Энгельс все больше и больше внимания обращал на ту усложненную и произвольную форму экономической борьбы, которая лежит в глубине каждого серьезного международного конфликта. Он явно предчувствовал близкое наступление эпохи, когда от гигантского столкновения нескольких автономных устремлений капиталистического развития возгорится тот пожар, который вот уже девятый год хочет потухнуть, хотя его несколько раз торжественно провозглашали прекратившимся. К сожалению, и среди историков, и среди экономистов, и среди последователей, и среди противников Энгельса эта тенденция, за вычетом немногих исключений, вплоть до самой войны не нашла ни особых признаний, ни серьезного внимания, ни даже простого понимания. Нужно надеяться, что теперь будет несколько иначе: факты говорят слишком красноречивым языком.[1]

Заметьте, что это пишется в 1922 г. на седьмом году существования Советской России, после того, когда, не говоря уже о классической работе Ленина «Империализм, как новейший этап капитализма», масса книг и исследований, даже не марксистских, а буржуазных, достаточно много говорила об экономических

[1] «Анналы», № 2, стр. 62 — 63.

основах империалистической войны. Конечно, Ленин, вслед за Энгельсом, не исходил из плоской мысли о примате международных отношений над внутренними. Но он задолго до войны, не говоря уже, повторяем, о его классической книге «Империализм», обосновал сущность империализма, мотивы империалистических войн. А Тарле с совершенно комичным самомнением утверждает, что никто кроме него, не понял Энгельса. Это самомнение, это великолепное пренебрежение ко всем исследователям, и в первую очередь к марксистским, является прикрытием для фальсификации Энгельса, Маркса и марксистов вообще. Виртуозно это проделано Тарле в книге «Европа в эпоху империализма». Но не менее искусно это проделывалось Тарле и в статьях журнала «Анналы», посвященных внешней политике.

Вот «философия истории» в применении к Версальскому миру, которую преподносит нам Тарле. Оказывается, во-первых, что Вестфальский, Тильзитский и Версальские мирные трактаты — явления одного и того же порядка. Если и есть некоторое отличие, то только в том смысле, что последняя катастрофа (Версальская) страшнее двух предыдущих. Основной же причиной всех трех поражений Германии, является не больше, не меньше, как «роковая для Германии роль ее географического положения». Итак, начав с клятвы в верности Энгельсу, наш «марксист» вернулся к точке зрения наивного географического натурализма. Но перейдем к оценке Тарле Версальского трактата. После Версальского мира для Германии «все было потеряно на Западе, но восток таил в себе великие возможности».[1] После Тильзитского мира состояние Германии было таково,

что оно давало стране возможность жить, хотя и скромно, надеяться, хотя и не очень заноситься в мечтах, налаживать внутреннюю жизнь, хотя с опаской и с оглядкой, установить с победителем сравнительно терпимые отношения, хотя и на началах полной покорности.

Что касается Версальского трактата, то он

не только изрезал и ампутировал Германию, но и отравил оставшийся организм, он не только внешняя глубокая рана, но и тяжелая болезнь, вошедшая внутрь и там оставшаяся.

Никаких надежд на воскрешение «блеска и силы фридриховской державы или бисмарковской эпохи милитаристского империализма» для Германии не может быть. Об этом могут говорить только те,

кто безнадежно сбит с толку грандиозностью пережитых событий и кто не может отделаться от фантазий, обманов и погибших снов.[2]

---

[1] Там же, стр. 62, 61.
[2] Там же, стр. 70, 94.

В этой концепции обращает на себя внимание совершенно поверхностная аналогия между тремя событиями, тремя мирными трактатами, заключенными в эпохи, качественно друг от друга весьма отличные. Поскольку для Тарле эпоха империализма и скрытые пружины этого социально-экономического феномена остаются непонятными или понятыми вульгарно (внешняя экспансия), постольку Тарле не может даже представить себе возможности немецкого «нео-империализма», свидетелями которого мы являемся в наши дни. Поэтому прогноз Тарле является одной из «фантазий, обманов и погибших слов», о которых так красочно пишет наш историк. Но «прогноз» в том духе, в каком нам преподносит его Тарле, понадобился последнему для того, чтобы толкнуть мысль читателя на необходимость начать ориентацию на традиционную *франко-русскую дружбу*. В самом деле, если Германия окончательно сокрушена, то какой смысл заключать с ней договоры, вообще считаться с ней, как с самостоятельной величиной: не ясно ли, что из таких действий ничего кроме вреда не получится и что приходится обратиться к старой дипломатической комбинации, затеянной русским империализмом и досадно прерванной Октябрьской революцией. Тарле, конечно, склонен критиковать агрессивные действия Пуанкаре, но он легонько журит французскую буржуазию, как журят упрямое дитя, которое любишь, за неосторожные действия.

Он боится, что слишком поспешные шаги французского империализма, слишком яркое выпячивание гегемонии Франции на материке Европы, может привести к охлаждению между Англией и Францией. . .

Если бы, — пишет он, — Франция пошла по стопам Наполеона (и тут вульгарная аналогия между империалистическими интересами современной французской буржуазии с интересами промышленных кругов Наполеоновской Франции, вовсе не заинтересованной во всех династических комбинациях Наполеона и поддерживавшей его экспансию в тех пределах, в каких это было ей выгодно — *Г. З.*), и, в самом деле, решилась бы на систематический захват гегемонии на материке Европы, то, конечно, Германия от этого только выиграла бы, ибо эта тенденция французских империалистически настроенных кругов действительно вызвала бы на сцену Англию и воскресила бы обстановку 1813 г., с некоторыми лишь видоизменениями.[1]

При такой трактовке соотношения сил в Европе, когда совершенно игнорируется значение СССР, как социалистического государства, отношения между СССР и Францией должны «реально» строиться на линии франко-русского союза, при учете, конечно, традиционных противоречий между Россией и Англией. И в последнем вопросе Тарле остается верен себе. В статье «Англия и Турция»[2] наш историк трактует турецкую и восточную

---

[1] «Анналы», № 3, стр. 92.
[2] Там же.

проблему вобще, как «прелюдию и расчистку арены» для англо-русского соперничества; «вся ситуация (между Англией и Турцией — *Г. З.*) осложняется возобновлением и вовсе нерешенным стародавним *соперничеством* с севером (курсив мой — *Г З.*)», т. е. с Россией, т. е. с СССР.

Итак, более или менее явный, а часто скрытый смысл статей Тарле по вопросам международной политики заключается в прокламировании дипломатической платформы русского «нео-империализма», «реальной» политики русской буржуазии, буде она придет к власти. Тарле провозглашает преемственность политики русской буржуазии с политикой правительства Николая II. Для этого он усердно доказывает полную политико-экономическую закабаленность Германии, для этого он усердно, в журнале через своих учеников и единомышленников, а затем в своей книге «Европа в эпоху империализма» старательно доказывает вину Германии в империалистической войне, тем самым обеляя Антанту и создавая вокруг нее пацифистский ореол. Статья Вульфиуса «Вильгельм о себе самом» стремится показать, что главным виновником войны был Вильгельм со своим ограниченным кругозором. Та же мысль доказывается и в отзыве Бирюковича о книге Ягова [1] в применении ко всей немецкой дипломатии, и в многочисленных статьях др. авторов (Гринвальд, Измайловой, Н. Платоновой и др.). М. Либталь в рецензии на книгу Беккера о Вудро Вильсоне [2] вслед за автором, апологетом американского империализма, некритически утверждает, что Вильсон искренне хотел систему международного равновесия «обновить и поставить на новый нормальный базис». П. Изместьев в статье «Германское командование в мировой войне» усердно доказывает, что командование Германии было значительно бездарнее антантовского командования — и делает отсюда вывод, что Фош является «стратегом-художником», у которого русским надо усиленно учиться. [3]

Так постепенно, шаг за шагом «Анналы» создают у читателя определенное представление о ничтожестве, бездарности и алчности Германии и о величии, талантливости и благородных пацифистских побуждениях Франции и ее союзников. Конечно, это делается достаточно искусно, сопровождается рядом оговорок и поправок, но цель достигается и с этими оговорками: читатель держится в плену платформы по внешней политике, которая может быть безусловно охарактеризована следующими важнейшими чертами: 1) Советская Россия только название, досадное

---

[1] G. v. Jagow, Ursachen und Ausbruch der Weltkrieges. Berlin, «Анналы», № 3, стр. 277.

[2] «Анналы», № 4, стр. 303.

[3] «Анналы», № 3, стр. 129.

недоразумение, которое должно исчезнуть, а потому с этим явлением можно не считаться. 2) Главный враг России до войны и после — Германия. 3) Вернейший друг — Франция, союз с которой необходим, при учете традиционных интересов Англии на востоке, и с которой надо стремиться притти к соглашению.

Можно было бы коснуться еще любопытнейших рассуждений ряда авторов о древней, средней и новой истории, в особенности о «лике и душе средневековья»,[1] которые воскрешает Гревс и которые чрезвычайно близки его религиозно-мистическим устремлениям, но наш обзор и так затянулся. Сомнения не может быть: в журнале «Анналы» Тарле пытался воскресить во всей своей обнаженности школу буржуазно-реакционных историков, имевшую определенную политическую программу, касающуюся как внутренних отношений в Советской России (этого касаться открыто нельзя было — не пропустили бы, но симпатии к буржуазной реставрации ясны, если вспомнить хотя бы рассуждения о Франции Добиаш-Рождественской или др. приведенные нами статьи), так, в особенности, внешней политики. Вкратце эта программа может быть охарактеризована так: *назад к реставрации капитализма.*

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «НАУЧНАЯ» ТЕХНИКА ИСТОРИЧЕСКИХ РАБОТ ТАРЛЕ.

Остается коснуться еще одного вопроса — о «научной» технике исторических работ Тарле. В литературе встречается преувеличенное мнение о научной ценности работ Тарле. Так, например, А. Дживилегов в «Энциклопедическом словаре» Граната пишет:

> Все эти исследования (Тарле. — *Г З.*) сделаны на основании совершенно нового архивного материала, использованного с редкой неутомимостью и большим методологическим мастерством. Они впервые поставили на научную почву историю промышленности и рабочего класса во время революции и реставрации, а историю торговли и промышленности во время империи самым настоящим образом создали на пустом месте, подобно тому, как труды учителя Т., И. В. Лучицкого, «создали» (слова Саньяка) историю крестьянского землевладения во Франции до и во время войны.[2]

Эта характеристика работ Тарле является некритической и тенденциозной апологией вредительских, в буквальном смысле этого слова, исследовательских приемов Тарле. Недобросовестные приемы Тарле, как исследователя, были вскрыты уже в начале 900-х гг. никем иным, как В. Водовозовым. В. Водовозов — политический единомышленник Тарле, вместе с ним, как мы видели, арестованный в 1901 г., вместе с ним, наконец после

---

[1] «Анналы, № 1.

«Энциклопедический словарь» Гранат, т. 41, ч. VII.

февральской революции участвовавший в газете «День» и др. периодических изданиях и ныне пребывающий в эмиграции. Тем ценнее в данном случае свидетельство В. Водовозова. В статье, напечатанной в журнале «Народное Хозяйство», В. Водовозов дал развернутую картину диссертации Тарле «Томас Мор».

Между прочим, Водовозов справедливо указывает, что Тарле выступивший тогда (прибавим от себя, как всякий буржуазный доцент, делавший карьеру) против Каутского и Меринга, перевирает Каутского, неправильно его цитируя. Далее Водовозов доказывает, что утверждения Тарле, будто он дал перевод «Утопии» с латинского подлинника — ложь. В переводе Тарле Водовозов находит следующие перлы: оказывается, что «castellum» переводится Тарле «Новая Кастилия», что «Каликут» под пером Тарле превратился в «Калькуту», «которая возникла впервые через 150 лет после смерти Мора». Тарле, оказывается, перевел «Утопию» с дешевенького немецкого издания, выдав свой перевод за перевод с латинского подлинника. Интересно, что Каутский в своем «Томасе Море» указал на ряд ошибок немецкого переводчика, но Тарле так «добросовестно» читал Каутского, которого он критикует, что этого не заметил. Но дадим слово самому В. Водовозову:

> Англичанин Бернет в 1684 г. перевел на английский язык «Утопию» Мора, допустив несколько грубых ошибок, какой-то француз перевел с английского, добавив от себя несколько курьезов, безграмотный немец Котэ в 1896 г. перевел с французского с добавлением собственных измышлений, и, наконец, в начале XX века русский ученый преподносит все это русской публике, считая однако нужным кое-что прибавить от себя. Ему одному принадлежит смешение «шага» с «футом» и окружности с площадью, точно так же, как он один позволяет себе произвольно сокращать Мора. Зато непонимание философских идей у него общее с Котэ.[1]

Фальсификаторство, допущенное Тарле в первой его большой работе, сохранилось во всех его исследованиях. Недобросовестное отношение к используемым им источникам характеризует все работы Тарле. Он пренебрежительно отзывается об уже опубликованных архивных документах, а свои документы, давным давно использованные, выдает за величайшее открытие. Напомним хотя бы о последней работе Тарле «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства». Тарле горделиво указывает, что им впервые использованы архивные материалы во всей широте, сборник документов Буржен на ту же тему он свысока третирует, как «инвентарь». По проверке оказывается, что Тарле насчитал в интересующую его эпоху (с 1814 по 1821 г.) *четыре стачки*, а у Буржен мы имеем еще *три*, о которых Тарле даже не упоминает. В своей работе «Рабочий класс во Франции в эпоху французской революции Тарле

---

[1] «Народное хозяйство», 1901 г., № 10, стр. 167.

утверждает, что в архивных источниках нет ничего о настроениях рабочих в пользу максимума, — позднейшие работы показывают противоположное. В свое время Савин, чрезвычайно добросовестный документатор, усумнился в том, действительно ли архивные данные свидетельствуют о столь низком уровне развития промышленности во Франции накануне революции, как это указано у Тарле. Савин писал:

Систематическая проверка выводов автора возможна только в национальном архиве. Я поэтому лишь с большой робостью позволю себе высказать предположение, что в картине немного сгущены краски, что технический уровень французской промышленности очень невысокий, все же не был так низок. [1]

Савин высказал робкое сомнение в добросовестности Тарле. Новейшие труды Балло, Анри Сэ и др. показывают, что Тарле систематически игнорировал архивные документы, свидетельствующие о наличии крупной мануфактурной промышленности во Франции накануне революции. Это нужно было Тарле для его контрреволюционных выводов о роли рабочего класса во время революции.

Н. Кареев в рецензии на книгу Тарле [2] уличил Тарле, мягко выражаясь, в неправде. Тарле утверждал, что он не мог использовать ряда документов (протоколы парижских секций), так как они *сгорели* в 1871 г. Кареев указал на книгу Мелье, который как раз использовал эти якобы «сгоревшие» документы. Кареев тогда меланхолически писал по адресу Тарле:

Не следует ли говорить не о том, что уцелело (или чего вовсе не было), а о том, чего автор не нашел или о чем ему были даны неверные справки.

Интересно, что тот же Кареев представлял в 1914 г. Тарле за ту же книгу к присуждению к Ахматовской премии, [3] но это только лишний раз показывает, что классовые симпатии и интересы берут верх у буржуазных ученых над вопросами ученой честности.

Общеизвестно также, что Тарле систематически игнорирует печатные материалы вообще. На этот счет мы имеет массу указаний и в буржуазной иностранной литературе. Приведем хотя бы отзыв Альбера Пэнго, с большой симпатией относящегося к Тарле. В рецензии на вышедшую в 1928 г. в издании F. Alcan книгу Тарле «Le blocus continental et le royaume d'Italie» Пэнго пишет:

Можно выразить сожаление, что он (Тарле) не счел необходимым более широко прибегнуть к печатным источникам, гораздо более многочисленным

---

[1] А. Савин. Новый труд по истории французских рабочих (в журнале «Русская мысль», 1912 г., кн. 9, 26.)

[2] См. «Русское богатство», 1911 г., кн. 5, 14.

[3] См. «Научный исторический журнал», 1914 г., № 14, 155.

и важным, чем он думает. Объявлять, например, как он это делает (на стр. 91), что история сельского хозяйства Италии в начале XIX ст. «не дала повода ни для одной монографии, способной удовлетворить нашу любознательность», — не значит ли слишком пренебречь давней (1856 г.), но вместе с тем капитальной работой Жасини о земельной собственности и сел.-хоз. населения Ломбардии.[1]

И в русской литературе (не марксистской) мы имеет неоднократные указания на то, что Тарле третирует важнейшие печатные источники, просто заявляя, что их не существует, когда — он их не знает и не видел. Тот же Кареев отмечал в свое время, что

в весьма естественной и весьма похвальной погоне за неизданным материалом он (Тарле) не так ревностно старался разыскивать уже имеющиеся в печати источники, которые мы находим иногда в разных периодических изданиях.[2]

Так. Тарле совершенно не использовал материалов, напчеатанных в известной «Collection de documents inedits sur l'histoire économiqus de la Révolution française», начавшихся изданием по инициативе Жореса. Игнорирование работ и публикаций Жореса для Тарле явление не случайное: поскольку Жорес в вопросе об экономическом развитии Франции в эпоху революции стоит на другой точке зрения, чем «русская школа» и следующий за нею Тарле, последний с некоторым пренебрежением указывал, что его мало привлекали

афористические по форме и лишь слегка иллюстрированные примерами утверждения Жореса... о машинах, о домашней промышленности и т. п.[3]

С тем же великолепным самомнением, с каким Тарле третирует сборник архивных документов Буржен (*Ceorges Bourgin* et *Hubert Bourgin,* Le régime de l'industrie en Françe de 1814 à 1830. Recueil des textes), он в своей книге «Рабочий класс в первые времена машинного производства» проходит мимо работ Трюшона, Анри Сэ, Фести и Алязара. С точки зрения Тарле все эти работы ничего не стоят.

Чисто научная, исследовательского типа литература по рабочему вопросу во Франции в рассматриваемый период, — утверждает Тарле, — равна нулю.[4]

В результате пренебрежительного отношения к французским работам академику Тарле лишь к 1928 г.

---

[1] «Revue historique». 1928. Janvier — Fevrier.

[2] «Русское богатство», 1911, № 5, стр. 19.

[3] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху революции, т. II, стр. XV.

[4] Е. В. Тарле, Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. Введение.

«удается найти» ответ на такие вопросы, которые освещались и разрешались 16 лет назад. Например, Тарле интересуется вопросом о том, как закон 31 марта 1831 г. (о налогах) отразился на положении рабочего класса. Но этот вопрос еще в 1912 г. рассматривался Алязаром.[1]

В той же книге автор широко использует Виллерме; его знаменитые «Tableau de l'état physique et moral des ouvriers» Тарле упорно называет исследование Виллерме «анкетой» и не пытается даже проверить сведения, даваемые Виллерме, непосредственно по источникам, слепо доверяя его «анкете» и принимая ее за первоисточник.[2]

Характерно, что Тарле, упоминая в своей книге «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства» о книге Балло (книга Тарле вышла в 1928 г., книга Балло с предисловием Hauser'а вышла в 1923 г., — не упомянуть ее было просто невозможно) — в противоречии с действительным содержанием книги Балло, утверждает, что Балло довел свое исследование

только *до* (подчеркнуто Тарле — *Г. З.*) начала Великой революции, так как более позднего периода (революции и империи) он касается лишь на очень немногих беглых страницах.

Между тем Балло отделу революции и империи уделяет значительную часть своей книги. А Тарле в другом месте той же своей книги горделиво заявляет, что «история введения машинного производства во Франции никогда и никем не только не была написана, но не была даже и затронута».[3] Вот уж, поистине, врет не краснея.

Мы уже не говорим о том невежестве, какое обнаруживает Тарле в вопросах, о которых он пишет не как «исследователь», а как компилятор или популяризатор. Приведем один пример: в своей книжке «Очерк новейшей истории Европы», изданной при советской власти, Тарле утверждает, что «Коммунистический манифест» оказал могучее влияние на мартовскую революцию в Германии («в то время, как «Коммунистический манифест», написанный накануне революции, появился буквально за несколько дней до начала революции), что «часть Парижской коммуны стояла на почве «Коммунистического манифеста» (в то время, как среди коммунаров, по существу, марксистской фракции не было), что во время революции 1848 г. во Франции Временное правительство, открывая национальные мастерские,

---

[1] См. Ф. Потемкин, «Причины восстания лионских рабочих в 1831 г.» («Архив М. и Э.» кн. 4, стр. 168).

[2] См. Рецензию И. Завитневича на указанную книгу Тарле («Историк-марксист», т. XI).

[3] Е. Тарле, Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. Введение.

не могло и не хотело (! — *Г. З.*) отказать рабочим в их требованиях... что 45-сантимовый налог понадобился Временному правительству для того, чтобы покрыть расходы на содержание мастерских» и т. д. и т. п.[1]

Мы видим, что не только историкам-марксистам, но и буржуазным исследователям и даже благожелателям Тарле часто претит пренебрежительный тон последнего по отношению к другим авторам, его, мягко выражаясь, «легкое» отношение к источникам. У Водовозова даже вырвался крик возмущения — это было в 900-ые годы, когда Водовозов тоже «ходил в революционерах». Но, как мы уже отмечали, классовые симпатии у буржуазных историков почти всегда берут верх над добросовестностью. Только марксистская историческая наука поставила во всю ширь вопрос как о *содержании* работ Тарле, так и о *методе* и *технике* его научных приемов.

В утверждениях Тарле не просто, конечно, невежество, а классовое извращение фактов в угоду буржуазии. Весь его способ документации является классовым приемом, необходимым для того, чтобы скрыть ряд существенных моментов и защитить свою контрреволюционную концепцию. Мы имеем в лице Тарле полнейшую согласованность между политическим и научным вредительством.

Выводы об исторических трудах Тарле напрашиваются сами собой. Тарле с первых же дней своей научно-литературной деятельности является буржуазным историком, фальсифицирующим в угоду классовых интересов капитализма исторический процесс. Являясь методологическим эклектиком, соединяющим воедино Лучицкого, Конта, Роджерса, Струве и Бернштейна, Тарле с первых же шагов усвоил некоторые якобы марксистские положения. Эти обстоятельства, а также тематика и умение пользоваться радикальной фразеологией в соединении с красивым стилем, способствовали тому, что Тарле мог долго выступать в качестве «прогрессивного», передового ученого. Заняв с первых дней февральской революции контрреволюционную позицию, Тарле виртуозно прикрывал ее при советской власти, выступая чуть ли не с марксистскими исследованиями и в качестве якобы друга советской власти, на деле блокируясь с самой махровой реакционной школой Платонова и протаскивая в своих работах буржуазную клевету на рабочий класс и апологию антантовского империализма и русского нео-империализма. Это идеологическое вредительство сочетается с недоброкачественным, по существу вредительским отношением к документации: он собирает документы под определенным реакционным углом зрения, пренебрегает важнейшими печатными источниками, заменяет критиче-

---

[1] См. рецензию С. Моносова в «Историке-марксисте», кн. 13.

ский анализ саморекламой и презрительным отношением к работам других авторов.

Пролетарским ученым нечему учиться у историков типа Тарле. Не только вредительские схемы Тарле должны быть отброшены, но и документация этого историка должна быть коренным образом пересмотрена. Тарле не имеет права на звание историка рабочего класса, историю которого он фальсифицирует в угоду буржуазии. Ни рабочие СССР, ни пролетариат других стран не признают его вредительских концепций. Окрепшая пролетарская историография СССР раз и навсегда покончит с вредительством Тарле и его друзей на историческом фронте.

М. Цвибак.

ПЛАТОНОВ И ЕГО ШКОЛА.

Товарищи, говоря о школе Платонова, о последней школе буржуазных историков, о последнем этапе развития буржуазной исторической науки, нужно отметить, что ни на какой другой науке не сказывается в такой мере, как на истории, положение нашей страны, страны, вступившей в эпоху развернутого социалистического строительства, страны, вступившей в эпоху социализма. Окончательно разбита, разбита самой жизнью ложная буржуазная наука, основным содержанием которой было обоснование невозможности победы пролетариата у нас и невозможности разворачивания победоносного мирового пролетарского движения, невозможности всего того, что нами уже сделано и что нам предстоит сделать. Всякое историческое исследование, о чем бы и кем бы оно ни писалось, ведет и должно вести к тому, чтобы объяснить существующее сегодня. Изучение прошлого объясняет нам условия общественной жизни настоящего и показывает наше место, место определенного класса в современном общественном процессе. Когда историческая школа, в силу своего классового положения, создает историческую концепцию, в которой нет места для диктатуры пролетариата, для пролетарской революции, для пролетариата вообще, и когда исторический процесс действительной жизни показывает нам ложность этой концепции, мы говорим, что такая историческая школа превращается в пустое место. Буржуазные историки игнорировали роль пролетариата, это видно из всего того, что они писали. Менее умные из них признавали это совершенно явно. Мне пришлось слышать в Ташкенте лекции, читанные в «радиоуниверситете» историком П. П. Смирновым, автором книги о городах XVII столетия (он, кстати, курса своего и не закончил). Дойдя до 1905 — 1917 гг., он отмечал, что произошло неожиданное, родился класс, возникновение которого мы не предвидели, появился пролетариат.

Историческая концепция буржуазии исходила не только из определенной проработки прошлого, но и пыталась дать представление о путях будущего. В этих представлениях всего меньше можно было найти то, что фактически осуществилось. Только

*

наука восходящего класса может смотреть смело вперед и предвидеть будущее на основе изучения прошлого и настоящего. Метод Маркса и Ленина занял монопольное место в науке, потому что практика оправдала те научные положения, которые выдвигались на основе этого метода. Критерий практики — оправдание исторического предвидения — показали и показывают правоту Маркса и Ленина и крах всех буржуазных и мелкобуржуазных теорий. Ложность и ненаучность буржуазных и исторических концепций теперь видна каждому. В процессе ликвидации враждебных пролетариату классов умирает и наука этих классов. Буржуазная историческая наука умерла в нашем Союзе, ее больше нет, нет как цельного научного направления, противостоящего нашей марксистско-ленинской концепции. Этап перейден. Имеются, правда, попытки восстановления буржуазных теорий в целом и по частям попытки протащить буржуазные установки в нашу литературу. Эти попытки нужно разоблачать и бить, самым безжалостным образом бить партизанские отряды разбитого в основных силах врага.

На долю Платонова выпала любопытная роль в эпоху умирания русской буржуазной исторической науки. Русская буржуазная историческая наука на последнем этапе своего существования пережила оригинальную предсмертную консолидацию, как будто бы для того, чтобы коллективно пережить свою предсмертную агонию. Объединились представители разных групп и течений, некогда разъединенных, и получился довольно спаянный блок всех мелко- и крупно-буржуазных и помещичьих историков. Тут можно было встретить людей, имевших развязность именовать себя «марксистами», старых черносотенцов типа Лихачева. Это — коллективно организованное «кладбище» людей, коллективно переживших свою смерть, говоря словами М. Н. Покровского.

Каким образом во главе этого кладбища оказался С. Ф. Платонов, историк, всего меньше имевший право претендовать на то, чтобы быть ученым, имеющим свою школу (хотя нет сомнения, что по номенклатуре КУБУ он и значился в числе мировых ученых)?

Начало объединения буржуазных историков вокруг Платонова относится еще к дореволюционному времени, окончательно же они консолидировались вокруг Платонова в советское время в борьбе против рабочего класса, против его науки — марксизма-ленинизма.

Установить, на какой почве создалась эта консолидация, какова была ее общественная роль, каковы были те направления и настроения, которые складывались вокруг нее вместе с выявлением научно-политического лица главы группы С. Ф. Платонова, — вот те задачи, которые ставит себе настоящий доклад.

Мы покажем, что «школа» Платонова — политическое реакционное объединение в целях сначала защиты интересов правительства, позже в целях борьбы с советской властью на фронте науки и не только науки.

I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНОВА.

Прежде всего я хочу сказать несколько слов о самом Платонове. Платонов, как видно из его личного дела в университетском архиве, сын мелкого чиновника из дворян, служившего по типографской части; попал он в университет в годы, которые Владимир Ильич называл годами «революционной ситуации», в годы наивысшего подъема народнической революционной борьбы против самодержавия. Платонов оставил воспоминания; они напечатаны в журнале «Дела и дни». Здесь он рассказывает о своих студенческих годах. Для него время его студенческих лет было не что иное, как «темная политическая эпоха 1878 — 82 гг., эпоха террора снизу и сверху» [1]. Читая его воспоминания, мы ясно видим молодого, вылощенного человека типа Молчалина. В университете он боится окружающей его революционной волны, сходки его мало интересуют:

> Сходки мне не нравились и (да простят мне их участники и любители) представлялись мне беспорядочными сборищами, рассчитанными на обработку грубой массы. Другое дело была агитация в шинельной, в небольших кружках, в длительной спокойной беседе. Если бы моя личная жизнь не сложилась так, как уже тогда сложилась, и если бы я был вообще по натуре пригоден для партийных организаций — «шинельная» могла бы меня обработать и завлечь. [2]

Никакие «шинельные» не могли «обработать» Платонова, ибо его уже и тогда «завлекала» шинель на цветной подкладке, которую он быстро сумел заслужить на поприще «исторического» служения самодержавию. Консервативный либерал Градовский и либеральный консерватор Бестужев-Рюмин дали определенную политическую направленность молодому Платонову в определенно-реакционном духе.

> Градовский и Бестужев проникали в сердце и совесть, будили душу, заставляли искать идеала и моральных устоев, В их изложении история давала материал для оценки настоящего и заставляла юношу продумать свое отношение к народности и государству. [3]

Национализм и монархизм — вот что, прежде всего, вынес студент Платонов из университетских аудиторий. А наряду с этим и индивидуализм, переходящий в карьеристские тенденции,

---

[1] «Дела и дни», кн. II, стр. 132.
[2] Там же. стр. 118.
[3] Там же, стр. 114.

оправдываемые «правом всякой личности на пользование своими силами в том направлении, куда их влечет внутреннее побуждение».[1] Платонову, прошедшему мимо передовых идей 70-ых годов, с самого начала представлялось, «что источником прогресса всего общества является личная самодеятельность»,[2] этой идее он оставался верен всегда.

В 1882 г. Платонов кончает Петербургский университет и издает кандидатскую работу о «земских соборах». Тема эта зарождается у него под влиянием эпохи Лорис-Меликова.

То было время графа Лорис-Меликова, эпохи «сердечных попечений» и «доверия», робких надежд на реформы и на переход к народному представительству. Много говорилось и даже печаталось о земских соборах. О них-то я и захотел писать свое сочинение.[3]

Эта же самая тема позже перерастает у Платонова в тему о «смуте» начала XVII в., тему, которая для Платонова, прежде всего, была связана с основным вопросом его работы, вопросом о происхождении романовской монархии. Одновременно с Платоновым училась и работала группа историков, на которых и эпоха и школа наложили определенную печать. Среди них были и более либеральные, которые позднее примыкали к кадетскому направлению типа Лаппо-Данилевского, были и правые — «черносотенцы», как Чечулин, да и сам Платонов, занимавший в их среде центральное место. Милюков в одной из своих заметок отмечает, что в русской исторической науке не было такого направления, которое соответствовало бы направлению «охранительного западничества», представленному в публицистике Катковым.[4] Милюков в этом вопросе был неправ. Платонов был именно тем историком, который в науке отражал идеи «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника».

На почве научно-политического единства, в условиях реакции царя Александра III, выросла понемногу та организация, которая, по словам Платонова, получила название кружка русских историков и заключала в себе

В. Гр. Дружинина, И. А. Шляпкина, М. А. Дьяконова А. С. Лаппо-Данилевского, Н. Д. Чечулина, С. М. Середонина, Н. М. Бубнова, А. И. Барбашева, Е. Ф. Шмурло, И. А. Козеко, С. Л. Степанова, Н. М. Лисовского и И. И. Симонова.[5]

Эти люди, несмотря на то, что они подчас политически расходились — Платонов — правый, а Лаппо-Данилевский — кадет, были более близки друг к другу, чем далеки. Название «русские

---

[1] «Дела и дни», кн. II, стр. 113.
[2] Там же, стр. 118.
[3] Там же, стр. 122.
[4] Энц. Словарь Бр. и Ефр., полутом 55, стр. 441 — 42.
[5] «Дела и дни», кн. II, стр. 132.

историки» обусловлено вовсе не только тем, что интересы кружка питались в основном историей России, в нем подчеркивался прежде всего националистический момент. Так понимал характер этого объединения А. Е. Пресняков, отмечая в биографии Лаппо-Данилевского[1] что последний

современем отошел от этого кружка, даже разошелся с ним. Это было отчасти расхождением с «русскими историками» того более близкого Лаппо-Данилевскому кружка, к которому примыкали братья Ольденбурги, И. М. Гревс и другие, отчасти и личным отчуждением его от дружеской среды, в которой центральным лицом был и остался С. Ф. Платонов.

Хотя университетские либералы и консерваторы, как отмечал опять-таки тот же Пресняков, были «людьми иного темперамента, иных воззрений и настроений», они в равной степени были в 80-ые годы врагами революционеров и революционного движения. Замечательным «документом эпохи» в этом смысле являются воспоминания Гревса «В годы юности. За культуру». Гревс совершенно откровенно обливает грязью революционеров, которые, по его мнению,

в большинстве были мелкие, часто самолюбцы и фразеры, далеко не всегда чистые и искренние люди.[2]

Идейная и классовая близость университетских либералов, поборников идей, «выработанных долгим научным трудом», и правых сказалась позже при окончательной консолидации под руководством именно правых, в лице того же Платонова, широких кругов буржуазных историков. Но об этом дальше.

Платонов сумел поставить себя, как историк, особенно подходящий к целям и видам правительства, министерства народного просвещения деляновской поры, прежде всего.

Он представлял собою именно такой тип историка, который больше всего подходил петербургской бюрократии.

Платонову удалось быстро сделать карьеру, связаться с влиятельными сферами и среди них играть некоторую роль. Достаточно указать на его связь с такими персонами, как граф С. Д. Шереметьев и К. К. Романов (К. Р.), дядя царя, стоявший тогда во главе Академии наук. В 1911 году мы находим этого великого князя в числе «учеников, друзей и почитателей» Платонова, посвящающих ему сборник статей. К. Р. пишет сонет о Петре, отмечая в подзаголовке: «посвящается С. Ф. Платонову». Этот бытовой штришок показывает, где бывал человек, как он сделал себе карьеру. Надо сказать, что Платонов очень быстро подвигался по служебной лестнице. Еще молодым человеком делается он членом совета министерства народного просвещения. Приглашают его и преподавателем в царскую семью, где он об-

---

[1] А. Пресняков, А. С. Лаппо-Данилевский, I, 1922, стр. 26.
[2] «Былое», № 12, 1918 г., стр. 47.

учал истории брата и сестру Николая II (Михаила и Ольгу). Быстро идут и чины. Наконец, по учебно-административной линии он делается последовательно секретарем факультета, деканом, помощником директора Высших женских курсов и находящегося в ведении императрицы Марии — Женского педагогического института.

Платонов рано стал и профессором, — пробыв всего одно полугодие приват-доцентом, он уже в 1888 г., не достигнув 30 лет, становится профессором. Быстрота, с которой делал карьеру этот человек, была обусловлена не только литературно-исторической деятельностью и обслуживанием задач, которые перед исторической наукой ставило правительство Николая II, — Платонов и непосредственно участвует в борьбе правительства с революционным движением.

Нужно остановиться на одном серьезном и крупном факте, который обыкновенно замалчивался в буржуазно-профессорской литературе. Профессорская либеральная антиправительственная борьба была скорей фрондой против министерства народного просвещения профессорской корпорации за свои корпоративные интересы, чем политической борьбой. В силу этих корпоративных интересов обыкновенно замалчивались те неблаговидные поступки, которые совершали профессора и в том числе Платонов.

Перед мной лежит чрезвычайно интересный документ, который затерялся в старых министерских изданиях и архивных делах. Это так называемые «Временные правила 29 июля 1899 г.».

После крупнейших студенческих волнений 1899 г. состоялось особое междуведомственное совещание министров: внутренних дел, народного просвещения, земледелия и государственных имуществ, финансов, военного и управляющего министерством юстиции. Совещание выработало «временные правила». В 1-й и 2-й статьях правил читаем:

Воспитанники высших учебных заведений, за учинение скопом беспорядков в учебных заведениях или вие оных, за возбуждение к таким беспорядкам, за упорное, по уговору, уклонение от учебных занятий и за подстрекательство к таковому уклонению, подлежат, на основании изложенных ниже правил, удалению из учебных заведений и зачислению в войска для отбывания воинской повинности, — хотя бы они имели льготу по семейному положению, либо по образованию, или не достигли призывного возраста, или же вынули по жребью нумер, освобождающий от службы в войсках.

И дальше:

Для рассмотрения дел о проступках, указанных в предыдущей (1) статье, — при каждом из высших учебных заведений учреждается особое совещание, в составе: председателя и членов педагогической коллегии, коей действующим уставом учебного заведения предоставлена дисциплинарная власть, и представителей от министерства военного, внутренних дел и юстиции.[1]

[1] «Журн. мин. нар. просвещения», 1899, август, стр. 58.

Эти правила были применены в 1901 г. сначала в одном из южных университетов, в Киевском, где 183 студента, участвовавшие в «беспорядках», были сданы в солдаты. Тогда же в старой «Искре» Владимир Ильич написал статью «Отдача в солдаты 183 студентов».

Ответом на события на юге было крупное студенческое движение в Петербурге и против него правительством были приняты те же меры, что и на юге. Было организовано особое совещание по применению «временных правил», и в это особое совещание вошли, кроме попечителя, военных властей, представителей министерства юстиции и департамента полиции — ректор петербургского университета профессор И. Гольмстен и деканы факультетов профессора Шевяков, бар. Розен, Дювернуа и Платонов. Этим совещанием было сдано в солдаты 39 студентов (3 — на три года, 9 — на два и 27 — на один год). Как преданно исполнял С. Ф. Платонов совместно с другими профессорами свои полицейские обязанности, видно из того, что писал один из «сданных» в солдаты студентов.

> Был среди нас один «солдат без ружья», — он не мог держать в руках ружья потому, что половина тела у него была разбита параличом и он плохо владел правой рукой и ногой. Ему и не выдавали ружья. Каждое утро «дядька» одевал его, а вечером помогал раздеваться.[1]

Недаром тот же студент отмечает, «что это был по-истине Шемякин суд».[2]

В таком деле принял участие Платонов. Правительство не забыло услуг, которые оказывал ему Платонов и через год после этого полицейского подвига он был избран членом «императорского русского исторического общества», в то время как более крупный историк В. О. Ключевский попадает туда только в следующем 1903 г. Платонов был близок к тому, чтобы занять крупный политический пост. Гр. Игнатьев, который был министром народного просвещения, указывает в своих показаниях чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, что в момент назначения его министром — другим кандидатом на этот пост был Платонов.[3] Платонов в результате политических заслуг перед самодержавием, был близок к тому, чтобы занять министерский пост.

Таково политическое лицо Платонова, такова карьера его как профессора и крупного чиновника в дореволюционную эпоху.

Каковы же его исторические взгляды? У Платонова мы не найдем сколько-нибудь продуманных научно-разработанных обще-исторических представлений. Он совсем не придавал зна-

---

[1] «Былое», 1906 г., 5, стр. 137.
[2] Там же, стр. 166.
[3] «Падение царского режима», т. VI, стр. 3.

чения вопросам исторической методологии, в его курсе методологические вопросы занимают две-три страницы и сводятся к двум-трем установкам. Для него наукой история стала

в начале XIX века, когда из Германии..., в противовес французскому космополитизму, распространились идеи национализма, деятельно изучалась национальная старина и стало господствовать убеждение, что жизнь человеческих обществ совершается закономерно, в таком порядке естественной последовательности, который не может быть нарушен и изменен ни случайностями, ни усилиями отдельных лиц.[1]

Подобно всем буржуазным историкам он противопоставляет методологически историю, как конкретную науку, общей науке об общественном развитии. Там же Платонов замечает:

Явились далее попытки понимать историю как науку, долженствующую раскрыть общие законы развития общественной жизни вне приложения их к известному месту, времени и народу. Но эти попытки в сущности присваивали истории задачи другой науки — социологии. История же есть наука, изучающая конкретные факты в условиях именно времени и места и главной целью ее признается систематическое изображение развития и изменений жизни отдельных исторических обществ и всего человечества.

Одно дело «общие законы развития общественной жизни» — другое «изображение развития и изменений жизни».

Характерно, что исторические взгляды роднят его с представителями буржуазной историографии типа Тарле. Отмеченный М. Н. Покровским у Тарле «фатализм» исторического процесса сближает установки Платонова с историческими взглядами Тарле.

Чрезвычайно характерно для Платонова полное отрицание скачков в историческом процессе, революции никакой роли, по его мнению, в истории не играют. Платонов, который написал труд, посвященный глубоко революционному историческому явлению — так называемой «смуте», совершенно не понимал роли революции в развитии исторического процесса вообще, русского в особенности.

Русская история вообще идет чрезвычайно последовательно, но ее разумный ход будто перескакивает через смутное время и далее продолжает свое течение тем же путем, тем же способом, с теми же приемами, как прежде. В тяжелый период смуты были явления новые и чуждые порядку вещей, господствовавшему в предшествовавшем периоде, однако они не повторялись впоследствии, и то, что, казалось, в это время сеялось, не возрастало после.[2]

Платонов в 1888 г. в речи на диспуте отмечал, «что из нашего университета вместе с навыками научной критики» он «вынес и стремление к отвлеченным историческим построениям» и подчеркивал, «что плодотворна только та историческая

---

[1] С. Платонов, Лекции, 10-е изд., стр. 3.
[2] С. Платонов, Лекции, стр. 316.

работа, которая идет от широкой исторической идеи и приводит к такой же идее.[1]

Тем не менее это были только слова, время Платонова — упадочный период для русской историографии: Платонов в области «широких исторических идей» ничего не дал. И в лекциях, изданных в 1917 г., на свой вопрос, «чем же живет теперь наша историография?», он отвечал словами Константина Аксакова: «у нас теперь нет «истории» — у нас «теперь пора исторических исследований», не более.[2]

Мало. А между тем, я исчерпал все то, что можно найти у Платонова в области высказываний на общеисторические темы. Он больше, чем кто бы то ни было другой был человеком одной книги — homo unius libri. Если просмотреть все сочинения Платонова, все написанное им с начала 80-х годов XIX в. до конца 20-х годов XX века, то мы увидим лишь две темы: основная — «смута» и дополнительная — Петр.

Интересно, что когда Платонов впервые приступил к чтению лекций в университете в 1888 г., то он двумя пробными лекциями избрал: «Очерк исторических взглядов на деятельность Петра Великого» и «Русские летописные сказания смутного времени». Эти две темы, по существу, являлись для Платонова одной темой — они связаны с основным интересом автора к вопросам о возникновении романовской монархии. Историком, давшим «научную» апологию самодержавия в виде истории царствования трех первых Романовых — Платонов был прежде всего. Связаны с этим вопросом и его работы о «земских соборах» и о «боярской думе» и публикации источников и мелкие статьи по истории петровской эпохи.

Отдельные выступления и высказывания его историографического характера носят далеко не исследовательский характер и являются случайными и пожалуй даже немного вынужденными, за исключением статьи о Карамзине, ярым апологетом которого был Платонов.

Раньше чем приступить к анализу основных для научной характеристики Платонова работ о «смуте», надо остановиться на вопросе, который живо должен нас интересовать, — это оценка Платоновым XIX века. Она прежде всего дополнит характеристику политического, классового лица этого историка. Буржуазная историческая наука не знала научного построения истории XIX века, ее вполне удовлетворяли чисто публицистические рассуждения. Платоновские установки по вопросам XIX века, высказанные в его «лекциях», носят явно монархический,

---

[1] Древне-русские сказания и повести о смутном времени, изд. 2-е стр. XIV.

[2] С. Платонов, Лекции, стр. 19.

официальный характер. Если сравним «курс» Ключевского с «лекциями» Платонова, мы увидим, что Платонов правее, ближе к правительственной точке зрения, чем Ключевский.

Ключевский, говоря о революционном движении, давая ему отрицательную оценку, сохраняет при этом добрую мину старца, искренне скорбящего по поводу увлечения революционной молодежи. Образ либерала, который «скорбит» (правда не искренне), характерен для той прослойки профессорского либерализма, к которому принадлежал Ключевский. Весьма умеренная, правда, но либеральная установка, лежит в основе взглядов Ключевского.

Для Платонова характерно совершенно другое: он в своих исторических взглядах на XIX век идет от тех установок, которые были выработаны в «собственном» кабинете Николая I в ту эпоху, когда во главе российской самодержавной мысли стоял такой человек, как барон Корф, автор известной книжки о восшествии на престол императора Николая I. И Корфовские традиции Платонов продолжает как раз в тех вопросах, где он расходится с Ключевским. Для последнего политика Николая I — это политика продолжения аракчеевщины. Для Платонова Николай — положительный герой, который повел Россию по другим путям, который разорвал с аракчеевской политикой, который использовал все то лучшее и ценное, что было у наиболее благонамеренных представителей декабристского движения. Эта совершенно законченная реакционно-монархическая установка целиком и полностью отражает идеологию и исторические взгляды Платонова.

Нечего говорить о том, что Платонов, говоря о таких вопросах, как революционное движение, как колониальная политика — войны, был представителем правых, националистических и монархических взглядов.

Политическое лицо чиновника-карьериста, бюрократа, человека правых взглядов, не мыслившего исторического развития страны вне самодержавия и пережитков крепостничества, отразилось на всех его исторических трудах и прежде всего на основном труде, посвященном «смуте». Платонов не был сословным дворянским историком, как какой-либо Панчулидзев, баронесса Толь или даже Д. А. Корсаков. Тем не менее он был весьма сродни им, проводя в общем и целом официальную историческую установку военно-феодального империализма, в основном отражавшего интересы крепостнического дворянства, но так его отражавшего, что за ним могла итти и верхушка буржуазии.

В силу этого Платонов мог стать во главе буржуазной историографии после смерти Ключевского. В условиях идеологического распада буржуазной научной мысли эпохи империализма историк — монархист и бюрократ мог возглавлять не

только дворянских, но и буржуазных историков. Платонов был типичен для всей дореволюционной в основном буржуазной русской исторической университетской науки.

Как же могло случиться, что Платонов, который был законченным представителем самодержавно-монархической точки зрения на русский исторический процесс, который был официальным историком министерства народного просвещения, приобрел не только в либеральных, но даже и в более «левых» общественных кругах славу историка, вскрывшего классовую борьбу, принявшего классовую точку зрения. В оценках Платонова как историка сделано много ошибок, кое-где в отсталых уголках они быть может еще и не рассеяны. Окончательно разобраться в поставленном вопросе мы сможем, перейдя к разбору основного труда Платонова «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI — XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в смутное время», впервые появившегося, как докторская диссертация автора в 1899 г.

II. СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ ПЛАТОНОВСКИХ «ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ СМУТЫ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI — XVII ВВ».

Книга Платонова была встречена сочувственными отзывами в буржуазной печати. Кроме академической рецензии оппонента на диспуте киевского профессора Иконникова, [1] она вызвала многочисленные отклики в печати. Милюков [2] отмечает сочинения Платонова как «новейшее изложение событий смутного времени с точки зрения классовой борьбы». Рецензент «Вестника Европы» [3] отмечает эту книгу как «первый широко-проведенный опыт социологической истории смутного времени». А. Трачевский пишет большую статью об этой книге, в которой пересказывает без всякой критики труд Платонова, предпослав ему пространное введение, излагающее всю мировую историю от древнего Рима до реформации. Почтенный редактор исторического отдела журнала «Научное Обозрение» совершенно не разобрался в труде Платонова. На его взгляд «г. Платонов подходит к вопросу с социологической точки зрения, пользуется самым важным и современным приемом». [4] Ту же оценку давал и Н. А. Рожков, который всецело подчинился платоновской традиции в своих оценках «смуты», отмечая, что

в общем и целом, социальная подкладка отдельных моментов русской революции XVII века изображена г. Платоновым правильно. [5]

[1] «Журн. мин. нар. просвещения», 1900, 2 и 3.
[2] «Очерки ист. русск. культ.», т. III, в. I, изд. 3-е, стр. 92.
[3] «Вестник Европы», 1899, ноябрь.
[4] «Научное обозрение», 1900, № 1, стр. 129, см. также №№ 2, 5, 6.
[5] Н. Рожков, т. IV, ч. 2, стр. 6, изд. 1922.

Обаяние автора «смуты» настолько велико, что Рожков начинает приписывать Платонову собственные взгляды:

Платонов исправил и основную ошибку Ключевского в изображении хода смуты, доказав, что отдельные классы вступили в смуту вовсе не в точно таком порядке, в каком они располагались сверху вниз. [1]

Это совершенно неверно, не только у Платонова, но даже у Фирсова эта идея Ключевского проведена полностью. Зато Н. А. Рожков решительно осуждал попытку оспорить традиционные со времени Ключевского и Платонова объяснения классовой подкладки отдельных моментов смуты, [2] осуществленную в марксистском труде М. Н. Покровского.

Таким образом исследовательские приемы и выводы Платонова одобрялись широким фронтом историков от Иконникова и Милюкова до Трачевского и Рожкова. Журнал «Современный мир», в неподписанной рецензии, скорее всего и она написана Н. А. Рожковым, в 1911 г. пошел еще дальше. Ликвидаторский журнал не остановился перед тем, чтобы объявить платоновскую методологию марксистской:

Г. Платонов, — читаем в рецензии, — воспользовался сокровищницей исторического материализма. Марксизм, столь чуждый общественной группе, к которой принадлежит автор, наложил яркую печать на его научное мышление. [3]

Иначе характеризовал Платонова историк-большевик:

Теневую сторону, к сожалению, все более выступающую в последнее время произведений Платонова — писал М. Н. Покровский — составляет наклонность к официальным точкам зрения в некоторых вопросах. Таково, например, его отношение к вопросу об ограничении власти первых Романовых. В тех случаях, где Платонову по необходимости приходится касаться новейшей русской истории (например, в его «Учебнике русской истории», в общем наиболее научном образчике нашей школьной литературы) эта черта особенно заметна. [4]

Позже в «Сжатом очерке», признавая за Платоновым лишь «некоторое, хотя не весьма глубокое понимание классовой борьбы», от которого Платонов стремился после Октября отделаться, М. Н. Покровский подчеркивает, что работы его «являются главным образом собранием материала» [5]

Верно, что Платонов проявил интерес к социальному движению, попытался разобраться в вопросах классовой или «сословной» как он выражался, борьбы. Возникает вопрос: зачем это

---

[1] Н. Рожков, т. IV, ч. 2, стр. 6, изд. 1922 г.
[2] Там же.
[3] «Современный мир», 1911 г., № 2, стр. 368.
[4] Энц. Сл. бр. Гранат, т. 32, стр. 322.
[5] М. Покровский, Русская история в самом сжатом очерке, изд. 2, стр. 2[illegible]5.

делал Платонов? Какова была целевая установка Платонова? Он этого от нас не скрыл. В 1888 г. в речи, сказанной 11 сентября и предшествовавшей диспуту о книге «Древне-русские сказания и повести о смутном времени», Платонов прямо указывает, почему он занялся историей смутного времени. Он говорит:

Выбирая эпоху для специальных занятий по русской истории, я не забывал общей схемы русской исторической жизни и остановился на смутном времени. Мне представлялось, что это время является историческим узлом, связующим старую Русь с новой Россией. Естественным казалось взяться прежде всего за этот узел, и потом, держась за путеводные нити, расходящиеся из этого узла, или восходить в древнейшие эпохи, или спускаться в новейшие времена. Я понимал, что было бы невозможно на первых шагах научной деятельности задаваться исследованием смутной эпохи во всей его сложности.[1]

Поэтому Платонов себя ограничивает. Интересно, на что же конкретно обращает он внимание, чем он хочет заняться, желая понять «дальнейшие эпохи» и «новейшие времена».

Оказывается, больше всего Платонова интересовала контрреволюция, ликвидация «смуты».

Меня остановил один факт смуты — Нижегородское движение 1612 года. Мне хотелось изучить его всесторонне, узнать социальный состав населения среднего Поволжья, узнать, какой сословный слой был там господствующим и почему. Это, как я мечтал, позволило бы мне указать предводителей народного подвига, понять народное движение 1611 — 1612 года в самых его корнях. Тогда стало бы ясно, кто именно освободил Москву в 1613 году и кто остался победителем в многолетних смутах. А это могло бы, в свою очередь, многое объяснить в истории XVII века, даже в истории реформы.[2]

Итак эпоха «смуты» берется для изучения «реформы» т. е. происхождения Российской империи. Основная задача автора показать, какие силы являлись и являются классовой базой царского и императорского самодержавного государства. Платонова двигают не одни только интересы научного изучения, не одно только желание объяснить изучаемый процесс, его задача дать научное обоснование на историческом материале эпохи первых Романовых — Михаила, Алексея, Петра, современному ему государству последних Романовых — Александра и Николая. Политическая направленность, «увязка с современностью» ярко видны в исторических трудах Платонова. Единожды поставленным перед собой целям истории он остается верен в течение всей своей жизни и как историк и как политик.

Эпоха, изучаемая Платоновым, имела уже своих историков в лице Забелина, Иловайского, Костомарова, Соловьева и Ключевского. Все эти авторы, включая и Костомарова, в своем изучении

---

[1] С. Платонов, Древне-русские сказания, изд. 2-е, стр. XV.
[2] Там же.

тоже ориентировались не на изучение революционного движения, а на контрреволюцию, т. е. «земских ополчений». Платонов постоянно подчеркивал, что старые работы неудовлетворительны, конечно, не в выводах, не по направлению, а по методу изложения и анализа материала. Критикуя книгу Иловайского, посвященную предпосылкам смуты, Платонов, признавая ее «назидательное значение», отмечает ценность ее

для читающей публики, которая, конечно, и не замедлит оценить разбираемую книгу так же благосклонно, как оценил ее с точки зрения этой публики критик «Русского Вестника». [1]

Иловайский со своим карамзинским подходом не удовлетворял требований конца XIX века. И на долю Платонова пал социальный заказ буржуазно-дворянских элементов, политический заказ царского правительства обосновать те идеи, которые защищал Иловайский, но так, чтобы они соответствовали уровню тогдашней европейской науки. Интересно, что в основных двух вопросах историки совпадают во взглядах. Первый из этих вопросов связан с представлением о развитии смуты сверху вниз «по очереди в порядке сословной иерархии» [2] от боярства через служилых людей к посадским и крестьянско-холопским низам. Революционное движение подымается не народными массами, а идет от высших классов. Эта идея, которую защищал и Ключевский, тесно связана с официальным представлением о монархичности «народа» и революционности лишь чуждых народу сил.

Эта идея была нужна царскому правительству, потому что ею пытались обосновывать право управлять народом. Народ за царя — дворянская интеллигенция против, говорили представители теории официальной народности; платоновское поколение охранителей порядка выражало ту же мысль, говоря о революционной разночинной интеллигенции. Эту концепцию можно было выдвигать лишь до развития массового рабочего движения. В девяностые годы массовое рабочее движение только начиналось, и историк мог, на соответственно-препарированном историческом материале «смуты» иллюстрировать формулированную Некрасовым «растопчинскую шутку:» «В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело! У нас революцию сделала знать».

Второй вопрос, на котором сходятся историки, — периодизация смуты. Вряд ли кому приходило в голову сравнить Платонова с Иловайским. Проделав такое сравнение, увидим, что границы этапов смуты совпадают у Платонова и Иловайского. Первый этап — «борьба за престол» кончается воцарением Шуйского;

---

[1] Статьи по русской истории, 2-е изд., стр. 126.
[2] Очерки по истории смуты, 3-е изд., стр. 533

второй — «разрушение государственного порядка» — до установления польской власти, третий — до вступления на престол Михаила — «попытки восстановления порядка» — одинаково приемлемы и для Иловайского и для Платонова.

Иловайский, объясняя развитие смуты, на все смотрел с точки зрения «польской интриги». Иловайскому достаточно сказать, что смута — польско-католическая «интрига». Поляки, враги русского народа, выбрали польского шляхтича и послали воевать на Русь. Русские люди расчухали, в чем дело, и ликвидировали его. Тогда поляки дали второго — «Тушинского вора». Я несколько упрощенно, конечно, передаю Иловайского, чтобы показать его расхождение с Платоновым. Для Платонова было ясно, что обосновывать «смуту» так, как это делал Иловайский, означало дискредитировать идеи, которые они оба защищали. Нужно было так обосновать историческую необходимость власти крепостников-помещиков, чтобы поверили и русские либеральные буржуа и изучающие историю интеллигенты и европейская буржуазия, связь которой с романовской монархией в эту эпоху крепла.

Для того, чтобы поверили, и нужно было

> совершенно обойти много раз описанные всем известные внешние подробности событий и сосредоточить все свое внимание на изображении деятельности руководивших общественной жизнью кружков и на характеристике массовых движений.[1]

А целью оставалось все то же познание «народного подвига» и приведшего к победе «простого дворянина» и «лучшего» посадского человека. Доказать исторически необходимость для современной ему буржуазии поддерживать дворянское самодержавие Николая II — является главной тенденцией труда Платонова.

Платоновская концепция смуты видела в ней не переворот, не революцию, а борьбу за сохранение общественных отношений, которые сложились к концу XVI века. Поэтому главная сила в ней средние классы: феодальные низы — «простые дворяне» и торговая буржуазия — «лучшие» посадские люди. Контрреволюция воспринимается за основное содержание революции. Силы, противодействовавшие в основном нарастающему антифеодальному перевороту, силы реакции, сохранившие феодальные отношения, превращаются в схеме Платонова в основные прогрессивные силы движения. В этом величайшая классовая ложь его труда. За этой концепцией пошла буржуазная историческая наука, для которой единственной формой прогрессивного перехода от старой «удельной» феодальной Руси к капиталистической России была только самодержавно-крепостническая Россия и крепостное хозяйство, сложившиеся в результате победы дворян и крупно-посадских элементов над социальными низами. Эту концепцию, перефразиро-

---

[1] С. Платонов, Очерки по истории смуты, изд. 3-е, стр. VI.

ванную на иной лад, представляла собой и теория «дворянской революции» Н. А. Рожкова.

Социальные низы с точки зрения Платонова никакой положительной роли сыграть не могли.

Эту мысль он подчеркивает в «лекциях».

В смуте победителем остался тот же государственный порядок, какой формировался в Московском государстве в XVI веке, а не тот, какой принесли бы нам его враги — католическая и аристократическая Польша и казачество, жившее интересами хищничества и разрушения, отлившееся в форму безобразного «круга». [1]

В книге 1899 г. Платонов фаталистически относится к народному движению. Он смотрит на него, как на движение, которое безнадежно пытались дать антикрепостническое направление русской истории, но никаких явно-враждебных мыслей по отношению к нему не высказывает. В тезисах к защите докторской диссертации, или как тогда их называли «положениях», отмечается, что

движение Болотникова, составляющее третий момент смуты, было первою попыткою со стороны оппозиционной массы украинского населения произвести общественный переворот в смысле низвержения крепостного порядка. [2]

То же, находим и в тексте, где говорится, что их целью было «низвергнуть крепостной порядок». [3]

Сам же этот порядок всегда представлялся историку явлением, необходимым для «государственой обороны в тяжелой вековой борьбе русского племени с соседними народами». [4] Платонов, подобно всем буржуазным историкам, был сторонником теории закрепощения, как своеобразного «разделения труда» — одни сражаются, другие работают». В речи на акте Высших женских курсов в 1896 г., посвященной столетию смерти Екатерины II, Платонов говорил о наличии

«старинного равновесия», в какое приведены были сословные отношения старой московской Руси. В старой Руси над всеми сословиями тяготела одинаково правительственная рука, равномерно распределявшая государственные повинности между отдельными группами населения. [5]

Это распределение было обусловлено тем, что

с самого XIII века, когда русская народность сразу подверглась натиску татар, литвы, немцев и шведов, вопрос народной обороны становится на первом месте в народной жизни и княжеской политике. [6]

Для этого нужна была армия, помещики доставляли эту армию, в силу этого нужно было их обслуживать трудом.

---

[1] С. Платонов, Лекции, стр. 316.
[2] Очерки по истории смуты, стр. 603.
[3] Там же, стр. 540.
[4] «Архив истории труда», т. III, стр. 22.
[5] Статьи по русской истории, стр. 236.
[6] Там же, стр. 239.

Все знали — от крестьянской избы до дворца — что крестьянский труд был дан помещику за то, что помещик служил конем и мечом государству.[1]

Таков был вековой порядок «равновесия». Только Екатерина, разрешив дворянам не служить, вывела страну из этого «равновесия».

Эта теория апологетики крепостного права проповедывалась Платоновым вплоть до последнего времени. В 1925 г. в декабре, по поводу столетия декабристов, Платонов защищал ее в докладе общему собранию сотрудников Академии наук. По приглашению рабочей части на этом собрании, в качестве докладчика от Василеостровского райкома ВКП(б) пришлось быть мне и тов. Степанову и полемизировать против крепостнических установок Платонова.

Платонов смотрел на крепостничество всегда одними и теми же глазами, зато его отношение к революционному движению низов, спокойное в 1899 г., позже сменяется озлоблением. В 1904 г. Платонов пишет статью о сподвижнике Минина, протопопе Савве Ефимьеве; напечатана она была в «Нижегородском сборнике». Революционное движение обострилось, Платонов уже принял участие в рядах его усмирителей. С большим «чувством современности» обличает он казаков за то, что они зажгли «пламя общественной розни» и отмечает, что

те из них, кто все еще мечтал сжечь этим пламенем старый общественный порядок, были вынуждены бежать из государства навсегда.[2]

Это уже Платонов, глотнувший усмирительной политики, Платонов, сдавший 39 студентов в солдаты. В таком же духе выступает Платонов в других сочинениях, говоря о движении низов в эпоху «смуты».

В советские времена в ряде изданий («Иван Грозный», «Борис Годунов», «Смутное время» и др.) Платонов явно использует материалы истории для обличения ненавистной ему революционной действительности. П. Б. Струве в рецензии на «Бориса Годунова» в пражской «Русской Мысли» (1922, апр., стр. 217) не мог не заметить этого.

Роковая, — писал Струве, — моральная аналогия мерзостей смутного времени с мерзостями «великой революции» неотразимо встает перед умом читателя замечательной книги С. Ф. Платонова, и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала и в его уме.

Это совершенно верно: Платонов писал именно для этой «аналогии» и особенное внимание уделяет поэтому обличению движения низов.

В популярном издании 1923 г. «Смутное время» Платонов от-

[1] Там же, стр. 243.
[2] Там же, стр. 266.

*

казывает движению низов в наличии у него какой бы то ни было программы, в то время как в 1899 г. он считал, что это движение боролось против крепостничества. Платонов меняет взгляды, отказывается от того, что сам признавал раньше, идет назад. Характеристика «безидейности» казаков приводится им с явным прицелом на современные отношения. Хотя крайние элементы — низы, действовавшие в смуту под именами «казаков и воров» и были у власти короткое время

они не принесли с собою, взамен нарушенного ими строя жизни, ничего нового ни в идее, ни в практической форме. Они были силой разрушительной, но отнюдь не созидательной.[1]

Единственным доказательством этой теории приводится следующее заявление:

Если бы в казачестве того времени были определенные социальные идеалы и творческие задачи, они могли бы обнаружиться в деятельности казачьего подмосковного правительства. Но их не было: казачьи власти, только «сбирали кормы», а казачьи станицы ездили по дорогам и «побивали».[2]

Весь смысл движения только в союзе средних классов. Реакционная буржуазно-помещичья концепция платоновской истории «смуты» полностью соответствует политическим и историческим взглядам ее автора.

Окончательное разоблачение платоновской концепции принадлежит М. Н. Покровскому. Его высказывания о смуте являются серьезным достижением марксистской науки. Заслугой Покровского был полный разрыв с традицией Ключевского и Платонова, в то время как Рожков и Плеханов находились в плену у этой традиции. В основном Михаил Николаевич изложил свое понимание событий начала XVII века в «Русской истории с древнейших времен» и в «сжатом очерке». Более новое изложение в «сжатом очерке» дополняет очерк, данный в четырехтомнике. Совершенно необходимо каждому, кто захочет изучить взгляды Покровского, или, что то же самое марксистской исторической науки на смуту, обратиться к статьям М. Н. Покровского, посвященным смуте в гранатовском энциклопедическом словаре (Смутное время—т. 39, Михаил Федорович — т. 29, Пожарский — т. 32, Минин — т. 29, Болотников — т. 6, Лжедмитрий I и II — т. 17). Работы т. Покровского показывают нам, что всего меньше можно положиться на Платонова, хотя он и написал специальную книжку об исторических источниках смутного времени, как на интерпретатора источников. Сильной стороной т. Покровского, как уже было сказано, является то, что он и в области использования источника выступает в разрез с традицией Платонова, самостоятельно иссле-

[1] Смутное время, стр. 158.
[2] Там же, стр. 134.

дует основные источники и по-своему, увязывая с разворачиванием политической борьбы, интерпретирует их. Михаил Николаевич показывает на ряде примеров факт «давления на нашу историческую науку обстоятельств и интересов, ничего общего ни с какой наукой не имеющих».[1]

Классовый анализ источников позволил Михаилу Николаевичу найти в «сказании Авр. Палицына» — фрагмент памфлета анонимного автора романовской партии, в «ином сказании» — специальный исторический трактат, вышедший из правительственных кругов царя Василия Шуйского. Такой подход позволил Михаилу Николаевичу заставить ожить сообщения источников, весьма скупых в изложении интересующих и М. Н. Покровского и всех нас фактов борьбы крестьянских и городских низов. Характеризуя эти источники, Михаил Николаевич отмечает:

> Представим себе, что от движения 1905—1907 гг. нам остались бы только октябристские документы, и мы будем иметь очень живое изображение «памятников смуты» в том виде, как они до нас дошли.[2]

Подчиненностью этим «октябристским» источникам объясняет Михаил Николаевич популярную у исследователей идею начала движения сверху. Анализ М. Н. Покровского вскрыл истинное содержание смуты как борьбы против

> сосредоточения в немногих руках капиталов и земли, которое сопровождалось экспроприацией широких слоев некогда самостоятельных хозяев-крестьян, мелких помещиков, мелких торговцев, ремесленников.[3]

Революционное содержание эпохи по М. Н. Покровскому — в движении казацко-крестьянских и городских низовых масс Болотникова, тушинского царя, Заруцкого, псковских «меньших» людей. Дворянская и «лучших» посадских людей победа трактуется Михаилом Николаевичем как контрреволюция крупного торгового капитала и вотчинно-поместного крепостнического землевладения — восстановление старых феодальных порядков в виде «нового феодализма». Так М. Н. Покровский перевернул ту страницу исторической науки, на которой было написано имя Платонова и всех его предшественников с Ключевским во главе.

Чтобы закончить вопрос о смуте, нужно коснуться еще одного частного вопроса, занимающего солидное место в старой историографии смуты. Вопрос весьма характерен для узости русской буржуазно-конституционалистической мысли. Теперь такой вопрос может показаться совершенно маловажным и вряд ли кого-либо заинтересовал бы. В старое время вокруг него ломали копья. Это — вопрос об ограничительных записях, тех самых, о которых

---

[1] Русск. истор. с древн. врем. изд. Мир, т. II, стр. 148.
[2] Энц. слов., Гранат, т. 39, стр. 647.
[3] Там же, стр. 646.

поэт сказал: «Но был ли уговор? История об этом молчит до этих пор». В. О. Ключевский придавал большое значение конституционной ограниченности первого Романова. Платонов отрицал ограничение власти не только Романова, но и Василия Шуйского. Даже по вопросу об ограничении королевича Владислава, чтобы не создать конституционных прецедентов в русском праве, Платонов занимает несколько своеобразную позицию. Ограничение власти этого кандидата на престол, которое никак не скрыть, т. к. остался прямой документ, объясняется желанием московских людей оберечь свой национальный уклад жизни «от возможных нарушений со стороны непривычной к московским отношениям власти».[1] Платонов после отрицания ограничительной записи в «Очерках» снова возвращается в этому вопросу в 1906 г. в декабрьской книге «Журнала министерства народного просвещения» — эпоха, как раз соответствующая для того, чтобы доказывать исконное происхождение самодержавия «благополучно» (в 1906 г.) царствовавшего дома Романовых. В 1913 г. в том же журнале в юбилейной статье «Вопрос об избрании М. Ф. Романова в русской исторической литературе», Платонов снова возвращается к этому. Ключевский хотя и произнес известную речь об Александре III, он не мог, как представитель московского «севрюжного либерализма» стать на позиции защиты неограниченности монархической власти. Платонов — историк-бюрократ брал на себя эту задачу и делал на этом карьеру. Эта официальная установка увязывалась с признанием весьма щекотливого для династии факта об ее казацко-воровском, тушинском происхождении. Желая, пользуясь последним словом науки, обосновать монархическую идеологию, Платонов и свое отрицание существования ограничительной записи в пользу бояр строит на том, что Романов был казачьим кандидатом, и поэтому как же могли ограничить его власть бояре.

Избрание в цари М. Ф. Романова было результатом соглашения временного земского правительства и казачьей массы, оставшейся в Москве после ее освобождения от поляков. Нет никаких оснований верить преданьям о формальном ограничении власти М. Ф. Романова московским боярством или земским собором, при самом избрании его в цари.[2]

Вот вывод Платонова. Итак для того, чтобы основатель династии Романовых стал неограниченным, ее названным представителям («настоящим последним Романовым был Петр II — Елизавета уже имела все основания именоваться, по тогдашним законам — Разумовской) пришлось пойти на оффициальное возвещение его «воровского» происхождения. В качестве единственного утешения Платонов указывал, что

---

[1] Очерки, стр. 402.

[2] Статьи по русской истории, стр. 406.

ходом московской истории романовский род снискал себе известность и популярность в самых различных общественных кругах.[1]

Нужно сказать, что только М. Н. Покровскому удалось разобраться в этой путанице. В статье в энциклопедическом словаре о М. Ф. Романове, М. Н. вскрыл политическое содержание двух легенд об избрании Романова — официальной, которую защищал Платонов, и оппозиционной, идущей от литературы XVIII в., которую защищал Ключевский. Вместо этих легенд, далеких от цели выяснения истинного положения дела, Михаил Николаевич выдвигает научное построение, увязывающее упорные сообщения авторов XVII и XVIII вв. об ограничении М. Ф. Романова с фактической историей того, как выдвинутый казаками Михаил Федорович стал на практике не казацким, а именно боярским ставленником. Вместо формального оперирования документальными обоснованиями фактов — историк-марксист дает анализ эволюции классового характера нарождающегося самодержавия Романовых и показывает роль и пресловутой «ограничительной записи» в деле упрочения крепостнически-дворянского лица этой власти. Появление этой записи Михаил Николаевич связывает с периодом между 21 февраля и 14 марта 1613 г., — перерывом между избранием первого Романова и получением его «официального согласия» (кавычки Михаила Николаевича). Романовская монархия, родившаяся «как плод измены революционных войск своим низам», как компромисс между казаками и земским собором, перешла через второй компромисс — «сама не замедлила изменить тем, кто ее выдвигал».

Вступать на престол вопреки ясно определившемуся настроению боярства было рискованно, — пишет М. Н. Покровский, — об этом напоминали свежие примеры названного Димитрия и Шуйского. Казачество не было надежной опорой — это боярская родня Михаила Федоровича понимала слишком хорошо. Вполне возможно и даже наиболее вероятно, что именно в это время Михаилом Федоровичем было дано обещание «быть не жестоким и не палчивым», о котором упоминает Котошихин, т. е. он должен был повторить обязательства Шуйского и Владислава, а бояре под этим условием отказались от своей оппозиции.[2]

Так разрешил марксистский анализ этот «неразрешимый» вопрос.

III. «ШКОЛА» ПЛАТОНОВА

Говоря о «школе» Платонова нужно прежде всего сказать об взаимоотношениях Платонова с признанным главой школы буржуазных историков России конца XIX — первых лет XX века В. О. Ключевским. Сказанного совершенно достаточно, чтобы признать, что расхождения между Платоновым и Ключевским

---

[1] «Журн. мин. нар. просв.», 1913, февраль, стр. 189.

[2] Энц. слов. Гранат, т. 32, стр. 108.

были основаны на политической почве. Можно сказать, что Платонов и Ключевский принадлежали к близким общественным прослойкам, но царская монархия в том виде, как она существовала при Александре III и Николае II больше удовлетворяла Платонова, чем Ключевского. «Сила», которую имели в обществе «простые дворяне» и «лучшие посадские люди» — буржуа — вполне удовлетворяла петербургского историка-бюрократа, в то время как московскому «севрюжному либералу» хотелось еще и помечтать о конституции.

Платонов сам подчеркивал влияние, которое имел на него, особенно в первые годы его работ, Ключевский. В воспоминаниях он пишет:

> Влияние на меня сочинений Ключевского было сильно и велико. Я не бросился в подражание ему и ничего не желал копировать, как некоторые мои сверстники и младшие товарищи. Но я читал и перечитывал Ключевского — и в то время, как Бестужев звал меня учеником Сергеевича, я уже чувствовал себя учеником Ключевского. Так обозначилась тогда моя «ученая» физиономия.[1]

Однако нельзя сказать, что Платонов остался «учеником» или вошел в группу людей, бывших под влиянием московского историка. Заняв петербургскую кафедру, он стал стремиться к самостоятельной роли, несколько противопоставляя себя Ключевскому. Милюков указывал на признание

> исключительной задачей современности критическую разработку источников для будущих исследователей, как на характерную черту петербургских историков «школы» Бестужева-Рюмина.[2]

Платонов, отозвавшийся на эти слова в статье 1897 г. о Бестужеве-Рюмине, не отрицал этой черты в петербургских историках, но отметил, что она не может быть признана достаточной для характеристики «школы», отрицая вовсе существование школы, идущей от Бестужева-Рюмина.[3] В самом деле нельзя сказать, чтобы Платонов ограничивался подготовкой источников для последующих исследователей. Нельзя также сказать, чтобы у него и у ближайших к нему авторов, писавших источниковедческие диссертации, были черты, характерные для образования школы, объединенной единым методом критической техники. Позже, когда появились работы Шахматова, Преснякова, Лаппо-Данилевского, можно было бы сказать об основных технических приемах, характеризующих, конечно, не школу, т. к. между Шахматовым и Лаппо-Данилевским было мало общего, а некоторую черту, типичную для некоторых петербургских ученых. Другое дело Платонов и близкие ему. Если Платонов, Середонин, Васенко и пи-

---

[1] «Дела и дни», кн. II, стр. 139.

[2] Энц. сл. Брокгауз и Ефрон, т. 55, стр. 444.

[3] Статьи по русской истории, стр. 179.

сали об источниках, они этим ничего своего, отличного, особого не вносили.

Платонов ищет в источниках только сведений о событиях. Подойти к своим источникам так, чтобы увидеть в них «памятники старинного литературного творчества и упорной работы общественной мысли»,[1] Платонов не умел, в нем всегда довлела примитивная житейская установка человека, — политически ограниченного и право настроенного. Характерно в этом смысле его отношение к памятнику эпохи смуты, известному под названием «сказанье о бедах и скорбях», за которым он отказывается признать значение «исторического источника», считая невозможным «придавать большую цену его показаниям», т. к. для этого памятника характерно «глубоко» простонародное воззрение на ход политической жизни» и он проникнут «слепой ненавистью к сильным мира сего».[2]

Более характерна для Платонова другая черта, которую Милюков на ряду с критической разработкой источников считал основной для учеников Бестужева-Рюмина, это — «националистические взгляды».

В технике подхода к источнику, в методах работы над ним Платонов был примитивнее Ключевского. Последний указывал петербургскому историку в рецензии на «Древнерусские сказания» (см. «Отзывы и ответы», изд. Наркомпроса) на ряд методологически неправильных приемов, с которыми подходит Платонов к своей теме. Платонов не понял этих указаний и отметил во втором издании своей книги, что

в мнении В. О. Ключевского автору невольно виделась некоторая требовательность к тем сторонам исследования, которые критику гораздо легче было наметить, чем исследователю выполнить.[3]

Критика Платонова как источниковеда, проделанная Ключевским, весьма интересна. Говоря о Платонове, Ключевский отмечает, «основывая свою оценку на качестве и количестве «фактического материала», какой дает памятник историку, автор не вводит в состав этого материала политических мнений и тенденций, проводимых в памятнике, считая их только «литературными», а не историческими фактами, и таким образом смешивая или отождествляя не вполне совпадающие понятия исторического факта и исторического события или происшествия. Ключевский приводит цитату из Платонова, подчеркивающую, что Палицин и Тимофеев,

не только описывая, но обсуждая пережитую эпоху, нередко выходили из роли историков и вступали на почву публицистических рассуждений.

---

[1] Слова т. Преснякова, «Дела и дни», т. I, стр. 613.

[2] Статьи по русской истории, стр. 364—65. «Др.-русск. сказания и повести», стр. 429.

[3] Очерки смуты, изд. 3, стр. XIX.

Ключевский насмешливо замечает со своей стороны:

как будто вдумываться в исторические явления, описывая их, значит выходить из роли историка.[1]

Чтобы не было смущения от столь смелого для профессора истории предложения, он даже наставительно разъясняет:

«Суждение — не тенденция и попытка уяснить смысл себе и другим — не пропаганда». Благонамеренность — никаких тенденций — никакой пропоганды. Так или иначе, узость, примитивность исторической техники. . . поиски «объективного», «бесхитростного», искренне рассказанного факта, непонимание субъективности и общественной обусловленности всякого исторического известия, которое понималось лучшими буржуазными техниками исторического исследования, — основная черта методологии Платонова. Как достижение своего исследования Платонов отмечает:

из произведений ранних ни одно не может быть названо трудом историческим или летописным. Ни в одном современная наука не может найти бесхитростного изображения фактов.[2]

Ключевский отвечает на эту наивную для магистра истории последней четверти XIX в. установку весьма определенно:

Нет исторического источника, который бы не нуждался в критической проверке. При том, что называть фактическим материалом для историка? Исторические факты не одни происшествия: идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты и очень важные, точно также требующие исторического изучения.[3]

Итак, в лице Ключевского говорят более передовые методологические установки, по сравнению с теми, которыми располагал Платонов.

В обще-исторических вопросах Платонов в общем и целом шел за Ключевским, разделяя вместе с ним основные общепринятые тогдашней буржуазной историографией направления. Глубоко не прав был А. Е. Пресняков, в речи перед защитой диссертации под заглавием «Образование великорусского государства» в 1918 г., говоря об «аудитории С. Ф. Платонова», как о месте воспитания особой школы русских историков, связанной с историком средних веков В. Г. Васильевским. Характерной чертой этой школы был, по словам А. Е. Преснякова,

научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном непосредственном отношении к источнику и факту вне зависимости от историографических традиций.[4]

---

[1] «Отзывы и ответы», изд. НКП, стр. 367.
[2] Др.-русск. сказ. и пов., 2-е изд., стр. 434 — 435.
[3] «Отзывы и ответы», стр. 367.
[4] А. Е. Пресняков, Речь перед защитой диссертации под заглавием: Образование великорусского государства, П. 1920, стр. 6.

В данном случае этой историографической традицией были Соловьев и Ключевский. Нет никаких оснований ставить вне этих традиций Платонова, как это делает Пресняков. В другом месте сам Пресняков перечислил эти традиционные установки:

порядок княжеского владения в древней Руси, понятие удела как собственности, представление о колонизации верхне-волжской Руси, как основе нового политического порядка, собирание земли под властью Москвы частноправовыми приемами прикупа и иных промыслов.[1]

К этим пунктам можно было бы прибавить еще один пункт, тоже выдвинутый лицом, разорвавшим с соловьевской традицией — Павловым-Сильванским: отрицание существования феодализма в России. Я проверил все эти вопросы по «Лекциям» Платонова, нарочно перечисляю страницы (по 10 изданию), чтобы каждый мог проверить в свою очередь меня: 92, 110 — 118, 102 — 106, 146 — 147. Платонов во всех перечисленных местах идет за Соловьевым — Ключевским. Разрыв с «традицией Соловьева — Ключевского был делом не школы, а отдельных лиц, причем лиц, делавших это по разному. Такими лицами были Павлов-Сильванский и Пресняков. Нельзя признать «научный реализм», о котором говорит Пресняков, направлением какой-либо школы, т. к. этот «реализм» давал лишь критические отрицательные установки, не давая взамен ниспровергнутых легенд новых концепций, разрешая только частичные проблемы. Новую концепцию дала только марксистская школа. Единственно, что могли сделать «научные реалисты», это своей критикой несколько облегчить работу марксистской историографии. Пресняков и Павлов-Сильванский были передовыми историками, сыграли прогрессивную роль в науке, как критики и разрушители легенд, не больше.

Платонов же разделял все основные установки старой исторической науки XIX века, верил всем историческим легендам, опровергнутым критиками типа Павлова-Сильванского и Преснякова. В науке он шел за Ключевским, отставая от него политически, как идеолог военно-феодального империализма, как историк крепостнического дворянства и верхушки капиталистической буржуазии — официальный професор министерства народного просвещения. В условиях третье-июньского режима именно такой историк мог стать во главе «русской исторической науки» и возглавить все буржуазные школы, не имея своей школы. Лишь неосведомленностью в вопросах истории России можно объяснить записку академиков Ф. Успенского, В. Бартольда, А. Никитского, Б. Тураева, выдвигавших в 1920 г. в состав Академии наук Платонова, так как он

обогащенный опытом, владея точными методами исследования и имея множество учеников, которые, развивая его идеи и углубляя исследование в

[1] «Русский исторический журнал», № 8, стр. 208 — 209.

полученном от учителя направлении, открывают широкие перспективы для успешного движения вперед исторической науки.[1]

В самом деле Пресняков и Павлов-Сильванский развили идею далеко не «в полученном от учителя направлении», другие же типа Васенко, вообще не развивали каких бы то ни было идей и были совсем неповинны в «успешном движении вперед исторической науки».

Было несколько академических имен, прошедших через университетскую школу Платонова (Рождественский, Любомиров, Чернов, Романов, Садиков, Полиевктов, Приселков, Васенко и др.). Все они представляли собой определенное, организованное единство, но у них не было единой научно-методологической установки, как у учеников Ключевского; эта группа учеников историка-бюрократа и объединена была по-чиновнически. Полуслужебная, полуполитическая связь — вот основа платоновской школы, объединявшей учеников и друзей из упомянутого уже кружка «русских историков».

Не создав своей типичной школы, основанной на научном единстве, Платонов тем не менее шел к тому, чтобы быть идейным и организованным главой буржуазной историографии в целом. Еще до революции произошло сближение Платонова с московскими историками. Когда умер Ключевский, старшее поколение учеников его, к которому принадлежали такие люди, как Богословский и Любавский, ориентируется на Платонова. Это можно доказать любопытным документом. В «Журнале министерства народного просвещения»[2] Платонов печатает некролог, посвященный памяти Ключевского. В этом некрологе наряду с словесным панегириком Ключевскому есть вещь, которая противоречит нормам буржуазного приличия в области писания некрологов. В некрологе дается определенная отповедь левому крылу учеников Ключевского, которые склонны были считать своего учителя «как бы творцом самой науки русской истории». Платонов опровергает эту установку, полемизируя со статьей А. А. Кизеветтера в «Русских ведомостях» (1911 г., № 110), и отмечает, что

Ключевский был счастливым наследником своих талантливых учителей и предшественников, для него подготовивших историческим материал и давших образцовые примеры не только исследования этого материала, но и его синтеза.

Когда ученики и почитатели Ключевского издают сборник статей, посвященный умершему, Платонов дает и туда свой некролог. Если сравнить текст, напечатанный в этом сборнике, с текстом журнала, видно, что Платонов из сборника полемику устранил. Интересный факт. Иногда сравнение двух изданий одной и той же

---

[1] «Изв. Росс. Ак. наук», 1920 г., стр. 5.

[2] «Журнал мин. нар. просвещения», 1911, № 11; Статьи, стр.495—503.

статьи может дать материал для некоторых выводов. Тем не менее, в сборнике эта полемика продолжается. В этом сборнике (издан он был издательством «Научное слово» под названием «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания») Сыромятников защищал мысль Кизеветтера. Правые в лице Любавского и Богословского поддерживали установку Платонова. А он сам, как истый подъячий, счел более удобным скрыть свою полемику на страницах министерского журнала, предоставив в этом сборнике полемику самим «ученикам». Так единство Ключевского с чичеринско-соловьевскими установками было подчеркнуто, идея левых фрондирующих элементов была отвергнута. Так установилось согласие историков московских дворянско-купеческих салонов с историком петербургских бюрократических сфер. Над гробом Ключевского в 1911 г. стерлись разногласия, которые существовали между носителями «идей и заветов» Грановского и Станкевича и бюрократом, черпавшим свои идеи из «просветительной» деятельности эпохи незабвенного Николая.

Муромцевская фронда кадетской профессуры слабо затронула историков России. Идейная гегемония Платонова ярко сказывается в 1913 г. Школа Ключевского принимает его правые установки и в спорном еще недавно вопросе об ограничительной записи. Кизеветтер остается одиноким носителем традиций писателей XVIII в. и своего учителя. Официальное слово его «школа произнесла устами Ю. Готье, который выступил в речи об «избрании на царство Михаила Федоровича Романова» на совете Московского университета с заявлением, отмежевывающимся от традиционной установки «учителя» на ограничительную запись, говоря, что «это событие следует рассматривать, как один из потерянных фактов нашей истории».[1]

В «юбилейном» 1913 г., который, по словам Платонова, «достойно» встречала русская историческая наука, и Националистическое крыло русских историков стало во главе всех основных русских буржуазных историков. В условиях империалистической эпохи буржуазия становится на реакционные позиции, осуществляя идейное единство капиталистического империализма с военно-феодальным империализмом. Вокруг юбилеев (1909, 1912, 1913) складывается единство историков монархистов. Во главе с Платоновым и Чечулиным издаются строго-монархические, не чуждые антисемитского душка сборники («Полтавский сборник», «12 год», «Начало династии Романовых», «Государи из дома Романовых», «К трехсотлетию царствования дома Романовых»). Тут подвизались наряду с черносотенцами, как Чечулин и Васенко, октябристы (Богословский) и даже кое-кто из

---

[1] Ю. Готье, Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова, М. 1912, стр. 18.

кадетов (Пресняков). Наиболее серьезным изданием безусловно были «Государи». Составители сборника считали свое издание призванным выполнить труд, «в котором была бы с надлежащею научностью и полнотою изображена жизнь русских государей». При этом бралась задача «истину царям с улыбкой говорить».

Участники этого сборника, — пишет в том же предисловии Чечулин, — и его редактор одинаково преисполнены убеждением, что лучшим выражением и доказательством их уважения к русскому народу, любви к нему, и к его государям является безусловная правдивость, смелая прямота в суждениях и выводах.

В целях «правдивости» и «прямоты», один из участников этого сборника не нашел лучшей формулировки для описания отношений Екатерины I к Меньшикову, как отметить, что они, «тесно подружились и на всю жизнь сохранили хорошие отношения».[1] Забавна также со стороны того же автора, С. В. Вознесенского, кстати считающего себя старым марксистом, такая мудрая государственная сентенция по поводу Иоанна VI (кстати сказать имевшего столь же «прав», сколь и всякий другой родственник Романовых):

Такова была грустная судьба этого несчастного человека, который капризом упрямой и недоброй женщины поставлен был на такое положение, на котором он ни в коем случае не мог удержаться, так как был совсем чужд русскому народу, а старшие его родственники не сделали ничего, чтобы заслужить любовь русского народа к тому, кого возмечтали они сделать русским государем, когда была в цвете лет и сил дочь великого Петра.[2]

«Штиль» и дух стоят друг друга. Антисемитский душок проводится платоновцами не без необходимой осторожности (кстати Платонов именно в «Новом Времени» напечатал некролог о Ключевском); так например, в сб. «Начало династии Романовых» приводится единственная народная песнь об избрании Михаила Федоровича, в которой читаем:

«Освободим мы матушку Москву от иечестивых Жидов (с большой буквы, как у Суворина — *М. Ц.*), нечестивых Жидов, Поляков злых».

Песня новая, малоценная исторически, единственная ее цель пустить немножко погромного духа. Подбирала, кстати сказать документы, в том числе и песню, академическая дама Тураева-Церетелли (ныне — монахиня). Нельзя отказать в антисемитских тенденциях и сборнику «Государи»: из уже упомянутой выше статьи С. В. Вознесенского об Анне Иоанновне, узнаем, что Бирон и Левенвальд

не стыдились за ее спиной вести позорный торг своей близостью к ней. Бирон, например, возвел это в целую систему. У него было два еврея: Лип-

[1] «Государи из дома Романовых», т. I, стр. 302.
[2] Там же, т. I, стр. 366.

ман, служивший ему посредником во всех темных делах, в роде торга интересами России с иностранными державами и даже ростовщичества, и Биленбах, заведывавший продажей государственных должностей. [1]

Выполняя политические задания, Платонов не стесняется прикрывать своим личным авторитетом прямое жульничество. Был издан специальный альбом под редакцией доктора русской истории Чечулина и при участии профессора Платонова; в этом альбоме в объяснительном тексте дается следующая характеристика «дома бояр Романовых» на Варварке в Москве:

во всех главных своих чертах он, без сомнения, сохранился в том виде, в каком был тогда, когда в нем обитали предки ныне царствующих государей русских. Романовы принадлежали к виднейшим и богатейшим представителям московского боярства — и тем характернее, что их дом содержит в себе всего восемь покоев, и покоев очень небольших; самый обширный не имеет пяти сажен в длину, а детская прямо крохотная комната. [2]

Профессор и доктор не могли не знать, что главные хоромы боярской усадьбы до сего времени не сохранились (они разобраны в середине XVIII века, об этом пишут теперь в популярных книжечках (Гос. Оруж. Палата. Музей-дом боярина XVII в. 3-е изд. М. 1930 г.), этого никак не мог не знать Платонов. То здание, снимки внешнего и внутреннего вида которого помещал Платонов с трогательными надписями («останется навсегда священным для русского человека, как колыбель его царей»), было построено в 1674 г. (когда Петру I было уже два года), третий этаж, где находилась детская, где якобы родился Михаил Романов, была построена в середине XIX в. (при этом у профессора и доктора хватает развязности восторгаться по поводу ее малой величины). Люлька, красующаяся на фотографии, как реликвия «для русского человека», была специально заказана мастеру в XIX веке, в музее сохранился даже счет. Вот какими вещами не брезговал заниматься «тонкий исследователь» и беспристрастный историк»!

Увязка историков с правительством в 1912—14 гг. оформляется организационно. Если раньше только наиболее крупные и при том наиболее правые историки допускались в императорское Русское историческое общество, то начиная с 1912 г., производят массовое включение историков в это монархическое общество. Принимают Любавского, Богословского, Модзалевского, Майкова, Лаппо-Данилевского. В 1916 г. праздновалось 50-летие существования этого общества. Оно было организовано Александром II в определенных политических целях, для изучения истории XVIII — XIX вв., изучения, направленного к обоснованию и подтверждению тех взглядов, которые были нужны для непосред-

---

[1] Там же, стр. 349.
[2] «К трехсотлетию царствования дома Романовых», Спб., 1913.

ственных интересов русского самодержавия. Это было после польского восстания, когда Европа интересовалась русской политикой и правительство почувствовало необходимость в историческом обосновании своей политики. Особый расцвет приобрело это общество при Александре III. Этот царь, «мудро почерпавший в прошлом России указания к устройству ее судеб» — слова его сына Николая в рескрипте обществу от 23 мая 1896 г. «Правительственный вестник», № 110, особо покровительствовал этому обществу. Александр III настолько интересовался историей, что автор учебника русской истории А. Боргман (он и сейчас пишет учебники) даже счел нужным в число перечисленных им семи пунктов целей политики Александра III под пунктом 5 поставить «развитие русской, преимущественно исторической науки». [1] Юбилей был встречен очень помпезно. Было роздано очень много наград всем принимавшим участие в этом обществе, конечно, по мере их чинов; напр. гр. Шереметьев получил Владимира 1-ой степени, Платонов Владимира II степени, Готье — Белого орла, Лихачев произведен в тайные советники, Иконникову дали анненскую звезду, Любавскому — Владимира III ст., Богословскому — IV-ой, не забыли даже и архивариуса Шебалова, которому послали что-то в роде «3-х рублей на чай» в виде зачета двух лет службы по найму в государственную службу.

Еще за год до этого, в 1915 г., произошла организованная консолидация русских историков, о которой М. Н. Покровский писал тогда же в «Нашем Слове» (Париж) в своей статье «Лейб-гвардия Романовых». В Москве в 1915 г. состоялся съезд русских историков и историков русского права. Присутствовали все профессора русской истории и русского права, не явились только два, но такие люди, которых нельзя подозревать в том, что они не явились из-за каких-либо политических соображений. Это были Корсаков и Владимирский-Буданов. На этом заседании были следующие лица: Любавский, Богословский, Платонов, Рождественский, Иконников, Довнар-Запольский, Ясинский, Багалей, Клочков, Лаппо, Тарановский, Филиппов, Грибовский, Савва, Максимейко, Ивановский, Трифильев, Линниченко, Шпаков, Козловский, Малиновский, Тельберг.

Поблагодарив «г. управляющего министерством народного просвещения» «за разрешение настоящего собрания», историки приступили к выполнению основной задачи — задачи «увековечения заслуг его императорского величества перед наукой русской истории». Для этого решено поднести царю адрес, тот самый, о котором писал Михаил Николаевич в парижской газете. В этом адресе ученые из «лейб-гвардии Романовых» подчеркивали, что они «с особой силой почувствовали», «с особой ясностью сознали

---

[1] Русская история, ч. 2, Спб., 1915, стр. 417.

великое значение совершавшегося доселе национального воспитания русского народа», благодарили за привлечение «выборных представителей к участию в государственном домостроительстве». Указывали на заслуги Николая перед наукой истории — «в лице вашего императорского величества наука русской истории имеет высокого покровителя». В виду этого было решено «в установленном порядке ходатайствовать о разрешении периодических съездов русских историков с присвоением им наименования «Русские исторические съезды имени императора Николая II»; собираться они должны были раз в 5 лет. Довнар-Запольский предложил приступить к составлению «библиографического обзора главных трудов и изданий по русской истории за время царствования Николая II. Принято также было предложение томского юриста Тельберга и Д. И. Багалея на первом историческом съезде поставить доклад «о законодательных и административных мероприятиях в царствование е. в. г. и. Николая Александровича, направленных к развитию русской исторической науки». Первый съезд, по большой исторической прозорливости господ представителей «русской исторической науки», был назначен к «двадцатилетию царствования е. в. г. и. — во второй половине декабря 1919 г.» [1] (Смех).

Вот красочный материал, подчеркивающий нищету идейного содержания буржуазной исторической науки. Не правое крыло дворянских историков, а буржуазная университетская наука в целом стояла на позиции защиты самодержавного монархического строя.

Буржуазная профессура при Временном правительстве возражает против перевыборов назначенных Кассо профессоров. В Петербурге с этим выступает Шахматов, профессор кадетской ориентации. В советскую эпоху, когда консолидировались все антипролетарские силы «от Маркова до Мартова», вокруг Платонова оформляются антисоветские, враждебные марксизму, историки. Нужды нет, что такие люди, как Пресняков, ушли в своих исследованиях от Платоновских установок, а такие как Васенко и историограф министерства народного просвещения Рождественский были уже мертвы для науки, Платонов умел сплачивать под своими знаменами людей. Народник Любомиров, ныне профессор в Саратове, пишет работу о «втором земском ополчении» и поплатоновски прославляет «подвиг» Минина и Пожарского. Пресняков даже в своей посмертной статье в «Книге для чтения», изданной «Пролетарием», как и в статьях сборника «Люди смутного времени» не может отрешиться от платоновской концепции «смуты».

Платонов объединяет на «научной» и на чисто политической

---

[1] Прил. к прот. совета Спб. университета от 18 мая 1915 г., Архив ЛГУ.

почве вокруг своих антисоветских гнезд в Главархиве, археографической комиссии, архиве и библиотеке Академии наук, Пушкинском доме. «Русский исторический журнал», «Дела и дни», «Русское прошлое» — были центральными органами платоновской школы, отдельные издания «Раниона», сборники «Россия и Запад», «Века», «Анналы», — ее филиалами. На помощь ему приходят и объединяются с ним ряд исторических школ и групп, школочек и группочек. После группы эпигонов московской соловьевско-ключевской школы, которая все время идет в полном контакте с Платоновым, солидное место заняла в этом объединении группа последователей умершего в 1919 году академика Лаппо-Данилевского.

Что собой представляла школа Лаппо-Данилевского? Это школа юридическая, во главу угла ставила анализ юридических фактов, с точки зрения их формальной структуры, «клаузальный» анализ. Уклон к разбору «клаузул», взамен широких историко-юридических концепций чичеринских времен, тесно связан с обще-философскими агностическими, неокантианскими виндельбандо-риккертовскими установками Лаппо-Данилевского, вся школа которого ярко отразила черты упадочности буржуазной науки. Из этой группы выходят люди, оказавшие существенную помощь в основной чисто контрреволюционной работе припрятывания архивных материалов от советской власти и их «сбережения» для ожидаемого ими монархического хозяина России. Ведь недаром Платонов был хранителем государственного актохранилища российской контрреволюции. Это — характерная черта его как контрреволюционера; не говорю о других более наступательных политических действиях с его стороны, которые, как не связанные непосредственно с историческим фронтом, не входят в тему моего доклада. О них я не буду говорить, но их надо иметь в виду, чтобы понять происходившее в области исторической науки. Итак, лаппо-данилевцы, примкнув к Платонову, дали ему живую силу сотрудников в наиболее основных звеньях вредительства на историческом фронте (Андреев), дали ему и новую тематику, тесно связанную с усилившимся интересом к кулацко-крестьянскому северу, с которым по аналогии с эпохой смуты связываются контрреволюционные чаяния Платонова. Лаппо-данилевцы (Андреев, Введенский и др.), специалисты по «частному акту» — издавна были специалистами по северу. Другая тема контрреволюционного свойства, ориентирующаяся на кулацко-крестьянские слои, была представлена в близких Платонову кругах Тхоржевским с его работами о донском казачестве, народных движениях XVII века, Разине и Пугачеве. В этих работах отразилось желание показать буржуазный характер движения крестьянства, как основной надежды врагов рабочего класса. Платоновская группа увязывается также

и с «левой» группировкой учеников Венгерова, еще раньше подчеркивавшего, как передавал один из учеников черносотенца Шляпкина, свою солидарность с шляпкинскими взглядами.

Любопытной чертой и Платонова, и несколько особо стоявшей, но по духу платоновской, группы историка Заозерского, была тенденция иметь в своей среде «марксиста», который им был совершенно необходим для того, чтобы обосновать что-либо в широком масштабе в советских условиях. Таким человеком у Платонова был Шебунин, а у Заозерского — Кашин. Эти люди распинались за марксизм, подчеркивали, что марксизм — наука серьезная, и Маркс был великим человеком, но марксизм и установки М. Н. Покровского имеют мало общего между собой. Так они от имени «марксизма» поддерживали реакционнейшую и враждебнейшую рабочему классу группу. От этих людей отходил Пресняков, приближавшийся к нам. Ряд его выступлений в «Делах и Днях» и «Былом» о декабристах и 1905 годе показывают этапы отхода Преснякова. Но этот крупный теоретический ум всего меньше годился для того, чтобы сделать решительный политический шаг.

IV. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ У КОНТРРЕВОЛЮЦИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ.

Кулацко-крестьянская контрреволюция изнутри, иностранная интервенция извне и восстановление монархии — вот программа политических чаяний платоновской школы. Эта программа характерна для всей научной продукции Платонова, как историка. В дореволюционные годы Платонов всего меньше ведет исследовательскую работу. Нельзя же к таковой отнести его полупорнографические, полуанекдотические заметки по эпохе Петра, вроде статей о «Велико-британском монастыре», об ордене «Иуды» или «циркуль-земе». Удивительно только, как такие сочинения, место которых в отделе «смесь» бульварного журнала, могли попадать в издания Академии наук и Русского музея. Основные работы Платонова публицистического свойства, построенные на соответственно подобранном историческом материале. Эти работы ясно показывают его политические установки. Говоря о севере XIV — XVII века, популяризируя «смуту», рассуждая об отношении Москвы к Западу или о Петре Великом, он передает свои сокровенные мысли о социальной опоре реставрации старого режима в нашей стране, об интервенции, о восстановлении монархии. Уже в 1918 г. в миролюбовском «Ежемесячном журнале» Платонов писал:

В тяжелое время страданий и болезней народной души взор в прошлое может дать некоторое утешение. Потом и кровью орошена историческая дорога народа, борьба и лишения были его постоянным уделом, жертва и

подвиг доставались ему в удел чаще, чем торжество и успех. Если не замерла в минувших бедах и испытаниях народная бодрость и сила, быть может не умрет она и теперь во мраке нашей современности, в ужасах того распада, который сводит на-нет плоды векового народного труда. [1]

Платонов, вместе с Пажитновым, Фрометом, Швецовым и Пит. Сорокиным, на страницах кооперативного журнальчика, издаваемого Артельтрудсоюзом — объединением промкооперации северного района «Артельное Дело», на материале голодовок эпохи смуты (вопрос о голоде тогда был моден в антисоветской агитации) клеймил бездеятельность общества и «пророчески вещал о грядущем контрреволюционном подъеме:

То самое общество, которое мы готовы презирать, преобразится. Вместо низких спекулянтов на его поверхности окажутся вожаки иного пошиба — они позовут народ на жертвы и подвиги, соберут средства и сплотят вокруг себя общественные силы. Они свергнут чужое иго, восстановят народную власть и без расчета понесут в ее распоряжение свои достатки, — «для великого государства и земского дела» — восстановления народного единства и порядка. [2]

Сотрудничество с контрреволюционными кулацкими элементами не случайно для Платонова, оно совпадает с его основной установкой. Наиболее ярко она выявилась в его статьях о севере. Платонов в предисловии к сборнику этих статей подчеркивал сам чисто практический смысл своих статей:

теперь в зависимости от новых условий, в Поморье направится новый колонизационный поток. Знать при этом ход и судьбы прежней колонизации края, конечно, будет своевременно и полезно.

Уроки прежней колонизации показаны Платоновым не без извращения действительного хода исторического процесса. Прежде всего, по мнению Платонова, расцвет севера как базы новгородской торговли был обусловлен колонизацией новгородских бояр-«капиталистов» и как только Москва «извела» новгородских бояр и

прежние боярщины обратились в крестьянские волости с крепкой внутренней организацией, экономическое благосостояние края пало. [3]

В самом деле, никакого капитализма у бояр не было, их хозяйство было чисто феодальным, и в новгородскую эпоху хозяйство севера было, как писал об этом в другом месте сам Платонов, более примитивным, чем в московскую. Платонов тем не менее в этой статье доказывает обратное.

В этом московском периоде своей жизни Поморье приняло вид крестьянского мира с примитивными формами хозяйства и общественности. [4]

---

[1] «Ежемесячный журнал», № 2 — 3, стр. 208.
[2] «Артельное дело», № 9 — 16.
[3] «Прошлое русского севера». П. 1923, стр. 12.
[4] Там же.

Интерес к северу есть прежде всего ориентировка на буржуазно-аграрные элементы. Только «капитализм», больше того, только помещик-капиталист обеспечит экономическое развитие страны — таковы тенденции автора, которые он стремится доказать в этих статьях.

В статьях о севере отразилась еще и другая контрреволюционная тенденция. Особенно ярко чувствуется она в докладе Платонова на берлинской исторической неделе, здесь особенно акцентируется роль иностранного капитала в экономике русского Поморья. В прошлом лишь иностранная торговля экономически подняла север:

Экспортная торговля с англичанами и голландцами дала ход иностранному капиталу внутрь страны, создала новые рынки, открыла новые торговые пути, содействовала возникновению новых ремесл и промыслов.[1]

Особое «гостеприимство» в отношении к иностранцам появляется в исторических установках Платонова лишь в советские времена. Ведь, в концепции смуты основное у Платонова было в борьбе против иностранного вмешательства, в борьбе «за национальность». Как этому человеку удалось примирить интервенционистские настроения с националистической концепцией? В 1899 г. в «Очерках» автор считает, что «перенесение военных операций на север и северо-восток от Москвы и обращение к иноземному вмешательству было новым осложнением смуты и повели к полному разрушению государственного порядка».[2]

Он резко громит всех, кто был сторонником польской и шведской интервенции — «русские изменники и беззаконники, служившие королю», связь с иностранцами «привела бояр в королевскую неволю», под польским протекторатом «властью овладели недостойные и беззаконные руки», иностранная интервенция не желала связать себя с законом и правом. Тем не менее подчиненность национальных задач классовым интересам была отчасти уже ясна Платонову и тогда, это видно из одобрительной оценки, данной им т. н. «программе Гермогена», которая требовала в отличие от «программы архимандрита Дионисия» итти, прежде всего, против казаков, а потом против поляков. В 1923 г. в «Смутном времени» Платонов уже просто реабилитирует сторонников интервенции: хотя группа, звавшая Владислава и была лишь «случайная компания тушинских перелетов», она все же в договоре с Владиславом заботится «о неприкосновенности московской религии и государственного строя».[3] Хоть интервенты, а все-таки были за национальность.

---

[1] «Летопись занятий Археогр. комиссии», т. 35, стр. 112.
[2] С. Платонов, Очерки по истории смуты, стр. 351.
[3] Назв. книга, стр. 111.

Работа 1925 г. «Москва и Запад XVI—XVII столетия» уже в целом посвящена оправданию иностранного вмешательства в русские дела; автор и начинает с заявления, что его целью является показать, «что связь московской Руси с европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать». В главе «Иностранная интервенция в смутные годы» совершенно затушевывается факт призыва иностранцев русскими группировками, напротив сам «ход московской смуты привел к формальному вмешательству соседних держав», и тогда, «не видя иного выхода из своих междуусобий, москвичи признали своим царем польского королевича». Иностранное вмешательство делается необходимым этапом, без которого нельзя было создать национального государства — «москвичи охотно шли на то, чтобы признать любую власть, только бы она прекратила смуты». И несмотря на то, что московские люди связывались и с поляками и с английскими агентами, и думали о приглашении немецкого габсбургского или шведского принца, — восторжествовала «мысль о необходимости выйти из смуты своими силами», так как «иноземцы не всегда почитались врагами, но они никогда не представлялись истинными друзьями».[1] Исторические примеры иллюстрируют необходимость и безопасность интервенции. Интервенция поможет лишь национальному оформлению.

Платонов выражает свои взгляды иносказательно, зато ближайший единомышленник Платонова профессор-романист Д. К. Петров высказал явно интервенционистскую установку с типичной для этого фашиста на кафедре прямолинейностью. В речи памяти Шахматова Петров приводит свой разговор с Шахматовым, очевидно в 1918 г.

> Когда шли толки о предстоящем занятии Петербурга немцами, А. А. Шахматов перед одним из заседаний Совета в университете сказал мне, что эта оккупация не представляется ему чем-то особенно ужасным, быть может, — прибавил он, — в народе проснется тогда национальное чувство. и он придет спасать нас.[2]

Ставка на интервенцию характерна для всего того круга, который возглавлял Платонов. Отказ от идей великой России, некогда близких ему, как историку военно-феодального империализма, ориентировка на иностранное вмешательство делают Платонова из историка великой России — дюжинным слугой иностранного капитала.

Для того чтобы восстановить власть помещиков и капиталистов, Платонов готов разорвать с национализмом, но монархистом он не перестает быть. Монархические тенденции Платонова, равно как и других представителей Академии наук, до реформы

---

[1] Назв. книга, стр. 5, 52, 55.
[2] «Известия отд. русск. яз. и слов. Росс. Ак. н.», т. 25, 1922, стр. 150.

особенно ярко выявились в своеобразном культе Петра I. Это было заметно на двухсотлетии Академии и в выступлении Богословского и кое в чем другом.

Платонов издает специальную книжку «Петр Великий». Здесь он обрушивается на беллетристов Б. Пильняка и А. Толстого за их непочтение к великому царю.

От имени всех историков-манархистов, которые «много потрудились над изучением самого Петра Великого и его времени», увидев, что образ царя померк в глазах представителей «общества», Платонов обращается к «обществу» с требованием усвоить «результаты» работы этих историков. Эти «результаты» не что иное, как чисто монархическое восхваление великого Петра. Нельзя объяснить всерьез проявленную весьма желчную злобу по отношению к фактическим, мелким ошибкам беллетристов Пильняка и Толстого, которую находим у обыкновенно корректного Платонова, иначе чем злобой монархиста, увидевшего в художественной, отнюдь не советской, а буржуазной беллетристике этих авторов посрамление идеи монархии. Поэтому он сам дал прославление идеи монархии в образе «великого царя», — как вождя народа. Сама по себе книжка элементарна, противоречива (автор подчас документально подверждает факты, опровергаемые им в разборе рассказов Пильняка и Толстого: например разговор с Тих. Стрешневым — на стр. 7, внешность и манеры Петра — на стр. 6, 101 и 104), и стоит не выше уровня тех популяризаций, которые печатались для раздачи гимназистам и благородным девицам в юбилейные годы. Тут найдем и «ботик» и все другое, хорошо известное по старым учебникам. Все ведет в этой книжке к подчеркиванию основного вывода, звучавшего, как лозунг — лозунг монархии.

Идея государства как силы, которая всеми видами человеческой деятельности всецело подчиняет себе личность, эта идея господствовала в эпоху Петра и Петр ее усвоил. Он отдавал себя служению государству и требовал того же от своих подданных. В его государстве не было ни привилегированных лиц, ни привилегированных групп, и все были уравнены в одинаковом равенстве бесправия перед государством.[1]

Эту книжку, как монархический манифест, сочувственно встретил и с похвалой отозвался о ней глава монархической контрреволюционной эмиграции Петр Струве.

Итак во всех своих основных работах последнего периода, старый «экс-профессор русской истории», как называет себя Платонов в книжке о Петре, подражая Шлецер, защищает политическую программу контрреволюции. Историческая литература идет следом за политическими установками контрреволюции, интересы историка определяются политическим заказом контрреволюции.

---

[1] С. Платонов, Петр Великий, изд. «Время», Л. 1926, стр. 113.

Поиски классовой базы контрреволюции в кулацком крестьянстве, — обусловили исторический интерес к северу (Платонов, Андреев), Сибири (Бахрушин) и донскому казачеству (Гхоржевский), к крестьянскому капитализму (Бахрушин). Ориентировка на интервенцию иностранной буржуазии для восстановления капитализма в XX веке — приводит к реабилитации интервенции и интервентов в XVII веке. Идея интервенции занимает центральное место в установках контрреволюционной историографии. Таково политическое лицо главы школы, оно было лицом всей школы.

Так на Платонове и всей школе ярко отражается тот факт, что в условиях победоносной пролетарской революции, победоносного социалистического строительства нет иного пути для восстановления старого строя, восстановления власти помещиков и капиталистов, кроме превращения нашей страны в колонию иностранного капитала, превращения нашей страны в оторванные друг от друга, раздробленные куски, принадлежащие хищникам иностранного капитала. И Платонов, несмотря на все свои былые националистические концепции, пошел по этому пути. На интервенционистской платформе он остался тем же защитником интересов помещиков и капиталистов, каким он был в течение всей своей карьеры буржуазно-дворянского историка.

П Р Е Н И Я

А. Введенский.

Политическое лицо советского историка должно быть четко определено. Историк обязан быть на той или другой стороне великих боев за социализм. Если за нейтралитет в древней Греции вешали, то mutatis mutandis и в нашей действительности расстреливать полагается.

Мы обязаны высказаться по заслушанным нами докладам, и наша дискуссия имеет не только академическое, но и практическое значение, т. е. не только в наших книгах и статьях, которые выйдут через месяцы и годы, но немедленно в наших лекциях и семинарских занятиях скажутся выводы нашей дискуссии. Мы историки все или педагоги или руководы по политической и профессиональной учебе в учреждениях, школах, ВУЗах и все мы получаем для повседневной своей работы определенный политический итог от нашей дискуссии. Лично мне, работающему в большом учреждении, выполняющему ответственную проектную работу в ведущей отрасли промышленного строительства, приходится каждодневно наблюдать, как отсутствие марксистских установок в скромном минимуме общественных знаний инженерно-технических работников — приводит огромный коллектив к деляческому, к ограниченности голого техницизма, к срыву боевых темпов, к непониманию сущности социалистической стройки, а в недавнем прошлом и к прямому вредительству.

С такой точки зрения доклады тов. Зайделя и тов. Цвибака имеют бесспорный интерес. Они выявляют полностью контрреволюционное лицо Тарле и Платонова, раскрывают их методы фальсификации исторических источников и, наконец, определяют, что̀ и как должно быть нами использовано из их литературного наследства.

Я соглашаюсь в основном со всеми установками обоих докладчиков. Это, конечно, не исключает для меня возможности внести ряд уточнений и дополнений. Разумеется, я как специалист по истории народов СССР буду выступать только по докладу тов. Цвибака.

Мне представляется, что Платонов — историк не с двумя темами: «Смута» и «Петр I», но историк одной темы: «происхождение, развитие и гибель российского самодержавия» — этой одной теме историк Платонов отдал всю свою жизнь. В этой теме три точки в развитии самодержавия захватывают все твор-

чество Платонова: гибель феодализма под ударами Грозного и рождение самодержавного царства, «смута» — как интродукция и реконструкция самодержавия при Романовых и окончательное цементирование российского самодержавия при Петре I с развертыванием Московского царства в Российскую империю. Все остальные работы были лишь деталями и эскизными набросками к этой основной теме. Таким образом, классовый смысл работы и классовая служба казенного историографа самодержавия совершенно ясна.

Октябрьская революция дала еще одну деталь Платонову для этой темы. Платонов, всю жизнь изучая «цветение» и «величие» российского самодержавия с его революционной ликвидацией Октябрем, должен был осмыслить для себя и причины гибели самодержавия в 1917 г. Как же историк Платонов изучает причины гибели?

Мне вспоминается публичный доклад Платонова на эту тему, доклад остался ненапечатанным, прочитан он был в 1920 г. перед переполненной аудиторией в I Педагогическом институте, где Платонов был в свое время директором. Концепция доклада была до наивности проста и комически элементарна. Весь доклад был построен на том, что историк различает, историк знает две струи в крови российских императоров: одна идет от Петра I и императоры этой крови — выдающиеся вожди нации, империя при них процветает. Пример такого вождя с петровской кровью Николай I. Другая кровь идет от Павла. Императоры этой крови — слабые умственно и физически, империя при них идет к упадку. Николай II пример этой павловской струи крови. Отсюда гибель и катастрофа.

Вот и все построение, лежащее в основе этого доклада. И это подавалось жрецом исторической науки аудитории как «научное» объяснение самодержавия. Как видно, Октябрьская революция не способствовала обострению исторического чутья историка.

Платонов знает только XVI и XVII вв. и как ученый определенного буржуазного течения историографии кончает XVII в. Дальше ученый уступает место казенному публицисту. Исторических источников за пределами «петровской» эпохи по XVIII в. и тем более по XIX в. Платонов не знает. В своих статьях и лекциях типа «священной памяти 1812 года», во всех работах и устных выступлениях по XIX в., о Карамзине, о традициях 1834 г. для Археографической комиссии Платонов был всегда антинаучен даже в рамках требований буржуазной историографии, но политически всегда определенным — все, что уводило от советской науки и марксистской историографии, Платоновым подчеркнуто пропагандировалось.

В работах по XVIII и XIX вв. для Платонова характерно незнание источников, характерна манипуляция фактами оффи-

циозного происхождения. В своих публицистических работах Платонов забывает о своей учености. Его концепции опираются на примитивно-идеалистические ходули, зиждятся на расположении всех явлений вокруг «героев», «сильных личностей», т. е. на таких примитивах, которые давным давно отброшены и буржуазной наукой.

Если с реакционными построениями Платонова по XVI—XVII вв. мы еще будем бороться, то мы пройдем мимо всех его работ по XVIII—XIX вв., или же эти работы будут для марксистской историографии «историческим источником» о реакционном историке Платонове. «Источник» этот бедный, нового пороха в защиту православия и самодержавия тут не изобрели, тут только повторяются реакционные зады казенных перьев ранее Платонова орудовавших катковско-нововременских публицистов.

Гораздо интереснее другая тема, которая в докладе тов Цвибака нашла меньшее отражение, — это Платонов как источниковед.

Если с Платоновым нужно бороться как с ученым знатоком XVI — XVII вв., то с такой точки зрения, прежде всего, следует внимательно присмотреться к Платонову, как к знатоку исторических источников этого времени, и вскрыть методы его источниковедения, посчитаться с его теорией источниковедения.

Докладчик в основном дал правильные установки, но тут нужна и детализация. Мне кажется, что эту детализацию может дать наша дискуссия, поскольку каждому специалисту по истории СССР приходилось заниматься в разной степени проверкой источников Платонова, применительно к своим темам, своим работам. Археографическая комиссия нового состава поставила в плане своих работ проверку источников «Очерков по истории смуты» Платонова, эту работу нужно приветствовать, но можно и сейчас ее начать.

У Платонова, по опыту моей такой проверки, полностью отсутствует в рассмотрении источников та дальнозоркость, которая дается теоретическим обоснованием, знанием теории источниковедения. Никакой теории у Платонова нет. У Платонова есть только особая зоркость от нутра. Как у певца бывает от природы поставленный голос, так и у Платонова есть дар от нутра к изучению источника, который всегда приводил Платонова к ползучему эмпиризму.

С этой точки зрения интересен литографированный курс Платонова «Обзор источников летописного типа». Это лекции Платонова, читанные им в петербургском Археологическом институте в 1904—1905 гг. Здесь, конечно, нет никакой теории источниковедения, но много путаницы и невежества. Здесь пересказывается его магистерская диссертация, без всякой попытки осо-

знать полученный в работе над источником опыт. Нет попыток сколько-нибудь четко установить методологию, слушателям рекомендовалось следовать за своим нутром в понимании источника. Этот ползучий эмпиризм — характерная черта в творчестве Платонова на протяжении всей его ученой карьеры.

Теперь я в двух словах хочу поделиться с теми результатами проверки, которые были мной получены в результате изучения способов использования Платоновым источников.

Приведу только несколько примеров и то из очень ограниченного круга явлений, связанных с историей торгово-промышленной фирмы Строгановых XVI—XVII, которой я длительно занимался. Такая проверка приводит к выводам двоякого рода. С одной стороны — безусловная точность и правильный, критически взвешенный отбор исторических фактов из документов, по преимуществу напечатанных. Если присмотреться к этим фактам, определить, какой удельный вес они имеют в концепции Платонова, то сразу бросается в глаза, что факты, добросовестно выбранные и точно обработанные, будут фактами мелкими и мельчайшими, которые принципиального значения в построениях историка Платонова не имеют. Из этих мелких и мельчайших явлений и фактов Платонов очень умело составляет фактическую ткань событий. Это уменье сочетается с талантом прекрасного стилиста. В этом отношении, как известно, печально повезло историкам-архиреакционерам: Карамзин, Иловайский, Платонов и только один либерал Ключевский — являлись мастерами стиля.

Если в документе встретится кличка дьяка, нигде не встречавшаяся, Платонов правильно определит фамилию этого дьяка. Когда Платонов не делает ссылок на источник — его известие правильно. Я не знаю ни одного случая, когда Платонов был бы в этом отношении элементарно недобросовестен. Например, в книге «Борис Годунов», написанной без ученого аппарата, без ссылок, есть известие о манипуляциях над текстами об убийстве Димитрия в Угличе. Историк сразу настораживается — это не бывшее еще в ученом обороте известие. Откуда оно взято? Раз ссылки нет — догадаться трудно, тем более, что источником Платонова может быть неопубликованная рукопись, что в данном случае и имеет место. Работая над вопросом, почему Строгановы не торговали солью в Угличе, почему они не хотели встречаться с монастырским торговым капиталом, монопольно работавшим в Угличе, я случайно нашел источник Платонова. Это «келарский обиходник» Кирилло-Белозерского монастыря, о котором Платонов ни в одной работе не упоминает, но откуда он безусловно свое известие берет, — это устанавливается текстуально. Платонов берет из источника не все, что источник может дать, но самый факт верен. Верен также факт формиро-

вания Строгановыми за свой счет тысячной армии казаков для Грозного, источник в «Очерках по истории Смуты» не указан, но документальный источник действительно имеется.

Вот, с одной стороны, ряд фактов, которые можно умножить, и которые указывают на то, что историк Платонов обращается с фактами элементарно добросовестно. Но бесстрастие и объективность, имеющиеся по отношению к принципиально неважным, мелким и мельчайшим фактам, покидают Платонова, когда ученый сплетается с публицистом и казенным историографом. Иначе и быть не может, так как каждый историк — публицист своей эпохи.

Изучая роль Строгановых в контрреволюционном движении в 1611 — 13 гг., приведшим к реставрации старого режима с новой романовской династией, мы имеем между прочими источниками многочисленные грамоты вождей контрреволюции: «отписки», «памяти», «ссылошные памяти», при помощи которых сносились между собою посады, втянутые в контрреволюционное движение. Огромное большинство этих источников напечатано. И общеизвестно, что Платонов все эти документы прекрасно знает и их использует. Как использует их Платонов? На основе этих источников Платонов строит свою концепцию о Нижегородском ополчении, о водворении на престол Романовых, рисуя все движение, как движение всего поморского населения.

Между тем, документы на этот вывод отнюдь не уполномачивают. Все перечисленные источники упоминают имена посадских. Если проверить по писцовым книгам и актам, кто эти посадские, постоянно встречающиеся в этих документах, то оказывается, что это только совершенно определенный, один посадский слой, — это «лучшие люди». «Середних» и «молодших» людей тут нет. То есть совершенно определенный слой посада и деревни — кулацкое крестьянство, духовенство, гости, провинциальные дворяне-помещики. Это основная, руководящая сила в московской контрреволюции, которая однако выдается за движение всего поморского населения. Документы, правда не многочисленные, рисующие отношение социальных низов к «смуте», Платоновым опорачиваются только за то, что они идут от демократии, и отбрасываются. Таким образом, здесь мы можем предъявить счет Платонову, что его концепция построена на фальсифицированном документе.

Платонов не только замазывал вопрос об ограничительных условиях воцарения Михаила Романова, но смазывал и классовую борьбу, ведшуюся на избирательном сборе 1613 г.

Некоторые источники, рисующие эту борьбу, правда, стали известны позже выхода «Смуты» Платонова, но ряд источников был известен Платонову и ранее и им опущен, о них он заговорил только после Октябрьской революции.

Общий вывод из сказанного мною: Платонов как источниковед был буржуазным ученым невысокого полета и в этом отношении своей ученой школы создать не мог. И у него этой школы в настоящем смысле слова, конечно, не было. Но это отнюдь не мешало Платонову быть вождем группы, коалиции всех течений буржуазной историографии, на что первый указал в печати М. Н. Покровский еще в 1927 г.

Перехожу к последней теме своего выступления, которая в значительной степени будет pro domo sua.

Дело в том, что я в докладе тов. Цвибака был назван, во-первых, как один из лаппо-данилевцев, которые вошли после Октябрьской революции в блок с Платоновым и, во-вторых, я был назван в той связи, что лаппо-данилевцы принесли Платонову свой интерес к Северу и, в частности, я своими Строгановыми подсказал ряд тем по истории Севера Платонову.

По этому поводу я хочу дать такого рода разъяснения. Среда лаппо-данилевцев ни до, ни после революции не была однородной и единой ни академически, ни политически. Факт неоднородности и наличия нескольких течений в академическом смысле в среде лапподанилевцев — это факт давно известный. В маленькой монографии А. Е. Преснякова о Лаппо-Данилевском и в напечатанных воспоминаниях дипломатистов-учеников об учителе, вышедших после смерти Лаппо-Данилевского, эти факты указываются в совершенно определенной и четкой формулировке. Еще при жизни Лаппо-Данилевского академически среда его учеников не была однородной. Было три течения, оформившиеся в многолетней работе дипломатистского семинария: правое, интересовавшееся только клаузальным анализом актов, видя в этом самоцель, это чистые представители формального метода в истории, это дипломатисты в средневековом смысле этого понятия. И не делает ли тов. Цвибак тут ошибки, покрывая всех лаппо-данилевцев этим правым крылом? Были центристы, которые в академическом отношении стремились формальный метод поставить на службу исторического исследования. Наконец, левые стремились представить акт в его эволюции, хотели дать «живую историю акта» в зависимости от определенной исторической среды.

Академическая неоднородность лаппо-данилевцев засвидетельствована и в их печатных работах. В сборнике статей в честь А. С. Лаппо-Данилевского все работы написаны правыми и центристами, где даны примеры анатомического рассечения актов и их клаузальный анализ, лишь одна статья «левого» — Мих. Злотникова о «Площадных подьячих», резко выделяется среди работ формалистов. Другие «левые» дали свои работы в других изданиях. Я напечатал работы о «Монастырском стряпчем», где, как и в работе Мих. Злотникова, изучается та среда, в которой слагался в своем формуляре акт, но не его только формальный

анализ интересует нас. В этой своей работе я еще целиком на позициях буржуазной историографии, здесь у меня, например, фигурирует государство, крепостящее все классы Московского населения. С. Н. Валк дал работы, выявляющие «живую историю акта».

После Октябрьской революции правые и центристы академически стали правыми и центристами и политически и связали себя с контрреволюцией и, в частности, с Платоновым.

«Левые» академически стали «левыми» и политически и после некоторых колебаний и пассивного нахождения в блоке с Платоновым из этого блока вырвались и начали борьбу с ним. После Октябрьской революции «левые» лаппо-данилевцы изменили и свою тематику. Мих. Злотников занимается историей предпролетариата в нач. XIX в., я написал работу «О революции 1905 г. на Урале», С. Н. Валк напечатал ряд работ о народовольцах и по источниковедению Октябрьской революции. «Левые» лаппо-данилевцы идут и придут к революционному марксизму, «правые» и «центристы» этого не сделали и не смогут сделать.

Теперь относительно влияния на Платонова лаппо-данилевцев с их интересом к изучению Севера. Я думаю, что такого влияния не было. Платонов занимался историей Севера давно. Север, как центр кулацкой контрреволюции, внимательно изучался им во введении к «Очеркам по истории смуты», которые вышли в 1899 г. Усилен интерес к Северу у Платонова был после выхода исследования Богословского о «Земском самоуправлении» (1909—1911), когда Платонов и лаппо-данилевцы были в отношениях весьма враждебных. Я начал печатать свои работы по Строгановым с 1920 г., таким образом я не могу считать себя в какой-нибудь степени суфлером для платоновских работ по Северу.

Я указал, что «левые» лаппо-данилевцы вошли в пассивный блок с Платоновым в 1921—1923 гг. И, естественно, что я, как, вероятно, и другие, сделал ряд ошибок за это время пребывания в пассивном блоке с Платоновым.

Лично для меня это были годы так называемого «магистрантства», которое проходило по всяким объективным условиям у буржуазных историков. В речи М. Н. Покровского о десятилетии Института красной профессуры есть указание, что мысль В. И. Ленина о необходимости обязательного обучения марксизму всех университетских преподавателей казалась как М. Н. Покровскому, так и другим работникам Наркомпроса смелой и неосуществимой в 1921 г. Несомненно, что буржуазные историки прививали нам, аспирантам, эклектическое мировоззрение, разрывать которое, перековывать его на мировоззрение марксистское приходилось уже вне школы, после ее. Марксистская

оснастка проходила во время практической советской работы, вопреки эклектическому обучению буржуазных учителей. Лично для меня этот процесс перевооружения проходил не без ошибок.

Политическими ошибками этого периода я считаю свое вхождение в члены редакционного комитета «Русского исторического журнала» в 1921 г. по приглашению и. о. непременного секретаря акад. Ферсмана, помещение работы в сборнике статей в честь Платонова в 1922 г. и произнесение речи в университете на юбилее Рождественского в 1923 г., где я переоценивал значение буржуазной историографии в период между двумя революциями.

Наконец, не в плюс себе я склонен ставить по правилу старика А. Бебеля и похвалы Платонова и лиц, входивших в тесный или не тесный с ним блок. Однако, не все мои работы Платонов хвалил. Я говорю о своей работе о «Происхождении Строгановых», где я делаю попытку развенчать легенду о знатном, боярско-новгородском происхождении Строгановых. Я указываю путем анализа всех документов по данному вопросу о выходе этих капиталистов из ряда кулацкого поморского крестьянства. Строгановы во второй половине XVII в. приказали своим крепостным перьям позолотить свое крестьянское происхождение. Но то, что нравилось Строгановым в XVII в., нравилось Платонову в XX в. Принимая мои выводы других работ по Строгановым, Платонов эту работу не только замалчивает, но и не находит нужным с ней считаться. Мифический боярин новгородский Строганов фигурирует у Платонова. Особа капиталиста должна быть благородной и вопреки всяким аргументам у Платонова она и остается благородной. Бахрушин в своей книге «Очерки по истории колонизации Сибири» так оценивал мои работы по Строгановым: «все перечисленные работы безукоризненны по научному методу, свежи по материалам и богаты содержанием, вносят много нового в изучаемый вопрос. Все это заставляет с большим нетерпением ожидать появления исследования Введенского в целом».

За что меня хвалила платоновская среда? Ясно, во всех моих писаниях этого периода безусловно налицо беззубый марксизм, без четкого выявления классовой борьбы. А такой марксизм, по неоднократным указаниям М. Н. Покровского, приемлем для буржуазной науки.

Я говорю о переживаниях далекого времени, о моих «магистрантских» годах. От ошибок, которые сделаны тогда, мало отмежеваться, мало деклараций, нужно бороться с ними. Воля к такой борьбе у меня есть, и эту борьбу я осуществлю.

Из платоновского блока я ушел в первый год существования

второго Исторического исследовательского института при Ленинградском университете в 1925 году [1], при таких обстоятельствах: когда я объявил о прочтении в институте доклада о революции 1905 г. на Урале, от Платонова, через его агентов, последовало категорическое требование заменить этот доклад докладом о строгановской иконе. Это требование мною не было выполнено, и вместо иконы я читал о революции 1905 г.

С лаппо-данилевцами всех течений я разорвал все связи с 1929 г. после своего доклада о Лаппо-Данилевском на торжественном заседании Академии наук.

После этого доклада я был окончательно отлучен от всех академических церквей буржуазной историографии.

Кончая, я должен сказать, что мой путь никогда не был прямоезжей дорогой к марксизму. Этот путь был полон ошибок, больших ошибок. Дальнейшая вентиляция непроветренных уголков моего мировоззрения будет мне полезна. И помощь товарищей из Комакадемии даст мне возможность быстрее это сделать.

Н. Попов.

Те два обстоятельных и глубоких доклада, которые мы заслушали, имеют безусловно крупное политическое значение. В процессе обсуждения этих докладов мы вплотную подошли к осуществлению того поворота, о котором у нас так много говорится в последнее время. Этот поворот должен не только сдвинуть нашу тематику, не только актуализировать историческую науку, не только поставить ее целиком на службу практике социалистического строительства, на службу партии, Коминтерна, но этот поворот в связи с только что указанными задачами, должен также мобилизовать силы историков-марксистов на своевременное разоблачение и разгром всяких буржуазных теорий, всяких контрреволюционных исторических концепций. Я в своем выступлении ограничусь только несколькими замечаниями по докладу тов. Цвибака.

Мне думается, что когда мы характеризуем исторические взгляды Платонова, необходимо более подробно остановиться на идейных корнях его исторической концепции, на его идейных предшественниках, взгляды которых в той или иной степени определили историческое мировоззрение Платонова.

Система исторических взглядов Платонова исходит в ряде положений из концепции С. М. Соловьева.

Трудно найти историка второй половины XIX в. и начала XX (включая, конечно, марксистов), который не заимствовал

[1] В 1925 году 2-ой Исторический исследовательский институт при Ленинградском университете еще не существовал, так как он начал работу в марте 1927 года. *Примечание редакции.*

бы в той или иной мере исторические взгляды С. М. Соловьева. Тезис об огромной созидательной роли государства в русском историческом процессе взят Платоновым именно у величайшего историка России XIX в., каким был вне всякого сомнения Сергей Михайлович Соловьев.

Содержание курса русской истории, — писал во введении к «Сокращенному курсу русской истории» С. Ф. Платонов, — должно составлять повествование о том, как из названных отдельных племен постепенно образовывался единый русский народ и как он занял то громадное пространство, на котором теперь живет; как образовалось среди русских славян государство и какие перемены происходили в нем до тех пор, пока оно не приняло современной нам формы Российской империи. [1]

История государства, его господствующей народности, его территории — вот содержание курса русской истории по Платонову. По существу то же определение (кстати, — насквозь великодержавное) дает Платонов задачам русской истории во введении к «Лекциям по русской истории».

Так и отвлеченные соображения и практические цели, — пишет он, — ставят русской исторической науке одинаковую задачу — систематическое изображение русской исторической жизни, общую схему того исторического процесса, который привел нашу национальность к ее настоящему состоянию. [2]

Как известно, история «нашей национальности» понималась Платоновым как история господствующей национальности, организованной господствующими классами этой национальности в государство. Но мне кажется, когда мы говорим о Платонове, нужно подчеркнуть гораздо больше, чем это сделано у тов. Цвибака, тот факт, что платоновское историческое credo складывалось не только и не столько под влиянием С. М. Соловьева, сколько под непосредственным влиянием Бестужева-Рюмина. В своем замечательном документе «Несколько воспоминаний о студенческих годах» Платонов так определяет влияния на него современных ему историков:

...в то время, как Бестужев звал меня учеником Сергеевича, я уже чувствовал себя учеником Ключевского. Так обозначилась тогда моя «ученая» физиономия. Бестужев всегда определял ученых тем, у кого они учились. Прилагая к себе эту меру, я мог бы сказать, что я учился сперва у Бестужева и Градовского, а затем у Васильевского и Ключевского. Сергеевича же я слушал и им любовался, но всегда его, так сказать, чуждался и сторонился. [3]

---

[1] С. Ф. Платонов, Сокращенный курс русской истории для средней школы, изд. V, 1917, стр. 1.
[2] С. Ф. Платонов, Лекции по русской истории, 1909, стр. 5.
[3] Платонов, Несколько воспоминаний, «Дела и дни», 1921, кн. II, стр. 130.

«Экономическая точка зрения» Ключевского не прельщала Платонова, его, по словам воспоминаний, тянули к этому историку только

разносторонность и широты исторического понимания и полная независимость (как мне казалось), — говорит Платонов, — от корифеев историко-юридической школы, не говоря уже об остроумии и красоте речи.[1]

Хотя Ключевский и оказал некоторое влияние на основную работу Платонова «Очерки по истории смуты», однако считать его учеником Ключевского разумеется нельзя. «Русско-византийские» отрывки В. Г. Васильевского также не могли сыграть крупной роли в оформлении общих исторических взглядов Платонова. По существу юридическая школа и Бестужев-Рюмин — вот круг идей, под влиянием которых были заложены основы исторического мировоззрения Платонова. И сам Платонов констатировал, что ему приходилось искать «руководящий синтез» именно у А. Д. Градовского и В. И. Сергеевича.[2]

Впервые на лекциях Градовского, — пишет он, — сложились мои представления о государстве и обществе, о целях государства, об отношении государства к личности и о благе личной свободы и независимости.[3] Оба они — Градовский и Бестужев, проникали в сердце и совесть, будили душу, заставляли искать идеала и моральных устоев.

На характеристике весьма своеобразной фигуры Бестужева-Рюмина стоит остановиться несколько подробнее. Как и целый ряд других историков середины прошлого столетия Бестужев-Рюмин в своих общих взглядах на русскую историю исходил от С. М. Соловьева, но под влиянием широкого распространения идей позднего славянофильства, особенно в связи с балканскими событиями 70-х годов, он по ряду коренных вопросов русской истории воспринял точку зрения славянофилов. В полном согласии со славянофилами Бестужев-Рюмин придает крупнейшее значение русской общине, подчеркивает историческое значение великорусского племени, признает задружное начало древних славян, крупную и особую роль веча в древней Руси и т. д. Стройной системы исторических взглядов у Бестужева-Рюмина не было. Для него как раз более характерна не принадлежность к той или иной исторической школе, к тому или иному историческому направлению, а стремление к полной независимости от них и уход к изучению источника. Бестужев-Рюмин в своем лице дал великолепное отражение кризиса, бесперспективности и растерянности дворянской историографии, уходящей от стройных исторических теорий, от широких обобщений и теоретических прогнозов к изуче-

---

[1] С. Платонов, ст. «Несколько воспоминаний», стр. 130.

[2] «На студенческую молодежь Сергеевич действовал неотразимо и обаятельно», «Несколько воспоминаний», стр. 114.

[3] «Несколько воспоминаний», стр. 113.

нию первоисточника и критике его показаний. Дворянская историография вступила в полосу длительного увядания, разложения и медленной смерти. Не случайно, что Бестужев-Рюмин не примкнул ни к одной исторической школе, не создал никакого направления, а остался «сухим прагматиком», «объективным» критиком «научной обработки истории», призывающим историков к сугубой осторожности «в своих общих выводах».[1] Платонов всегда хранил любовь и глубокое уважение к своему учителю — Бестужеву-Рюмину.[2] При характеристике исторических взглядов Платонова, его монархической контрреволюционной идеологии стоит вспомнить идейный облик его учителя — дворянского историка Бестужева-Рюмина. И сам академик Платонов был по существу дворянским историком. Его охранительная точка зрения, идеология верноподданничества, его откровенный монархизм, изображение истории, как истории царствований, оценка массовых движений в русской истории, как диких бунтов народной черни, его злопыхательство по адресу революционного движения красноречиво подтверждают дворянский облик его исторических построений.

Даже весьма схематичный анализ того, что написано Платоновым после Октябрьской революции (а именно на этом периоде я остановлюсь несколько подробнее), показывает нам весьма четко именно дворянский характер его исторической концепции (поскольку о ней (концепции) можно говорить). Платонов после Октябрьской революции написал следующие работы: «Смутное время» (изд. «Время», 1923 г.), «Москва и Запад в XVI и XVII веках» (изд. «Сеятель», 1925 г.), «Борис Годунов» («Огни», 1921 г.), «Петр Великий» (изд. «Время» 1926 г.), «Иван Грозный» (Брокгауз и Ефрон, 1925 г.) и сборник статей «Прошлое русского севера». Кроме этого у него за этот период написан целый ряд незначительных статей, заметок и некрологов. Касаться последних я не буду, ибо они имеют весьма ничтожное значение, если не вообще, то по крайней мере для выяснения общих исторических взглядов Платонова. Однако, прежде чем выяснить основное — идейное содержание указанных работ Платонова, написаных им после Октябрьской революции, необходимо хотя бы коротенько остановиться на его политическом облике этого времени. Тайный советник Сергей Федорович Платонов в период после Октябрьской революции остался ярым монархистом и контрреволюционером. Неудивительно, что антисоветская идеология академика Платонова весьма четко выступает во всех его писаниях этого времени. В историческом журнале «Дела и

---

[1] Бестужев-Рюмин, Русская история, т. I, 1872, стр. 246.

[2] См. хотя бы статью Платонова «Кн. Ник. Бестужев-Рюмин (2-го февраля 1897 г.) «Русский исторический журнал», изд. Ак. наук, Петр. 1922, кн. 8.

дни», кн. II, Платонов поместил воспоминания о своих студенческих годах. Эти воспоминания, как я уже отмечал, в высшей степени интересный документ. В этих воспоминаниях Платонов совершенно не скрывает своего враждебного отношения к советской власти. Раздраженный политикой Наркомпроса профессор Платонов писал:

Наше поколение университет чтило и щадило и мы не на словах только, но и на самом деле думали, что «университет — для науки». Будем верить, что если не наши сыновья, то внуки доживут до той поры, когда восстанет университетский порядок и возродится должное к нему уважение. *Вывеской и декретом университеты не создаются и не пересоздаются* (подчеркнуто мною. — *Н. П.*). Их растит и питает культурная почва, их росту не следует мешать.[1]

В другом месте Платонов в этом же любопытном биографическом документе подчеркнул с юношеских лет свое резкое отрицательное отношение к революционному движению... «мы не знали ни забастовок, — говорит он, — ни вонючих обструкций, ни полиции с винтовками во дворе и внутри университета, ни того вида «борьбы» (кавычки тут прямо замечательны! — *Н. П.*),

который назывался «систематическим разложением университетского порядка»[2] .... На старших курсах, — читаем мы выше у Платонова, — я уже стоял в стороне от университетской «общественной» (опять кавычки! — *Н. П.*) деятельности и не совался ни в какие студенческие предприятия и никакие выборные должности, — а по этой причине не участвовал и в устройстве бала. Открытого беспорядка учинить на балу не удалось, но прокламаций разбросано было достаточно и была создана столь горячая атмосфера, что я лично с удовольствием покинул бал.[3]

Вообще сходки мне не нравились, — говорит Платонов, — и (да простят мне их участники и любители) представлялись беспорядочными сборищами, рассчитанными на обработку грубой массы.

И тут же рядом, очевидно «для увязки с современностью», он лицемерно продолжает:

Другое дело агитация в шинельной, в небольших кружках, в длительной и спокойной беседе. Если бы моя личная жизнь не сложилась так, как уже тогда сложилась, и если бы я был вообще по натуре пригоден для партийных организаций («вообще по натуре пригоден для партийных организаций» — это прямо шедевр! — *Н. П.*), «шинельная» могла бы меня обработать и завлечь.[4]

Массовые крестьянские движения XVII и XVIII вв. в России (и разинщина и пугачевщина) по Платонову суть не что иное, как смута народной черни или дикий бунт разбойничьих шаек. Сторонник охранительной «теории», идейный монархист Платонов даже декабристов трактует лишь как государственных

---

[1] «Дела и дни», кн. II, стр. 133.
[2] Там же, стр. 132.
[3] Там же, стр. 126.
[4] Там же, стр. 118.

преступников и мятежников. Как верноподданный сын престола Платонов считает своим моральным долгом «объективного» историка совершенно игнорировать русское революционное народничество, массовое рабочее движение, социалистическое движение и революционное крестьянское движение XIX и XX веков в России.

Его «Сокращенные курсы русской истории», как и «Лекции по русской истории», по существу представляют собой историю царствований. По существу Платонов — своеобразный придворный историограф, оправдывающий и прославляющий кровавую, полную издевательств, преступлений и насилий историю дома Романовых. Русский исторический процесс по Платонову — это блестящая галлерея — сильных, грозных, тишайших, властных и величественных персонажей дома Романовых. «Объективный» академик Платонов, если дело касается царственной особы или особы, близко стоящей к императорскому двору, боится сказать какое бы то ни было неосторожное слово и в угоду сильным мира сего не считает зазорным искажать историческую действительность. Названные работы Платонова должны быть квалифицированы как историческое холуйство верноподданного слуги дома Романовых. На самом деле, если мы возьмем, например, оценку Платоновым таких сатрапов самодержавия, как Муравьев, Бибиков, Паскевич, то увидим, что он берет под защиту и Бибикова, разгромившего Пугачева, считая долгом ученого упомянуть, что говорят, будто «Бибиков умер от страшного напряжения сил» [1] в борьбе с этим движением, защищая все в целом колонизаторство русского царизма; оправдывает там же Муравьева-Вешателя и Паскевича, жестоко подавивших польские восстания и варварски руссифицировавших этот край и т. д. и т. п.

Со страницами (кстати, очень немногочисленными) работ Платонова, касающимися истории русского революционного движения, революции 1905 г. и Февральской революции 1917 г., необходимо было бы познакомить широчайшие массы пролетариата, до того эти страницы поучительны! Фальсификация и искажения тут не знают границ. Вот как например повествует Платонов о революционном движении января 1905 г.:

> Неудачи в японской войне дали окончательный толчок общественному недовольству и оно вылилось в ряде революционных вспышек. В городах устраивались манифестации, на фабриках — забастовки; начались политические убийства (великого князя Сергея Александровича, министра Плеве). Небывалая по размерам манифестация произошла в Петрограде 9-го января 1905 г. Массы рабочих сошлись к Зимнему дворцу с петицией к царю и были разогнаны (!?) с применением огнестрельного оружия. [2]

---

[1] С. Платонов, Сокр. курс. русск. истории, изд. V, 1917 г., стр. 297.

[2] С. Ф. Платонов, Сокр. курс русской истории, стр. 426.

И, наконец, самая характерная цитата — последние заключительные строки его «Сокращенного курса русской истории», курса, который закончен в апреле 1917 г.

С 24-го февраля 1917 г., — пишет Платонов, — в Петрограде начались уличные демонстрации с требованием «хлеба». В следующие дни против толпы пробовали двинуть войска, но 27-го февраля они перешли на сторону народа и 28-го февраля правительство пало. С возникновением беспорядков оно решилось распустить думу, но дума не разошлась и из своей среды избрала «исполнительный комитет», с председателем думы М. В. Родзянко во главе. Рабочая и солдатская масса в то же время выдвинула из своей среды «совет рабочих и солдатских депутатов». По соглашению этих органов революции было установлено «временное правительство» с председателем князем Г. Е. Львовым. Мгновенно оно было признано Москвою и всей страною. Император Николай II, застигнутый движением на фронте, не успел возвратиться в Петроград и во Пскове 2-го марта отрекся от престола за себя и за сына в пользу своего брата Михаила Александровича. Но Михаил Александрович на другой же день отказался принять «тяжелое бремя» власти и предоставил «учредительному собранию» своим решением об образе правления выразить волю народа».

Этого учредительного собрания теперь и ждет Россия, имея в своих пределах еще не побежденного внешнего врага. Да поможет ей Господь в трудную годину народных испытаний.[1]

Это — стиль манифеста Николая II об отречении от престола. Слова того же манифеста. Цитата дает очень яркую характеристику политического облика Платонова. В ней чувствуется растерянность верноподданного монархиста, кой-какие надежды на Временное правительство и Учредительное собрание, обращение к богу, как единственной силе, которая может усмирить бушующую земную стихию.

Товарищи! В оставшееся у меня время я попытаюсь дать общую характеристику послеоктябрьских работ Платонова. Чем занимается Платонов после Октябрьской революции? Его тематика в высшей степени интересна. Годунов, Грозный, Петр I, исторические судьбы русского крестьянства и роль Запада в русском историческом процессе — вот круг исторических личностей и проблем, интересующих Платонова в этот период. Не случайно, что внимание Платонова прежде всего останавливается на крупных исторических личностях (по понятиям дворянской и буржуазной историографии), направлявших развитие России, самодержавной, железной рукой усмирявших народные стихии и не раз выводивших страну из смуты и кризиса.

В истории самых талантливых представителей дома Романовых (как например Петр I) Платонов хочет найти ключ к решению огромной проблемы — послеоктябрьской «смуты». Именно в этом «глубочайший и коренной смысл, как уже отмечал М. Н. Покровский, по поводу книги Виппера о Грозном, тяготение дворянской и буржуазной историографии нашего времени

[1] Там же, стр. 429.

к великим историческим личностям». Кроме того данная историческая тематика позволяла Платонову еще и еще раз расписать исторические «заслуги» русских государей и поднять на пьедестал самую идею монархии. Для подтверждения разрешите привести любопытную цитату из «Бориса Годунова».

Книжка о Борисе Годунове написана Платоновым специально для того, чтобы полностью реабилитировать Бориса, оправдать его от многочисленнейших нападок как современников, так и исторической науки.

Борис умирал, — пишет Платонов, — истомленный не борьбою с собственной совестью, на которой не лежало (по мерке того века) никаких особых грехов и преступлений, а борьбою с тяжелейшими условиями его государственной работы. Поставленный во главу правительства в эпоху сложнейшего кризиса, Борис был вынужден мирить непримиримое и соединять несочетаемое. Он умиротворял общество, взволнованное террором Грозного, и в то же время он его крепостил для государственной пользы. Он давал льготу одним и жал других, тянул вверх третьих и принижал четвертых все во имя той же государственной пользы. Он работал на государство и в то же время готовил трон для себя; он отказывался от сана монарха, когда уже был им фактически. Сложность и многогранность его деятельности обнаружили во всем блеске его правительственный талант и его хорошие качества — мягкость и доброту; но эти же свойства сделали его предметом не только удивления, восторга и похвал, но и зависти, ненависти и клеветы. По воле рока, злословие и клевета оказались вероподобными для грубых умов и легковерных сердец и обратились в средство политической борьбы и интриги. Пока Борис был жив и силен, интриги не препятствовали ему править и царствовать. Но как только он в пылу борьбы и в полном напряжении труда окончил свое земное поприще, интрига и клевета восторжествовали над его семьей и погубили ее, а личную память Бориса омрачили тяжкими обвинениями. Обвинения однако не были доказаны: они только получили официальное утверждение государственной и церковной власти и передали потомству загрязненный облик Бориса. Его моральная реставрация есть, по нашему мнению, прямой долг исторической науки. [1]

Итак, книга о Годунове, которому «в великой исторической московской драме на рубеже XVI и XVII столетий была суждена роль и победителя и жертвы», ставит себе прямую задачу защиты Бориса от злословия, клеветы и интриг и создания цельной характеристики Годунова, как человека огромного государственного ума. То же необходимо сказать о второй книге Платонова «Иван Грозный».

В конце главы «Грозный в русской историографии» Платонов следующим образом определяет задачи его данной работы:

Следя за деятельностью Москвы XVI века в связи с общим ходом политической жизни Европы и Азии, наш автор (речь идет о Виппере. — *Н. П.*) не скупится на похвалы русскому политическому и военному искусству того времени и смотрит на Грозного, как на крупнейшего исторического деятеля. Книгу проф. Виппера можно назвать не только апологией Грозного, но его апофеозом. Выведенный из рамок национальной истории на всемирную арену, Грозный показался и на ней весьма крупным деятелем.

---

[1] С. Ф. Платонов, Борис Годунов, стр. 154.

Таково последнее слово нашей исторической литературы о Грозном. Думаем, что оно навсегда упразднило возможность презрительного отношения к личности Грозного. Но, быть может, оно несколько перетянуло весы в другую сторону и дальнейшая задача исследователей — найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок.

Предлагаемый очерк отнюдь не претендует на эту роль суперарбитра в суждениях о Грозном. Его целью было дать такой «образ» Грозного, какой сложился в уме автора при знакомстве с наиболее характерным историческим материалом данной эпохи.[1]

Книга Платонова о Грозном вопреки его собственному заявлению именно претендует на «роль суперарбитра в суждениях о Грозном». Отмечая в личном поведении Грозного «низкие поступки и распущенность» и иногда называя его даже тираном, Платонов дает так много и таких ярких страниц о Грозном, как выдающемся государственном деятеле, о «блеске побед» его над татарами, о «славе молодости», о его реформах первого периода, что по существу его позиция «равновесия» становится позицией апологии Грозного, мало чем отличающейся от «апофеоза» Виппера.

Как ни судить о личном поведении Грозного, — говорит Платонов, — он останется как государственный деятель и политик крупной величины.[2]

А с какой желчью набрасывается Платонов на А. Толстого и Б. Пильняка в своей книге «Петр Великий» за то, что они не дали Петру I, так называемому «Петру великому», обычной верноподданнической характеристики в духе придворной историографии. Платоновская характеристика Петра, противопоставляемая характеристике писателей, дает нам величественный образ императора — гиганта, крупнейшего государственного деятеля, виднейшего полководца, человека железной воли, исключительной работоспособности и т. д. Платонов не согласен в оценке Петра ни с Ключевским, ни с Милюковым: ему кажется, что они недооценили его исторической роли. Только Павлов-Сильванский в статье «Об историческом самоунижении» подошел вплотную к подлинному образу знаменитого императора. Данная книжка Платонова более ярко и красочно, чем две предыдущие, подтверждает целевую установку работ Платонова о Грозном, Годунове и Петре. Платонов пытался в противовес Октябрьской политической «смуте» поднять на недосягаемую высоту идею монархии, защитить ее от всяческих нападок и своими историческими работами показать в борьбе *за кого*, в борьбе за какую форму политического устройства наша страна может выйти из «смуты и кризиса».

Тов. Цвибак уже отмечал, что не случаен также интерес Платонова к историческим судьбам русского крестьянства.

---

[1] С. Ф. Платонов, Иван Грозный, стр. 24.
[2] Там же, стр. 156.

Реакция и контрреволюция, — говорил М. Н. Покровский, — в области истории РСФСР и на Украине сходятся на одних и тех же позициях. Последняя позиция Грушевского — это крестьянско-рабочая революция на Украине. Последняя позиция Милюкова — это крестьянская революция. [1]

Кадеты из белоэмигрантского лагеря проявляют усиленный интерес к судьбам как исторического, так и современного русского крестьянства.

Небезызвестный кадет А. А. Кизеветтер в своей книжке «Русский Север», относящейся к 1919 г., писал:

Мы полагаем, что этот очерк — при всей его краткости — все же представит достаточно материала, как для подтверждения справедливости только что высказанного заключения о минувшей исторической роли этого края, так и для доказательства того, что русскому северу — в силу тех же природных его условий может и в будущем предстоять важная положительная роль *в общем процессе возрождения России.* [2]

Мы хорошо знаем, как кадеты представляли и представляют себе «возрождение России». Ориентация на севере интерес к крестьянству у лагеря контрреволюции есть результат поиска сил, на которые может опереться лагерь современной реакции в схватке с нашей революцией. Именно в этом плане мы рассматриваем тот интерес к историческим судьбам русского севера, северного крестьянства, который проявила школа Лаппо-Данилевского и академика Платонова. В результате именно этого интереса появилась в свет книжка Платонова «Прошлое русского Севера».

Характеризуя контрреволюцонную идеологию Платонова, не безынтересно выяснить его отношение к насилию в историческом процессе. Оказывается, видите ли, есть насилие и насилие, например, диктатура пролетариата, не насилие над классом помещиков и капиталистов, есть дикий террор, есть нарушение исторической закономерности, есть «кризис и смута», другое дело диктатура крепостников помещиков, насилие Петра, как конкретного носителя этой диктатуры над закрепощенным крестьянством, это насилие по существу совершенно справедливо и исторически правомерно. Именно в последнем смысле ставится проблема насилия в историческом процессе Платоновым.

Красочно изобразив историю казни Монса Петром I, Платонов говорит:

Таков был тот жестокий век, в котором жил и воспитывался Петр. Еще не было на свете Цезаря Беккариа, еще существовала во всей силе общая вера в устрашение жестокими казнями, как в единственное действительное

---

[1] «Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов», т. I, стр. 455 — 456. Речь Мих. Ник. Покровского по докладу Яворского.

[2] А. А. Кизеветтер, Русский Север. Роль северного края Евр. России в истории русского государства. Вологда, 1919, стр. 4. (Курсив мой. — *Н. П.*)

средство борьбы с преступностью. И Петр глубоко верил в это средство, считая себя обязанным его применять для пользы управляемого народа. С этой точки зрения он иначе расценивал жизнь отдельного человека, чем ценим ее мы, и считал не только позволительным, но и похвальным истребление преступников и негодяев. Для него казнь была самым обычным делом тогдашнего правосудия, и сам он, как верховный его представитель, легко лишал жизни людей, по его мнению, провинившихся.[1]

Платонов, как видим, с искренним чувством симпатии рассказывает об этом жестоком веке Петра. Он понимает и защищает необходимость исторического насилия для «пользы управляемого народа». Академику трудно представить себе, что может быть насилие народа, обусловленное железной необходимостью исторического развития над бывшими господствующими классами, над бывшими управителями.

Одна из самых интересных проблем, занимавших Платонова в послеоктябрьский период — это проблема взаимоотношений Запада и России. И опять-таки к этой проблеме, на это указывал и тов. Цвибак, Платонов подошел совершенно не случайно. В отличие от старых дореволюционных работ Платонов в своих новых работах, написанных в годы революции, стал усиленно подчеркивать весьма крупное значение Запада в русском историческом процессе, весьма давнее и глубокое влияние Запада на Россию. По его мнению мы до самого последнего времени не дооценивали роли Запада в исторических судьбах нашей страны. В своей книжке «Иван Грозный» Платонов считает необходимым особо отметить одну склонность государя, замеченную современниками, «это склонность к иностранцам, интерес к Западной Европе.[2] Более того, общение с Европой, говорит Платонов, стало для Грозного уже «семейной традицией». В доказательство того же тезиса Платонов рисует широкую картину появления на Руси в смутное время «военных, торговых и промышленных» «немцев».

В смутное время, — пишет Платонов, — соприкосновение с иностранцами у москвичей стало постоянным и общим.[3] И, наконец, в предисловии к самой главной работе по этому вопросу «Москва и Запад в XVI и XVII веках» Платонов таким образом определил свои задачи по изучению роли Запада в русской истории.

Автор почувствует себя вполне удовлетворенным, если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать.

Тезис о тесной связи Запада с Россией нужен Платонову прежде всего для доказательства того положения, что иноземцы

---

[1] С. Ф. Платонов, Петр Великий, стр. 108—109.
[2] С. Ф. Платонов, Иван Грозный, стр. 156.
[3] С. Ф. Платонов, Смутное время, стр. 164.

на русской земле «не всегда почитались врагами». Наоборот, Платонов отмечает, что некоторые русские государи в минуты «страхования» от «измены» думали покинуть Россию и найти на Западе убежище.

Откинув неизбежные преувеличения, — пишет Платонов, — не повторим, вслед за летописцами, что Грозный лишился ума «от иноверца», но признаем, что склонность к общению с европейцами и с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты, «страхования» от «измены» он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежище на Западе, именно в Англии.[1]

Глава «Иностранная интервенция в смутное время» в книге «Москва и Запад» дает ключ к пониманию огромного интереса Платонова к проблеме связи Московской Руси с европейским Западом. Эта замечательнейшая в своем роде глава кончается любопытным абзацом.

В трудное время «разрухи», — говорит Платонов, — то-есть полного распада общественных сил (1610—1611 гг.), москвичи охотно шли на то, чтобы признать любую власть, только бы она прекратила смуту. Одни держались польского королевича; другие вели переговоры о призвании шведского принца; третьи беседовали с английскими агентами об английском протекторате; четвертые думали о возможности приглашения габсбургского Максимилиана. Но когда Москву «бог очистил и русскими людьми», и явилась возможность собрать земский собор для царского избрания, этот собор прежде всего постановил не искать царя за рубежом, а избрать его из московских «великих родов». Из своей смуты московское общество вынесло близкое знакомство с иноземцами, но это знакомство не перешло во внутреннее сближение. Иноземцы не всегда почитались врагами, но они никогда не представлялись истинными друзьями.[2]

Проблема интервенции поставлена Платоновым в этой цитате с удивительной ясностью. Иностранцы не всегда были врагами господствующих классов России. Для того, чтобы прекратить народную смуту, вывести страну из кризиса, преодолеть трудное время «разрухи» можно и должно прибегнуть к помощи иностранных сил, к помощи европейского Запада и призвать на это тяжелое время любую власть, даже иноземную, лишь бы она спасла страну и утвердила старый общественный порядок, утвердила старое господство феодалов-крепостников. Дворянская и буржуазная контрреволюция, как и социал-фашистский II Интернационал считают, что и в *наши дни* возможно и необходимо итти по примеру москвичей эпохи смуты, как сказал бы Платонов (конечно, не всех москвичей; широкие крестьянские массы никогда не были за приглашение поляков, за иностранную интервенцию) на интервенцию для разгрома пролетарского государства и реставрации в стране старого порядка. «Объективный» академик Платонов в своих «научных» работах на историческом

[1] С. Ф. Платонов, Иван Грозный, стр. 159.
[2] С. Ф. Платонов, Москва и Запад в XVI—XVII вв., стр. 55.

материале смуты обосновал правомерность вторжения иностранных сил в границы Советского Союза. Сформулировал теоретические, исторические основания интервенции мировым империализмом первой страны пролетарской диктатуры.

Наконец, последнее замечание. Разоблачая исторические взгляды Платонова, вскрывая их контрреволюционный характер, необходимо также обратить внимание еще на одну очень вредную сторону его исторических сочинений — это на их откровенную великодержавность. Все работы дворянского историка, монархиста Платонова, насквозь великодержавны. Даже великодержавно само определение задач русской исторической науки, даваемое Платоновым. Русский историк по Платонову изучает только один факт мировой исторической жизни — жизнь *своей* национальности. История нашей страны по Платонову — есть история *русского* народа, многочисленнейшие народности нашего союза упоминаются на страницах его работ только как объект кровавых подвигов сатрапов самодержавия, объект колонизации русского царизма, объект дворянской эксплуатации, насилий и зверств. В угоду истории Великой России, истории великорусской народности Платонов не стесняется даже искажать, фальсифицировать подлинный исторический процесс, процесс героической борьбы этих народностей против колонизаторства Великой России. Так, например, в «Сокращенном курсе русской истории» проф. Платонов завоевание коканского ханства (Средняя Азия) русскими объясняет тем, что туземное население этого края «на почве религиозного фанатизма» подняло «мятежное движение против русских»,[1] или в сборнике статей: «Прошлое русского Севера» разгром Московским государством по существу беззащитных черемисов объясняется им также нападением (!) этих черемисов на русских. Подобных примеров, знаменующих по существу вредительство в исторической науке, можно еще привести довольно большое количество. Заострить внимание работников исторического фронта против великодержавности в исторической науке тем более необходимо, что великодержавная идеология нашего времени есть по существу контрреволюционная *идеология прямой защиты «великой и неделимой»*.

Кончаю. Идейное содержание работ Платонова, написанных после Октябрьской революции, в высшей степени незначительно, их методологический горизонт крайне узок. Надо прямо сказать, что никакой научной ценности эти платоновские работы не представляют. По существу все они являются лишь контрреволюционной исторической публицистикой.

---

[1] С. Ф. Платонов. Сокр. курс русской истории, 5-е изд., 1917, стр. 410—411.

П. Щеголев.

Товарищи, я буду говорить по докладу тов. Зайделя, причем, в виду моего согласия с общей концепцией, данной тов. Зайделем, я постараюсь не повторять того, что было сказано, а дополнить характеристику Тарле в части, касающейся его методологии и его общего исторического мировоззрения. Думаю, можно начать о методе, тем более, что на этом вопросе закончил свой доклад тов. Зайдель и кроме того в этой именно части доклад его подробного развития не получил.

Когда мы говорим о методе Тарле в узком смысле этого слова, понимая под методом совокупность приемов исторического исследования, то безусловно характерной представляется для Тарле установка на архивное сырье. Использование этого архивного сырья является для Тарле единственным критерием подлинной научности научной исторической продукции. Это можно проследить как по характеру всех исследовательских работ Тарле, так и по характеру преподавательской и лекторской деятельности, которую он вел после Октябрьской революции. Метод Тарле это метод ориентации исключительно на архивный материал, при этом архивный материал, который не был в обороте, или о котором исследователь думает, что он не был в обороте. Это последнее обстоятельство, как мы увидим дальше, играет немаловажную роль.

Первый вопрос, который я ставлю, будет такой: имеем ли мы тут техническую подробность, имеем ли мы просто результат личных вкусов данного историка, которому «нравится» архивный документ, или можно предположить, что эта установка не является случайной, что она связана со всем его историческим мировоззрением. Мы воспринимаем Тарле, как контрреволюционного буржуазного историка, и не случайны те приемы, которые имеются в его работах. Установка на архивное сырье имеет определенный политический смысл и становится понятной в свете общего отношения Тарле к марксистской историографии. Здесь уже приводился отзыв его о Меринге. В «Томасе Море» Меринг называется «историографом» в кавычках. Также пренебрежительно звучит отзыв о Каутском, который по словам Тарле скатывается к историографам вроде Меринга. Уже в ранних работах Тарле сказывается пренебрежительно-барское отношение к марксистской историографии. В дальнейших работах Тарле не только игнорировалась историческая марксистская литература, наших дней, но игнорировались и работы основоположников марксизма. Незнание Маркса привело Тарле к целому ряду конфузов, отмеченных в свое время рецензентами. Я имею в виду книжку «Европа от Венского конгресса до Версальского мира». Грубейшие ошибки фактического порядка, рассеянные в этой

книге, тесно связаны с игнорированием трудов Маркса и Энгельса. Что означало игнорирование марксизма со стороны Тарле в нашей обстановке? Оно означало игнорирование всей текущей работы советских историков-марксистов. Советские историки-марксисты, работающие в области западной истории, по целому ряду объективных условий редко имеют возможность обращаться к таким источникам, которые остались бы неизвестными буржуазным историкам. Если принять установку Тарле и следовать его директивам, то пришлось бы замкнуться в рамки исторического исследования, основанного на архивном сырье, что по сути дела означало полную иммобилизацию научной работы наших западников.

Другая сторона этого метода Тарле означала следующее. Как ставилось у него дело в отношении всей имеющейся буржуазной литературы? Снимался самый вопрос о критическом ее пересмотре, так что этого вопроса и возникнуть не могло. Установить ориентацию исключительно на архивное сырье — означало принять на веру все выводы, к которым до сих пор пришла буржуазная историческая наука. Эта ориентация, с другой стороны, означала изъятие из оборота всей имеющейся марксистской исторической литературы. Установка эта означала полнейшую иммобилизацию, означала, что по целому ряду проблем историческая марксистская наука призывалась к сложению оружия. Нужно ценить документ, а что не от этого архивного документа — это все пустяки, работа компилятора, использование досуга между серьезными занятиями. Серьезные занятия — это занятия обязательно в архиве. Вот что долгое время проповедывал нам Тарле, историк, который сам работал как будто исключительно над первоисточниками. Таков именно его внешний облик. На самом деле, как показывает детальный анализ приемов Тарле, мы имеем в этой научной установке определенный политический смысл и в то же время установка эта ни в коем случае не соответствует приемам работы самого Тарле. Тарле настолько «политический» человек, что все его работы преследуют актуальные политические задачи. Политическая установка, политический момент, вот что руководило им в его исследовательской работе. Политика для него самое основное. В этом смысле мы можем противопоставлять приемы Тарле приемам такого буржуазного историка, каким был покойный А. Н. Савин.

Если вы возьмете основные труды Савина, то вы увидите, что Савин повсюду дает нам богатый материал, приводящий однако к очень узким выводам. В пределах этих узких выводов Савин добросовестен и, пользуясь его работами, вы всегда можете быть уверены, что источники, положенные в их основу, разработаны с исчерпывающей полнотой. У Тарле же его архивная установка является псевдо-архивной установкой. Ее задача со-

здать видимость чрезвычайно большого багажа, создать завесу, под прикрытием которой даются затем совершенно определенные политические выводы. В обоснование этого положения позволю себе остановиться на приемах, характеризующих работу Тарле, как исследователя.

Начну с некоторых очень мелких примеров. Эти мелкие примеры все же характеризуют кухню, характеризуют ту черновую обстановку, в которой делались работы Тарле. Общий их дефект, как было уже указано тов. Зайделем, тот, что в них систематически игнорируются печатные источники и литература. Но дело этим не ограничивается. Можно предположить, что исследователь, не признающий никакой другой работы, кроме работы над архивным сырьем, научился за время своей работы обращаться с материалом, что он научился, по крайней мере, точно цитировать свои источники. Обзор работ Тарле показывает полную необоснованность подобного предположения. Начнем с курьезов. Во втором томе «Рабочего класса» Тарле довольно подробно останавливается на Бабефе. Я не буду здесь касаться концепции Тарле, она получила уже должную оценку в докладе тов. Зайделя. Меня интересует сейчас мелкая, на первый взгляд, подробность. Тарле дает справку о бабефовской газете, о «Народном трибуне». Справка эта гласит следующее:

С конца января 1795 до 24 апреля 1796 г. он издает газету «Le tribun du peuple ou le défenseur des droits de l'homme», которая является, как указывает подзаголовок, прямым продолжением предшествовавшей. Сохранена нумерация (первый № «Le tribun du peuple» помечен цифрою 29; пагинация тоже сохранена; первая страница новой газеты 259-ая, ибо последний № «Journal de la liberté de la presse» окончился 258-ою страницей.)[1]

В этом описании мы имеем, на самом деле, грубую ошибку. Первый № «Le tribun du peuple» на самом деле № 23, причем у него особая пагинация, а затем с № 27 начинается общая пагинация. Одно из двух, или Тарле не видел газеты Бабефа, или же он видел ее, но не дал себе труда вчитаться, спешно перелистал ее, затем также спешно написал. Как будто бы это мелочь. Но мы увидим дальше, что это штрих, характеризующий всю исследовательскую манеру Тарле.

Пойдем дальше.

Вскоре (в начале ноября 1793 г.) тот же принцип определения максимальных цен был приложен и к хлебу... Конвент решил, что необходимо предоставить местной администрации определять для каждого данного округа максимальную цену на хлеб, увеличивая в $1^1/_2$ раза цену 1790 г.[2]

Здесь, товарищи, неряшливость исследовательских приемов Тарле приводит к гораздо более серьезным последствиям. В са-

---

[1] Е. Тарле, Рабочий класс во Франции в эпоху революции, ч. II, стр. 507.

[2] Тарле, op. cit., стр. 307.

мом деле, Тарле к указанному месту делает ссылку на архивные фонды. Ссылка эта, в данном случае, совершенно неуместна. Для того, чтобы установить дату издания того или иного закона, совершенно достаточно извлечь соответствующую справку из «Монигера». Тарле предпочитает действовать окольными путями и допускает при этом ошибку ровно на один год. Указанное мероприятие конвента имело место в начале ноября не 1793, а 1794 года, т. е. уже в эпоху термидорианской реакции. Такая ошибка дает очень существенное искажение всей исторической перспективы. Вот вам второй пример частых у Тарле ошибок фактического порядка, накладывающих свой отпечаток и на стиль и на конечные выводы его исследований.

Перейду теперь к вопросу о фолиантах F^{12} 183 и F^{12} 184, хранящихся в национальном архиве, в Париже. Тарле писал, что он положил их в основу изучения действия закона о максимуме, и «их еще никто из исследователей не трогал, и нам даже не пришлось встретить ни разу какое бы то ни было, хотя бы беглое упоминание о них».[1] Достаточно беглого знакомства с содержанием этих фолиантов, чтобы убедиться в том, что Тарле, пуская в научный оборот их содержание, устранил все документы, свидетельствующие о том, что существовали те или иные организации, народные общества, революционные клубы, которые считали необходимым высказаться в пользу максимума. Он взял эти фолианты и совершенно обошел все, что могло противоречить его заранее установленной абсолютно предвзятой точке зрения на максимум. Итак, мы имеем систему исследовательских «приемов», которая характеризуется перерастанием научной недобросовестности в прямую фальсификацию. Обратимся к другому утверждению Тарле:

> Ни в национальной библиотеке, ни в архиве, мы не нашли в пользу максимума ни единой строчки, которая была бы написана *после* падения Робеспьера.[2]

Это суждение столь же определенно и категорично, сколь и ошибочно. Так называемая серия Рондонно (Рондонно — библиотекарь эпохи империи, создавший коллекцию печатных материалов, находящихся в национальном архиве; в память его коллекция эта называется «серия Рондонно») — вовсе не такой громоздкий фонд и количество книг и брошюр в ней вовсе не так велико, чтобы одному человеку нельзя было их осилить. Обращаясь к изучению серии Рондонно, вы находите в ней по меньшей мере еще 8 названий брошюр, написанных в защиту максимума после падения Робеспьера.[3] Эти брошюры игнорировались

---

[1] Тарле, op. cit, стр. 837.
[2] Ibidem, стр. 342.
[3] Подробности см. в моей работе «После термидора». Гл. III.

Тарле. Между тем, он не мог не знать, что в них заключено свидетельство того, что максимум поддерживался определенными общественными слоями, что он не повисал в социальной пустоте. Это есть по существу насилие над источниками, вызванное желанием подогнать их под определенную историческую тезу. О характере самой этой тезы я буду говорить дальше.

Приводившийся в докладе тов. Зайделя инцидент с работой Тарле о Томасе Море относится к началу деятельности Тарле. Можно было бы предположить, что Тарле учел полученный урок. Но я могу привести данные из самых последних лет деятельности Тарле, которые в столь же печальном свете показывают нам уровень его исследовательских приемов и степень его научной добросовестности. В сборнике «Из далекого и близкого прошлого» напечатана заметочка Тарле «Обращение Бентама к Александру I». Начинается она так:

Среди бумаг, опечатанных в 1826 г. в кабинете Александра I и попавших, в конце концов, в архив общей канцелярии министра финансов, я нашел: английское письмо Иеремии Бентама, неизвестное, насколько я знаю, никому из его биографов, не видел этого письма и покойный А. Н. Пыпин, посвятивший в свое время особый этюд русским отношениям Бентама.[1]

На другой странице дано изложение этого письма, начинающееся следующими строчками:

Государь, предмет этого обращения — предложение вашему величеству, касающееся отдела законодательства. Мой возраст шестьдесят шесть лет. Без поручения со стороны какого-либо правительства я проработал немного меньше пятидесяти лет в этой области...[2]

Итак налицо категорическое заявление: письмо неиздано, оно неизвестно английским историкам и покойному Пыпину, покойный Пыпин этого письма не видал. Но вы делаете простую вещь: раскрываете его книгу, читаете его статью об Иеремии Бентаме, статью «Русские отношения Бентама» и находите это письмо.[3] Этим дело не ограничивается; до Тарле это письмо было напечатано, по крайней мере, пять раз: один раз напечатал его сам Бентам, далее оно было напечатано в собрании его сочинений, потом Пыпин напечатал русский перевод в «Вестнике Европы», и затем два раза оно было воспроизведено в пыпинских «Очерках литературы и общественности при Александре I». А затем выступил Тарле и заявил, что Пыпин не видал этого письма, что вообще никто его не видал. Бентам написал письмо к Александру I в январе 1814 г. Для того, чтобы проверить возможность корреспонденции с такой высокой особой, он сперва

---

[1] «Из далекого и близкого прошлого», стр. 249.

[2] Ibidem, стр. 250.

[3] А. Н. Пыпин, Очерки литературы и общественности при Александре I. П. 1917, стр. 57.

адресовал письмо Мордвинову. Один раз он послал его Мордвинову, а другой раз уже непосредственно Александру. Письмо Иеремии Бентама к императору всероссийскому помечено январем, в январе письмо это дошло до Мордвинова, в мае — до императора, но письмо-то одно и то же. Вот его начало:

Цель этого письма состоит в том, чтобы представить вниманию вашего величества предложение относительно области законодательства. Мне шестьдесят шесть лет. Из них немного менее пятидесяти были на этом поприще без всяких поручений со стороны какого-либо правительства... и т. д.[1]

Итак это «неопубликованное» письмо было напечатано, по меньшей мере пять раз. Этот казус с Иеремией Бентамом показывает нам, что в лице Тарле мы имеем ученого, приемы которого являются, сплошь и рядом, недобросовестными и ненаучными. Это нужно заявить с полной категоричностью.

Перехожу от замечаний, которыми я пытался охарактеризовать метод Тарле, к характеристике методологии Тарле, к характеристике некоторых основных его воззрений на исторический процесс. В определенных кругах еще несколько лет тому назад Тарле расценивался как экономический материалист. Возьмите книгу Эрде «Историческая литература о девятом термидоре», только что вышедшую, и вы там найдете такую же характеристику. Правда у Эрде слова «экономический материалист» помещены в кавычках. Что сии кавычки означают — неизвестно. Так вот нужно сказать, что представление о Тарле, как об экономическом материалисте — представление неправильное. Тарле занимался экономическими вопросами, но экономическим материалистом его нельзя назвать. Если мы обратимся к таким работам Тарле, в которых нужно было освещать общие проблемы, то перед нами окажется историк-эклектик и, во всяком случае, идеалист. Обратите внимание на статью Тарле «Восстание Нидерландов против испанского владычества». Эта статья является пошлейшим либеральным лубком, выдержанным в духе либеральных историков. Тема эта сама по себе такова, что не надо быть историком-марксистом, а надо просто иметь некоторый нюх, чтобы понять экономический момент, обусловивший борьбу Нидерландов против испанского господства. Если бы Тарле был экономическим материалистом, он понял бы эту сторону. На самом же деле, в статье этой вы находите следующую дуалистическую и идеалистическую, по сути дела, концепцию:

Мотивы характера экономического и характера религиозно-нравственного уже с середины царствования Карла V обусловливали недовольство его нидерландских подданных.[2]

---

[1] Ibidem.

[2] «Книга для чтения по истории нового времени», т. I, стр. 301.

*

Итак картина получается совершенно определенная. С одной стороны религиозно-нравственные мотивы, с другой стороны — экономические. В дальнейшем вы встречаете абсолютно-идеалистическую трактовку причин нидерландской революции.

Карл V по отцу имел право на Нидерланды, а по матери имел право на Испанию, и только поэтому в тот момент, когда Карл унаследовал испанский престол, Нидерланды попали в зависимость от испанской короны.[1]

Итак сложнейший феномен первой половины XVI века — империя Карла V — это всего-на-всего случайный продук матримониальных комбинаций! Во всем этом нет и намека на какое-либо экономическое обоснование. На Карла V при этом население Нидерландов смотрело как на «своего государя» и поэтому терпеливо сносило все наборы и эксплуатацию «страны для совершенно ненужных или прямо враждебных ей предприятий». Но

у Карла V было умение привлекать и располагать к себе индерландцев некоторыми искусными (и ничего ему нестоившими) обычаями.[2]

Усиление недовольства «населения» Тарле связывает исключительно с религиозной политикой Карла и, в частности, с гонениями против реформации.

Причин победы буржуазной революции, по Тарле, было две. Впрочем о буржуазной революции Тарле нигде не говорит ни слова. Во-первых, «географические условия были всецело выгодны для Нидерландов», «во-вторых, Филиппу II-му мешали расправиться с Нидерландами соседние государства». В конце статьи обычная либеральная концовка:

Долгие страдальческие годы борьбы против Филиппа II никогда не забывались.., а Вильгельм Молчаливый до сих пор считается величайшим и любимейшим из национальных героев.[3]

Оказывается, Вильгельм Оранский — любимейший национальный герой. Вот вам и вся концепция нидерландской революции!

Я считаю нужным указать, что никакого материализма тут нет. Тут стопроцентный идеализм наряду с самым дешевым буржуазным либерализмом. Можно сказать, что это компилятивная работа. Но от этой компилятивной работы я позволю себе перейти к основному труду Тарле, к его «Рабочему классу».

Когда и почему появилась у Тарле эта тема, об этом уже говорилось в докладе. Совершенно не случайно этот сюжет появился у Тарле после пятого года. Какие темы вообще появляются у буржуазных историков после 1905 года? Выборгское воззвание дает, например, толчок работам Бутенко по истории либеральной партии в эпоху реставрации. Побитые кадеты обратились к изучению того, как реакционеры и в историческом прошлом били либера-

---

[1] «Книга для чтения», т. I, стр. 312.
[2] Ibidem, стр. 303.
[3] «Книга для чтения», т. I, стр. 330.

лов. Затем был поставлен на очередь дня вопрос об изучении рабочего класса в эпоху революции. Позволителен вопрос, была ли реакционна общая концепция Тарле в 1911 г., когда появился второй том его «Рабочего класса»? Думается, что на этот вопрос нужно ответить утвердительно. Почему? Потому что к этому времени налицо были работы жоресовской серии, которые, не являясь марксистскими, давали все же последовательно демократическое понимание французской революции. Труд Тарле по сравнению с трудом Жореса является реакционным в вопросах о мануфактуре, о максимуме и о политической роли рабочего класса. Между тем, сам Тарле буквально третировал Девиля и Жореса, как жалких диллетантов. не умеющих даже дать порядочной ссылки с шифром и номером. В «Рабочем классе» он нехотя говорит о Девиле и Жоресе. Но простое сопоставление работы Жореса-Девиля, с одной стороны, и Тарле с другой — показывает, что точка зрения Тарле была сознательно заострена против основной концепции Жореса и Девиля. Вызвал ли заговор Бабефа отклик в рабочей среде? Тарле утверждает, что не вызвал — и ставит на этом точку. А Девиль еще до Тарле говорил, что нельзя так говорить, что нужно хорошенько поискать в документах. Тарле же не пожелал посчитаться с этим указанием и поспешил выставить свою реакционную тезу. Реакционной является также установка Тарле и по вопросам о мануфактуре, о политической роли рабочего класса, о максимуме и о терроре.

В связи с вопросом о мануфактуре я должен сделать следующее замечание. В очень хорошей статье Далина в т. XIV «Историка-марксиста», посвященной «русской школе», имеется тенденция зачислить русскую школу по народническому ведомству. В частности такое утверждение делается относительно Лучицкого. Приводится целый ряд данных из его политической биографии, которые действительно дают нам возможность ставить такой вопрос относительно Лучицкого. У Лучицкого была определенная концепция экономического строя Франции в XVIII веке.

> Страна мелкого землевладения, мелкой культуры, Франция была до революции страной мелкого ремесла, а ко второй половине XVIII века и мелкого кустарного производства..., крупных предприятий здесь не встречается.[1]

Характеристика промышленного развития Франции накануне революции у Тарле является несомненным перепевом этой тезы. Безусловно, Тарле не был в данном случае сколько-нибудь оригинален, он просто шел за Лучицким. Но у него этот вывод получает совершенно иное преломление. Я считаю, что ни о каком народничестве, даже при наличии таких схем у Тарле, говорить,

---

[1] Лучицкий, Состояние земледельческих классов во Франции. 1912, стр. 27—28.

нельзя, и что влияния народничества тут не было. Налицо совершенно иной момент. Если для Лучицкого важно было кустарное производство само по себе, если важно было выдержанное в народническом духе противопоставление кустарного производства и крупной промышленности, то для Тарле этот экономический примитив нужен был для того, чтобы обосновать его излюбленную точку зрения на рабочий класс, как на класс, неспособный к самостоятельным политическим выступлениям. Народничество Лучицкого прошло у Тарле сквозь призму контрреволюционной, чисто буржуазной идеологии. Это привело к тому, что при всем формальном сходстве, мы имеем у Лучицкого и Тарле разные установки, имеем разные политические ориентации. В вопросах, касающихся развития мануфактуры, Тарле исходит из схемы Бюхера, и эта схема Бюхера довлеет над всей его концепцией. Классифицируя формы французской промышленности XVIII века, Тарле ставит прежде всего вопрос о том, «какой путь проходит продукт, вышедший из хозяйства производителя, пока он попадает в хозяйство потребителя». Это — бюхеровская постановка. Лишь во вторую очередь ставится вопрос о том, насколько был распространен наемный труд сравнительно с трудом самостоятельного производителя, работающего на свой счет. В данном случае Тарле пошел по пути буржуазных историков, по пути Бюхера и Гельда. Мы знаем, какую оценку Бюхеру дал В. И. Ленин. В «Развитии капитализма в России» Ленин пишет:

> Классификация, данная Марксом, более правильна и более содержательна, чем та распространенная в настоящее время классификация, которая смешиваст мануфактуру о фабрикой и выделяет работу на скупщика в особую форму промышленности.[1]

Так вот Тарле пошел не от Маркса, а от Бюхера. В классификации Тарле имеется ремесло — с прямой ссылкой на Бюхера, затем — домашняя промышленность, та домашняя промышленность, против которой категорически возражает Ленин. Домашняя промышленность, по Тарле, бывает четырех типов: во-первых, у производителя может быть прямая связь с рынком; во-вторых, связь с рынком устанавливается через посредника; третий тип — это связь, при которой сырье дается предпринимателем; и наконец, четвертый тип — это связь, при которой станки даются предпринимателем. Классификация эта насквозь эклектическая. В первых двух случаях за критерий берется рынок, в остальных дается другой критерий. Между тем это и является той схемой, под которую Тарле подгоняет свой конкретный исторический материал. Отсюда вывод о том, что преобладающей формой промышленности является домашняя промышленность, причем по Тарле домашняя промышленность четвертого типа, т. е., когда станки даются пред-

[1] Ленин, Соч., т. III, стр. 430.

принимателем, встречается сравнительно редко. Я думаю, что вопрос об экономической базе «старого порядка», поставленный в статье Далина, будет разрешен марксистской историографией и разрешен на основе решительного преодоления тарлевской концепции. Концепция эта кстати отразилась на работах ряда учеников Тарле и Кареева. Так Данини, занимавшаяся историей промышленности и торговли в провинции Дофинэ, пишет:

> В Дофинэ мы видели подтверждение вывода исследователя (Е. В. Тарле), что «чем беднее земля, тем более население прибегало к мануфактурной работе»... Промышленность существовала здесь прежде всего в форме сельской индустрии, типичной домашней промышленности, ремесла и кустарничества...
>
> Пронесшаяся над страной великая революция, — утверждает Данини, — нанесла удар промышленной жизни Дофинэ...[1]

И эта точка зрения Данини не случайна. Данини в данном случае просто формулирует, в упрощенном виде, один из основных тезисов Тарле об отрицательной роли революции в деле развития французского капитализма.

В свете этого тезиса можно понять и труд Тарле о континентальной блокаде.

Несколько слов о рабочем классе. В 1911 году историкам не приходилось уже открывать историю бешеных, не приходилось открывать историю жерминаля и прериаля. Все эти вопросы уже получили то или иное освещение. Был Жорес, был Девиль, был определенный круг исторических работ, где ставились все эти вопросы.

Жак Ру достаточно импозантно выглядит со страниц социалистической истории Жореса. Но вся работа, проделанная Жоресом и Девилем, грубейшим образом игнорируется в трудах Тарле. Тарле умудрился в своем «Рабочем классе» ни разу не упомянуть о бешеных, умудрился ни слова не сказать о жерминале и прериале.

Я не могу, правда, обойти молчанием того обстоятельства, что последняя работа Тарле была посвящена теме «Жерминаль и прериаль». Этот запоздалый поворот, однако, ни в коем случае не означал того, что Тарле сколько-нибудь понял, как ставятся в марксистской историографии вопросы изучения рабочего класса и рабочего движения. Значительная часть из вас помнит тот доклад, который читал Тарле о жерминале и прериале, доклад, в котором он не сумел поставить вопроса о руководстве, в котором он обнаруживал полнейшее непонимание движущих сил и всего характера этих движений. Доклад этот, кроме того, отличался присущим Тарле игнорированием литературы предмета и печатных источников. Если бы эта работа и была закончена, то мы все же

---

[1] «Из далекого и близкого прошлого», стр. 211—212.

не получили бы истории жерминаля и прериаля, а имели бы буржуазную фальсификацию истории этих движений парижского пролетариата.

Последний вопрос — вопрос о максимуме и о терроре. Тарлевская концепция террора совершенно ясна, совершенно очевидна. В предисловии к «Революционному трибуналу» Тарле указывает на наличие двух точек зрения на террор. Одна — грубо реакционная, резко отрицающая террор, другая — склонная по известным историческим мотивам этот террор оправдать. Тарле как будто склоняется к этой точки зрения, но вносит в нее одну немаловажную поправку. Нужно иметь в виду, что террор во французской революции был террором оборонческим, террором патриотическим.

Слова «революционер» и «патриот» были синонимами в те годы во Франции, и дикие жестокости террора в глазах темной массы были ответом на попытки иностранцев и «изменников» расчленить страну. [1]

Надо иметь в виду, что все это писалось в первой половине 1918 г., что все это имеет определенный политический смысл. Итак можно оправдать якобинский террор, как террор, направленный против внешнего врага, как террор патриотов. Это не что иное, как в скрытом виде выпад против классового террора нашей революции. Помимо подчеркивания патриотического значения террора во Франции, Тарле стремится подчеркнуть, что террор проводился не только для того, чтобы уничтожить внутреннюю политическую оппозицию, не только для того, чтобы установить железную диктатуру для отпора неприятеля, но и для того, чтобы обеспечить проведение максимума.

Воззрение Тарле на террор вытекает из враждебной, контрреволюционной позиции, занятой им по отношению к Октябрьской революции. Якобинский террор он принимает, лишь поскольку террор этот был патриотическим и покрывался оборонческими лозунгами. Весной 1918 г. выходит книга Тарле «Европа и Россия», посвященная памяти Шингарева и Кокошкина, а через несколько месяцев после этого появляется книга о революционном трибунале. Политическая ориентация Тарле в этот момент не нуждается, право, ни в каких комментариях.

Перейду теперь к «Континентальной блокаде», к той работе Тарле, которой мало касались в докладе. Чем была вызвана самая постановка данной темы? Тут имеются два момента: один момент, связанный с методологией Тарле, другой — с политикой. В 1912 г. исполнился столетний юбилей отечественной войны. Просматривая сейчас такие «либеральные издания», как «Отечественная война и русское общество», мы воспринимаем их как определенные этапы в обработке общественного мнения, в подготовке

[1] «Ревтрибунал», ч. 1, стр. 4.

его к борьбе с Германией. Читалось — «Наполеон», понималось — «Вильгельм II», читалось — «Франция», понималось — «Германия». Какая философия давалась в этих писаниях? А та философия, что подобно тому как некогда Наполеон стремился установить всеевропейскую гегемонию и эта попытка разбилась о сопротивление народа, — так и в будущем могут быть новые попытки установить всеевропейскую гегемонию и попытки их заранее обречены на неудачу.

Вот политическая атмосфера, в которой проходил юбилей 1812—1815 гг. Юбилей этот проходил в Германии совсем запросто. Надо было просто обработать историческую традицию. Для русских историков вопрос был гораздо сложнее. Надо было считаться с тем, что союзник — Франция, а враг — Германия. Все было поставлено на голову и надо было выходить из этого положения. «Вот Гегель и книжная мудрость и смысл философии всей».

Откуда же интерес к континентальной блокаде? Что должна была продемонстрировать теза о «континентальной блокаде»? А то, что один раз попытка создать всеевропейскую гегемонию уже потерпела неудачу. Прежде всего это была попытка одеть обруч на Европу. Обруч этот был взорван изнутри имманентными экономическими силами. Такая же судьба ждет и впредь всякие попытки установить всеевропейскую гегемонию. Как и тогда, она должна будет рухнуть. Но теперь роль Франции перешла к Германии. Это один момент.

Второй момент — так сказать, методологического порядка. Я говорил уже, что Тарле не был экономическим материалистом. Почему? Потому что вульгарный экономический материализм знает одну экономику, игнорирует классовую борьбу, игнорирует роль надстроек, но все же экономика у него на первом плане. Что касается до Тарле, то у него на первом плане личность Наполеона. Его интересует антитеза сильной личности и экономики. Никакого анализа того, чем была империя, никакого анализа того, на какие классы она опиралась, никакого анализа того, чем было в классовом отношении то явление, которое названо Наполеоном — там нет. Слышавшие университетские курсы Тарле помнят его тягу к сильным личностям. В его курсах были патетические моменты в особенности, когда дело доходило до Бисмарка и до его душевных переживаний, и дня битвы под Садовой, когда Бисмарк носил в кармане револьвер и готовился пустить себе пулю в лоб, если австрийцы побьют пруссаков. Бисмарк — излюбленный сюжет тарлевских курсов, так же как и Наполеон. И Наполеон для него, прежде всего, сильная личность, которая противопоставляется экономическим факторам, противопоставляется экономике. В конце концов экономика его добивает, его приканчивает. В 1921 г., в память столетия со дня смерти Наполеона,

Тарле читал лекцию (дело было в Доме литераторов), в которой он пытался доказать, что Европе сейчас нужен новый Наполеон. Эту надобность он обосновывал следующим образом. Наполеон это большая отрицательная величина, величина со знаком минус, человек, который пронесся как буря над Европой и оставил по себе одни обломки. Почему Европа чествует память Наполеона? Да потому, что она ищет такой же величины, но со знаком плюс. Если появится такой Наполеон со знаком плюс, тогда все европейские проблемы найдут свое разрешение.

Такая установка Тарле привела его к тому, что его труды печатались в органе «Napoleon», руководимом бандой последышей бонапартизма и 2-й империи. Во Франции есть такая вымирающая группировка, состоящая из правнуков всяких маршалов, есть и ученые лакеи на содержании у этой банды — они исследуют вопросы о каретах Наполеона, о его лошадях, об его болезнях, об его любовницах и т. д. Основные выводы, данные Тарле в его «Континентальной блокаде», совпадают с тем, что он писал в «Рабочем классе».

Попрежнему, — утверждает Тарле, — огромную роль играет домашняя промышленность. Попрежнему существеннейшее значение имеет деятельность деревни, попрежнему в самых промышленных департаментах производством заправляют сплошь и рядом не столько фабриканты и заводчики в теперешнем смысле слова, сколько *купцы заказчики.* [1]

Исключение Тарле делает только для хлопчатобумажной промышленности. Таким образом изучение эпохи империи приводит Тарле к тем же выводам, что и изучение «старого порядка». Разница тут та, что до «Континентальной блокады» марксистская критика еще не добралась, что ею никто вплотную не занимался. Зная по опыту исследовательские приемы Тарле, зная исключительную его тенденциозность, мы вправе отнестись с сугубым недоверием к выводам «Континентальной блокады». Тайна англо-французского конфликта, тайна наполеоновских войн остается у Тарле не раскрытой. Даже буржуазные историки в роде покойного А. Н. Савина, оспаривали обоснованность основных представлений Тарле о ходе экономического развития Франции.

Теперь, — писал Савин, — в литературе преуменьшают роль крупного производства во французском хозяйстве. Она больше, чем изображают ее скептически настроенные исследователи в наши дни. [2]

Французский историк Балло, в противоположность Тарле, отодвигает на времена первой империи эру промышленного переворота. Тезис Балло также ошибочен, но все же мы вправе опереться на Балло и использовать его работу для преодоления концепции Тарле. И Тарле и Балло характерны для современной

---

[1] Е. В. Тарле, Континентальная блокада, стр. 682.
[2] А. Н. Савин, Век Людовика XIV, стр. 134.

буржуазной историографии. Она или не видит капитализма там, где он представлен мануфактурой, или же, наоборот, находит фабрику, находит машинную индустрию там, где ее нет. Об этих двух уклонах стоит поговорить отдельно. Во всяком случае мы на базе работы Балло можем бить Тарле.

Я хотел бы еще сказать несколько слов о политическом значении нашей дискуссии и о том участии, которое в этой дискуссии каждый из нас принимает. Когда ставится вопрос о Тарле и о других буржуазных историках, имеются в виду не только они одни, но и их окружение, их школы. Я упоминал здесь имя Данини, которая обосновала на материалах по истории Дофинэ основную тезу Тарле. Могу указать на целый ряд других примеров. Возьмите Н. И. Кареева. Кареев выступал с целым рядом рецензий во французских журналах, в частности в «Revue historique». Мы встречаем в этом журнале рецензии Кареева на книгу Сказкина, на книгу Попова-Ленского. Попов-Ленский написал в свое время книгу о Барнаве, получившую ряд хвалебных отзывов марксистской критики. Затем, он написал книгу о Лильборне, в которой развил то положение, что в английской революции народные массы никакого участия не принимали. Это была революция, которя обошлась без бунтов, без крестьянских выступлений и проч. Кареев похвалил Попова-Ленского, — это понятно. Но что его похвалили в нашей прессе, — это никуда не годится. Кроме Данини и Попова-Ленского следует упомянуть также Петрова и Бирюковича. Итак, перед нами целая плеяда эпигонов русской школы. Это оказывается, школа, давшая кое-какие пароли, продолжавшая цвести в послереволюционный период. Внутри этих школ, внутри этих окружений, которые имелись в буржуазном университете, в буржуазной литературе, должны были начаться процессы дифференциации. В докладе т. Зайделя упоминалось, что я участвовал в «Анналах». Факт моего участия в «Анналах» и в сборнике «Из далекого и близкого прошлого» относится к тому времени, когда я субъективно и объективно находился вне лагеря революционного марксизма. Это факт, который я ни в коей мере не могу и не хочу отрицать. Но дальнейший мой путь, путь, начавшийся в 1923 — 24 г., был путем научного политического разрыва с окружением Тарле, а затем и с ним самим. Правда, против Тарле мне приходилось выступать вполголоса. Я не выступал так, как нужно было выступать, я не говорил полным голосом. [1] Но все же мне приходилось выступать и по вопросу о максимуме, и по вопросу о мануфактуре. Но эти отдельные выступления, которые должны были бы привести меня к решительному разрыву с Тарле, тормозились

[1] Еще в 1928 г. я поместил в «Историке-Марксисте» апологетическую рецензию на работу Тарле «Le blocus continental et le royaume d'Italie». От этой и содержащихся в ней оценок книги Тарле приходится теперь решительно отмежеваться.

тем обстоятельством, о котором говорил здесь т. Зайдель. Реакционная сущность Тарле была завуалирована его тематикой и его псевдомарксистской фразеологией. В этих условиях разрыв с Тарле оказался делом чрезвычайно болезненным, чрезвычайно трудным. Более того, пребывание в школе Тарле, пребывание в окружении русской школы не могло не наложить определенный отпечаток на ряд моих работ, не могло не быть чреватым крупными ошибками методологического и даже политического порядка.

Я думаю не ограничиваться формальным признанием своих ошибок, поскольку сейчас это немногого стоит, а дать в известной степени историю этих научных ошибок и, попутно с этим, проанализировать, под влиянием каких концепций складывались эти ошибки и каков был процесс их критики и изживания.

Надо начать с указания на то, что основная моя ошибка по вопросу о движущих силах и об историческом значении 9 термидора несомненно связана с отражением схем и исторических концепций русской школы. Эта русская школа, представленная Лучицким, Кареевым, Ковалевским, Тарле, оказала, вообще, несомненное влияние на работы историков-марксистов. Прямое и косвенное влияние русской школы и отдельных ее представителей является одним из основных источников целого ряда извращений марксизма на западном участке нашего исторического фронта.

Остановлюсь сначала на вопросе о характеристике экономического строя дореволюционной Франции, дававшейся русской школой и основанной на полном игнорировании марксистского учения о мануфактуре и на исторически неправильном изображении Франции, как страны мелкой, деревенской промышленности. Концепция эта оказала длительное влияние и на марксистскую историографию, Беру, чтобы не быть голословным, свою собственную работу о Бабефе.

Как правило, — читаем мы в этой работе, — Франция XVIII века — страна домашней промышленности, разбросанной преимущественно в сельских округах, страна мелкого производства.[1]

Это есть не что иное, как полное перенесение в данную работу концепции русской школы, которая, как я уже сказал, ведет свое начало от схемы Бюхера. Таким образом преломленная через работы русской школы схема Бюхера нашла преломление у целого ряда историков-марксистов, писавших о французской революции. Схему эту мы находим, в частности, в известном учебнике Я. М. Захера.

Нам уже приходилось отмечать, — пишет Захер, — что, хотя во Франции XVIII в. мануфактуры в точном смысле встречались сравнительно редко, но уже намечался переход от ремесла к мануфактуре и таким переходным моментом явилось как раз то, что в то время называли «мануфакту-

---

[1] П. П. Щеголев, Заговор Бабефа, стр. 10.

рами», т. е. крупные конторы, раздававшие сырье и орудия производства более или менее значительному количеству рабочих. [1]

Здесь налицо явное непонимание сущности мануфактуры по Марксу. Мануфактура берется в кавычках, подлинной мануфактуры у Захера нет.

Естественным шагом в дальнейшем развитии этого процесса должно было явиться появление мануфактур в подлинном смысле слова (?). [2]

Это, товарищи, ухудшенное издание русской школы; под мануфактурой подразумевается исключительно централизованная мануфактура, причем искусственный рост мануфактуры противопоставляется органическому росту мелкого производства. Мы имеем даже определенные указания Захера на то, что

несмотря на все старания правительства содействовать развитию крупной промышленности, предприятия с числом рабочих в 600—1000 человек попадались лишь в виде исключения. [3]

Обратимся теперь к последней работе Я. М. Захера о бешеных, чтобы показать, как длительно и настойчиво следует он традициям русской школы. Об этой работе мне еще придется говорить в дальнейшем, сейчас отмечу только следующее место:

В эпоху Великой французской революции значительную часть их (рабочих) составляли не индустриальные рабочие, а рабочие домашней промышленности. [4]

И тут налицо Бюхеровская домашняя промышленность, каковая и противопоставляется, с одной стороны, ремесленным цехам, с другой стороны, капитализму. В этом случае Захер идет от своих прежних установок. Мы имеем у него также определенную схему, по которой бешеные отражают, во-первых, мелких ремесленников (это явно реакционно), затем рабочих домашней промышленности и наконец индустриальный пролетариат — это прогрессивно. Рабочие домашней промышленности, по Захеру, объективно реакционны. Из неправильного определения «домашней промышленности» следует неправильный вывод об объективной реакционности рабочих этой «домашней промышленности». Мы имеем здесь типичный пример того, как некритическое заимствование от буржуазной исторической школы приводит к целому ряду грубых ошибок, приводит к неправильной характеристике экономического строя Франции в целом. Историк-марксист должен исходить из ленинского «Развития капитализма в России». Изучение Ленина должно стать исходным пунктом для анализа эко-

---

[1] Я. М. Захер, Великая французская революция. Изд. 4-е., стр. 18.
[2] Ibidem, стр. 15.
[3] Ibidem, стр. 16.
[4] Я. М. Захер, Бешеные, стр. 33.

номической структуры дореволюционной Франции. Всякое же следование за русской школой приводит к целому ряду важнейших ошибок.

После работы о Бабефе я перешел к изучению эпохи Бабефа в целом. Я должен упомянуть здесь об установке Тарле по вопросу о максимуме. Схема максимума, данная в работе Тарле, часто критиковалась. Я упомяну тут о том, каким образом неправильный подход к критике Тарле привел меня к целому ряду ошибок. Для Тарле характерна та периодизация, которую он дает истории рабочего класса в эпоху революции. Каковы основные периоды этой истории? Их два: период до отмены максимума и период после его отмены. У Тарле 9 термидора не образует никакого водораздела, никакой грани. По Тарле последний всплеск политической активности рабочего класса — это свержение Жиронды. Дальше начинается абсолютная апатия, начинается ставка, то на Робеспьера, то на термидорианцев — основные же этапы в истории пролетариата даны принятием максимума и его отменой.

Критикуя Тарле и нужно было делать упор на том, что он совершенно не понимает сущности переворота 9 термидора, ограничиваясь указанием на то, что конвент после 9 термидора не похож на конвент до 9 термидора.

Таким образом надо было начинать критику Тарле с того, что 9 термидора является переломным пунктом в истории революции и истории рабочего класса. Вместо этого я обратил усиленное внимание на критику материального содержания, которую вкладывал Тарле в свою концепцию максимума. Эта концепция враждебна марксизму и противоречит всем фактическим данным. Критикуя ее, надо было показать, что максимум не был экономически бессмысленным экспериментом, надо было показать, что он охранял интересы рабочего класса как потребителя. Все это я и проделал, оказываясь в то же самое время в плену той периодизации, которую дал сам Тарле.

Тарле говорил, что на всем протяжении максимум был вредоносен, вредил рабочему классу, вредил промышленности, а я доказывал противоположную точку зрения. Я доказывал, что максимум был нужен, целесообразен, рационален, что он помог рабочему классу — вот в чем была моя установка. Это было голое противопоставление одной точки зрения другой, с сохранением тарлевской периодизации. Это я считаю важным пунктом, на который нужно обратить внимание, потому что мы имеем дело с продолжением этой тарлевской периодизации. Таким образом я и пришел к определенным выводам о сущности и движущих силах 9 термидора, которые я изложил в своей статье 1927 г. в «Историке-марксисте». Я хочу еще раз сказать, как я понимал тогда дотермидоровское перерождение. Я считал тогда, что якобинцы перерождаются в целом, но различными темпами — одни быстрее,

а другие медленнее, и те, которые не успевают достаточно быстро переродиться, попадают под действие машины доктора Гильотена. Поворотным пунктом революции при этой схеме могло быть только падение эбертистов. От падения эбертистов идет один сплошной отрезок, завершающийся ликвидацией якобинского клуба и восстановлением жиронды. Важно отметить, что факты, которые я наблюдал в своей статье, были правильны, потому что максимум действительно был отменен не сразу. Это правильное наблюдение ряда фактов сопровождалось однако неуменьем правильно оценивать их, а это неуменье вытекало из того, что я был в плену у тарлевской периодизации, о чем я говорил ранее. Таким образом я представлял себе в 1921 г. до-термидорианское перерождение. Сейчас для меня совершенно ясно, куда объективно вела эта моя «теория». Она вела к буржуазно-реставраторской публицистике нашего классового врага — пресловутого Устрялова.

Вот, товарищи, основная ошибка, к которой меня привело неуменье порвать с русской школой и с концепцией Тарле. Получилось скатывание к «устряловщине». Я пытался дать характеристику того, как русская школа, в данном случае Тарле, несмотря на мое субъективное желание разгромить его концепцию максимума, своей периодизацией привела меня к тяжелым ошибкам в вопросе о термидоре. Я должен сказать, что речь не идет об изолированном влиянии Тарле на меня одного. Воззрение Тарле нашло свое определенное отражение и в концепции Захера о 9 термидоре и терроре. Для того, чтобы говорить по этому поводу, я должен поставить вопрос о том, как Тарле представлял себе самый переворот 9 термидора и его канун.

Правда, никакой сколько-нибудь законченной концепции по вопросу о 9 термидоре у Тарле как будто и нет. Однако не подлежит сомнению, что якобинскую диктатуру он воспринимает как диктатуру, идущую на перерез решительно всем классам тогдашнего общества. Экономическая политика якобинцев воспринимается Тарле как эксперимент, против которого восстает «весь уклад экономической жизни европейского человечества. . .» [1]

Диктаторы бессильны «в области экономического строительства». Ими руководят всего-на-всего «хозяйственные интересы государственной власти. [2] Самый максимум для Тарле это продукт «века рационализма, века веры во всесильное и всеустрояющее законодательство». Понятно, что при подобной точке зрения террор, по Тарле, не носит классового характера. Он бьет и по землевладельцу, и по торговцу, и по рабочему. Сложнейшие перепетии классовой борьбы весны 1794 г. находят у Тарле объяснение в личных столкновениях лидеров борющихся партий.

[1] Тарле, Рабочий класс, т. II, стр. 340.
[2] Ibidem, стр. 330.

Один из популярнейших демагогов (sic!) среди революционно настроенных кругов, Эбер... навлек на себя гнев Робеспьера.[1]

С одной стороны Тарле как будто готов признать, что «падение Робеспьера... было моментом крутого перелома в истории Франции», с другой же стороны 9 термидора является вехой лишь поскольку оно вызвало отмену максимума. Нет также сомнения, что 9 термидора для Тарле событие спасительное, выводящее страну из тупика, в который ее загнал Робеспьер. Самый же Робеспьер оказывается у него, накануне термидора, в атмосфере полнейшей социальной пустоты. Обращаясь теперь к работе Я. М. Захера «9 термидора», мы встречаем ряд формулировок, обнаруживающих несомненное влияние тарлевских установок.

При таком положении вещей, когда все классы общества одинаково тяготились диктатурой якобинцев... крушение диктатуры робеспьеристов было абсолютно неизбежным. Малейшего дуновения ветерка было достаточно чтобы нарушить равновесие.[2]

Я считаю, что самое сближение термидора с дуновением ветерка достаточно рискованно, но дело, конечно, не в дуновении, а в полнейшем игнорировании классового характера якобинской диктатуры, в полном переходе на точку зрения, проводившуюся Тарле в его «Рабочем классе». Любопытно, что у Захера встречается категорическое утверждение о «полном, внутреннем перерождении монтаньярской партии» весной 1794 г. В дальнейшем оказывается, что экономическая политика якобинцев вызывала сильнейшее возмущение

не только старой буржуазии, но и выросших во время революции новых богачей, которые до того не за страх, а за совесть поддерживали якобинское правительство.[3]

Таким образом, по Захеру, был период, когда нувориши поддерживали Робеспьера! Несообразность этого положения совершенно очевидна. Во всех этих высказываниях чувствуется несомненное влияние Тарле и его концепции. Таким образом Я. М. Захер, выступавший в 1927 г. с критикой, во многом верной в отношении меня, Добролюбского, Фридлянда и других выступавших в роли защитника ортодоксии, сам давал формулировки, не имеющие ничего общего с марксизмом.

Переворот 9 термидора, — пишет Захер, — был одобрительно встречен всеми классами французского общества.[4]

Из всей его концепции явствует, что термидор и последующая за ним диктатура крупной буржуазии сыграли прогрессивную

---

[1] Ibidem, стр. 332.
[2] Я. М. Захер, 9 термидора, стр. 18.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, стр. 127.

роль. Для Я. М. Захера характерно вообще, что всякий антикапитализм им толкуется буквально и что от наличия антикапиталистической тенденции он спешит сделать вывод об «объективной реакционности» того или иного движения. В новейшей работе о бешеных они, например, объявляются объективно реакционными на том основании, что в их программу «входило требование ограничения накопления крупных состояний».[1] Такая формулировка должна быть решительно отвергнута нами как антимарксистская.

Теперь нужно вернуться и к моей теории, с которой я выступил в 1927 году.

Надо поставить вопрос: была ли изжита эта концепция к моменту, когда я начал работать над моей книгой «После термидора»? Я припоминаю свой доклад о максимуме, который я делал в самом конце 1929 года. Я там эту точку зрения выражал необычайно резко. Я заявил, что вантозовские декреты — это сплошное жульничество и т. п. Это говорит о том, как я тогда подходил к этой проблеме. Нужно сказать, что только в процессе писания книги у меня явилось желание критически пересмотреть эту концепцию, явилось желание отбросить наиболее одиозные формулировки. Эта попытка была внутренне обречена на неуспех. Если человек имеет определенную концепцию и, не разделавшись с ней, пишет работу, то он никак не может вытравить ее следов.

Поэтому, когда речь идет о неудачных формулировках, то формулировки эти в книге являются не просто неудачными, они являются органической частью старой моей концепции. Возьмем, например, характеристику экономполитики. Здесь, например, у меня прямо говорится о линии якобинской политики, «с весны 1794 г., твердо ориентировавшейся на зажиточные слои городской и деревенской буржуазии».[2]

Я считаю, что эта мысль в высшей степени отчетливо выражает мою старую точку зрения, по которой падение эбертистов является решающим поворотом в истории Французской революции.

> 9 термидора скользит по поверхности, не оставляя никаких следов. Для всей истории максимума 9 термидора вообще не образует никакой вехи.[3]

Эта точка зрения сказалась и в моей концепции максимума.

Это, товарищи, очень резкая формулировка, которая показывает, что в момент писания этих самых ответственных глав я, по сути дела, со старой концепцией не порвал. Я может быть и старался отделаться от наиболее одиозных формулировок, но я стоял на своей старой точке зрения, когда писал эти главы. Но дело не

---

[1] Я. М. Захер, Бешеные, стр. 34.
[2] П. П. Щеголев, После термидора, стр. 61.
[3] Ibidem, стр. 74.

только в отдельных формулировках, дело в том, что мы имеем в самой конструкции книги доказательство того, что эта старая концепция довлела надо мною. Обращаю ваше внимание на то, что по этой книге выходит, что мелкая буржуазия снимается со счета не 9 термидора, а 22 брюмера. Таким образом получается совершенно неправильное освещение всего первого этапа реакции. Нужно сказать, что после 9 термидора у власти стоит крупная буржуазия, начинается буржуазная реакция. А у меня 9 термидора в борьбе нуворишей и мелкой буржуазии не образует решающей грани, грань эта дается лишь ликвидацией клуба якобинцев. Ликвидация клуба незаслуженно выпячивается в моей книге.

Таким образом эта периодизация извращает сущность первых месяцев термидорианской реакции, что объективно приводит к смазыванию контрреволюционной сущности 9 термидора.

Кто же в таком случае был разбит 9 термидора? Здесь нужно обратить внимание еще на один момент, момент отождествления в моей книге робеспьеристов с левыми термидорианцами. Получается так, что независимо от того, что произошло 9 термидора, робеспьеристы продолжают быть тождественны с левыми термидорианцами, продолжают выступать против нуворишей — происходит борьба и только 22 брюмера и возвращение жирондистов означает приход к власти крупной буржуазии. Вопрос очень небольшого промежутка времени, но он имеет кардинальное значение для правильной оценки 9 термидора.

Все равно, будете ли вы выпячивать момент гибели эбертистов или момент ликвидации якобинского клуба или возвращение жирондистов — все равно во всех этих случаях вы будете иметь дело с смазыванием контрреволюционной сущности 9 термидора. Таким образом вы видите, что, сделав раз ошибку, я выкарабкаться из нее никак не мог. Я оставался в том же кругу ошибочных представлений и суждений.

Дальнейшая критическая попытка была сделана мною в декабрьском докладе и в тезисах о 9 термидора. Здесь от «перерождения остался маневр», «первый» маневр якобинцев, в течение весны 1794 года. Вопрос надо поставить так: что же в этом маневре было такого, что его принципиально отличало бы от перерождения? Фактически вся система аргументации, которая развивалась мной в докладе, была, по сути дела, той же самой аргументацией, которая обосновывала, до поры до времени, теорию перерождения.

В конце концов политика весны 1794 г. оказалась правой, хотя и вели ее робеспьеристы, не потому, что сами переродились, а потому, что это была их линия поисков средств к восстановлению разрушенных производительных сил.

В свое оправдание, товарищи, я должен указать, что никакая новая теория, никакой отказ старой теории не может произойти

по мановению ока. Никакая концепция термидора не может явиться неожиданно, как Паллада из головы Юпитера. И, вместе с тем, я должен решительно подчеркнуть ошибочность основной установки моего доклада. Говорить о «правом маневре» конечно нельзя точно так же, как нельзя говорить о «маневре» по отношению к вантозовским законам. Мы имеем весной 1794 г. ситуацию, которая характеризуется окончанием гражданской войны и постановкой перед революцией целого ряда совершенно новых задач и новых проблем. В плане постановки этих задач и проблем начинается осуществление новой якобинской политики, причем вантозовские законы ни в какой степени не являются продуктом какого-либо тактического маневра, а являются выражением последовательной линии мелкобуржуазной диктатуры.

Я не вижу впрочем никакого основания, чтобы делать из вантозовских законов и из посвященных им работ Матьеза те выводы, к которым пришли Старосельский и Фридлянд.

В связи с докладом т. Зайделя уместно было говорить только о том уклоне в изучении эпохи французской революции, который прямо или косвенно связаны с «русской школой», с ее антимарксистскими, контрреволюционными установками. Но мы не должны ни на минуту забывать о существовании и других уклонов. Культивировавшееся у нас некритическое отношение к работам Матьеза привело ряд авторов к явно антимарксистским положениям о роли мелкой буржуазии, как носителя «социальной революции», об «аграрной утопии» и т. п. Наконец мы имеем также определенные перепевы схем социал-фашиста Кунова и т. д.

Не случайно, конечно, что вопрос о всех этих уклонах выплыл с небывалой остротой именно на данном этапе нашего политического развития, этапе, который вместе с тем должен явиться моментом поворота на историческом фронте. Для меня совершенно ясно, что участвовать и быть активным строителем в момент этого поворота на историческом фронте может только тот, кто совершенно ясно осознал необходимость научного разгрома Тарле. Я не хочу думать, что настоящим обменом мнений мы эту задачу окончательно разрешим. Мы должны Тарле побить научно, идя всевозможными путями, путями черновой работы, путями проверки фактов, проверки ссылок. Мы должны его бить методологически и политически, мы должны это дело во что бы то ни стало завершить тем более, что Тарле писал не только о том, о чем я здесь говорил. Работы Тарле захватывают весь XIX и XX века. Этот момент должен быть осознан всеми историками-марксистами, и, в первую голову, небольшая группа беспартийных историков-марксистов должна осознать, что дальнейший путь марксистской исторической науки идет через полный разгром того идейного наследия, которое оставили после себя буржуазные историки Запада в СССР Тарле, Кареев, Петрушевский, Бузескул и др.

Я высказываю надежду, что это наследие буржуазных историков, многие из которых неминуемо оказались в стане вредителей на историческом фронте, участников контрреволюционных заговоров, мы раз навсегда сметем силами марксистской историографии.

С. Валк.

Я думаю, что те доклады, которые были здесь прочитаны, в частности я буду говорить по поводу доклада т. Цвибака, а не по докладу т. Зайделя, подводят итоги историческому развитию и мировоззрению многих школ историографии. Это касается и той школы, из которой я вышел, и этот вопрос я хотел бы рассмотреть. Это — школа Лаппо-Данилевского. На этом разрешите остановиться: на характеристике самой школы и на том отношении, которое она имела к другой школе, затронутой в докладе, к школе Платонова.

То, что называют школой Лаппо-Данилевского, возникло далеко не случайно, и является результатом некоторого историографического развития. Дело обстояло у нас так же, как и на Западе, потому что процесс историографического развития очень часто повторял у нас то, что было пройдено на Западе. Если взглянуть на западную историографию, то можно заметить, что революция 48 года положила большую грань в ее развитии. Если до 48 года там имеется ряд крупных историографических построений, то 48 год кладет грань в том отношении, что буржуазная историография, которая развивается на Западе теперь, резко отличается от предыдущих построений. На Западе начинает фигурировать другой тип исследований, такой тип, который охватывает в лучшем случае какой-нибудь отдельный факт, но чаще еще менее: это то, что можно наблюдать по ряду специальных исследований, которые в большей мере изучают не столько исторические явления, сколько изучают исторические источники, а до изучения исторических явлений они не доходят. Построение историографических схем, которые характеризуют вторую половину века западной историографической буржуазной эпохи, вы назовете историей разложения, ибо по существу, какие бы ни были в них заложены политические тенденции, выше указанного они не поднимаются.

Наша историография имеет в этом отношении определенную аналогию: я назову имена, которые были названы, но в несколько другой связи. У нас в России крупные историографические построения были созданы в первой половине XIX века. Они упоминались: это построение, которое называется славянофильским, и другое построение — построение Кавелина и Соловьева. То, что сделала на Западе революция 48 года, то сделало революционное движение 60-х годов у нас. После

60-х годов у нас складываются три историографические струи. С научной точки зрения их можно характеризовать социально-политически: они сводятся к трем социальным группировкам. Тогда создается теория Щапова, которая характеризует собой мелкобуржуазную, в будущем народническую историографию, в составе которой создаются построения Семевского и др. Наряду с этим теория Ключевского, буржуазно-либеральная, берет начало из тех же 60-х годов. Вот два течения — буржуазное и мелкобуржуазное построения. Но та третья социальная группа, которая держала в своих руках историографию до 60-х годов, она эволюционирует в данный момент очень любопытно. Она идет по пути, по которому пошла на Западе буржуазная историография. Бестужев-Рюмин посвящает свою диссертацию вопросу: «О составе русских летописей», а затем, приступив к общему изложению «Русской истории», обстоятельнейший отдел отводит обзору источников. Что это — дело не случайное, показывает следующий факт. Один из учеников Бестужева-Рюмина, покойный Вас. Ив. Семевский, рассказывал мне, что Бестужев-Рюмин дал ему в качестве кандидатской работы такую работу по изучению одной из летописей, какую он давал всем своим ученикам. У Семевского интереса к этой работе не было: он кончал университет в 1872 году, когда народническое движение было на известном подъеме, и тогда уже задумал свою книгу о крестьянах. И Семевский изменил тему своей кандидатской работы, но не изменил ее постановки. Зная, что он будет заниматься крестьянами в эпоху Екатерины II, Семевский темой взял источниковедческий же вопрос: «Сказания иностранцев, как источник для екатерининской России».

Итак, та струя в русской историографии, которая отказывается от исторических построений и которая останавливается либо на темах, касающихся вопросов источниковедения, она налицо у Бестужева-Рюмина и характеризует его деятельность.

Сподвижник Бестужева-Рюмина по кафедре русской истории — Замысловский — не пошел даже так далеко, как Бестужев-Рюмин. Если возьмете его диссертацию о «Царствовании Федора Алексеевича», то там даже нет изучения источников, а есть лишь некоторые библиографические данные с критическими замечаниями. Есть еще имя, сыгравшее крупнейшую роль для историков, у которых нам пришлось учиться. Это имя известнейшее — Васильевский, который был специалистом-византинистом. Когда один из его друзей писал некролог Васильевского, ему пришлось оправдывать Васильевского именно от упреков «в исследовании лишь специальных вопросов» и уклонении «от трудов более общего содержания, которые могли бы интересовать так называемую большую публику».

Вот та струя, в которую историография попала на Западе и

в которую она попала и у нас. Это одно из течений историографии, которое до сих пор оставалось в тени.

Когда я хочу охарактеризовать школу Лаппо-Данилевского, именно с этим течением русской историографии приходится считаться. Его можно характеризовать как течение в известной мере упадочное, отклоняющееся от исторических построений, уходящее в ряд мелких работ. То, что было характерно для этого течения русской историографии — это отчасти подойдет и к тому, что мне придется говорить о Лаппо-Данилевском, потому что в этой струе дворянской историографии стоит и Лаппо-Данилевский. Если вы попытаетесь охарактеризовать его историческую теорию, то окажется, что он был в некотором роде эпигоном западничества, как Бестужев-Рюмин — эпигон славянофильства. Старое течение Кавелина и Градовского было изжито и характерно для Лаппо-Данилевского, что он в отношении построения историографической теории заходил в тупик и из этого тупика историографического выхода не было. Собственно это есть тот тупик, из наличия которого возникло то, что называют школой Лаппо-Данилевского. Так как Лаппо-Данилевскому история не удавалась, то для него было два выхода: один выход в область чистой философии, другой выход — в сторону методики и техники исторического исследования. Надо сказать, что Лаппо-Данилевский испробовал оба выхода — и первый и второй. Они были у него резко отграничены и практически друг с другом связаны не были. Его теории известны, те теории, которые сказались в «Методологии» истории. Кто эту книгу читал, тот знает, что она написана под сильным влиянием Риккерта. Это — Риккерт на русской почве.

Сказалось и другое в работе Лаппо-Данилевского в области, которая, как я говорил, носила не характер философский, а характер исторической методики. Здесь я поспорю с Михаилом Мироновичем Цвибаком, что акты были введены в исследование Лаппо-Данилевским впервые. Не он впервые начал изучать актовый материал, но актовый материал вошел у нас в историографию еще в XVIII веке. Щербатов был первым, который начал изучать публичный актовый материал. Материал частных актов вошел в изучение в 30-х и 40-х годах XIX века. Итак, актом и ранее пользовались как историческим источником. Но именно та работа, которая была целиком построена на актовом материале, именно она побудила Лаппо-Данилевского не вообще взяться за акты, но заново повести их изучение. Эта работа чрезвычайно хорошо вам известна, это работа Дьяконова по истории сельского населения, в которой актовый материал был использован, но сам не был исследован. Она дала толчок к тому, чтобы вопрос исследования актового материала был поставлен по-новому.

Если акт давно вошел в русский исторический оборот, еще в XVIII веке, то научное изучение актового материала еще древнее. Если взять акт не наш, русский, а акт западно-европейский, то с конца XVII века, со времени очень известной работы Мабильона, вопрос об изучении актового материала был поставлен на совершенно твердую почву и были созданы основы для изучения актового материала, которые потом держались очень долго, вплоть до половины XIX века. Но все работы, которые были посвящены изучению актового материала на Западе, были основаны на изучении публичных актов. А то, что подверг изучению Лаппо-Данилевский, был материал частных актов, и что существенно — это то, что систематическое его изучение до 900-х годов, когда за это взялся Лаппо-Данилевский, отсутствовало. Для сопоставления этих двух видов актов, я сказал бы, что, например, в материале частных актов гораздо разнообразнее их состав в том отношении, что в то время, когда относительно публичных актов были довольно точно установившиеся формуляры, для актов частных таких формуляров долго не было. Частные акты создавались в разных местах по разному и были непохожи друг на друга, и т. д.

Итак, вопрос об изучении частного актового материала был поставлен впервые, некоторые особенности этого материала вели к тому, что нужно было поставить его изучение на другую почву, что надо было разработать целый ряд отдельных новых приемов. На почве этой новой специальной работы и создалось то, что называют школой Лаппо-Данилевского.

В этой связи я хотел бы указать на то, что вопросы изучения этого нового исторического материала шли в плане разрыва с тем, что можно назвать философскими проблемами. Среди интересов, которые характеризовали Лаппо-Данилевского, были, как указано выше, два интереса, которые вне исторического исследования давали ему некоторое удовлетворение. Это были вопросы философские и вопросы методики исторического исследования или, как теперь часто выражаются, техники исторического исследования. Характерно, что в университете велись два семинария соответственно этим двум интересам, — это семинарий по методологии исторической науки, а второй — по дипломатике частных актов. Из тех, кто работал в семинарии по дипломатике частных актов, почти никто не работал по методологии. Это были две области, друг от друга совершенно отрезанные. Эта сторона характеризует собою положение дела на одном из, как принято теперь выражаться, участков дореволюционной историографии. Я боюсь назвать ее буржуазной историографией, потому что из той характеристики, которую я давал, видно, что это были течения не буржуазной историографии, а преимущественно отражение старой дворянской историографии. Это было углубление пре-

имущественно в технику исторического исследования, такую технику, которая общие принципиальные вопросы мировоззрения оставляла в стороне. Это было упадком. Вы так и будете ее характеризовать. От этой характеристики я не буду отказываться, такое положение дела было признаком глубокого падения, потому что те технические приемы, которые вырабатывались на сложном виде материала, а работа велась на материале довольно сложном, оставались несвязанными по существу с общими задачами исторического исследования. Опыт как будто терялся, потому что был довольно беспредметным. Но то, что называют школой Лаппо-Данилевского в дореволюционное время, характеризует именно такого рода обстоятельство.

Теперь я хотел бы остановиться на несколько ином вопросе, на некоторой общественной характеристике этой школы: что́ она собой представляла, с точки зрения общественной, в дореволюционное время. Я бы мог сказать, что школа Лаппо-Данилевского была внеуниверситетской школой, что она была в гораздо большей степени частной, приватной школой. Историческая кафедра в Петербургском университете, задолго до Платонова, носила официальный характер. По существу это было создано Бестужевым-Рюминым, и такой характер этой кафедры сохранился. Если приводить пример, я могу привести пример с той же самой фамилией: Василия Ивановича Семевского. Все знают историю его пребывания в университете и защиты его диссертации, которая не была допущена здесь и с трудом напечатана, но была защищена в Москве. Этот официальный характер петербургской кафедры характеризует собой то положение, которое в университетской среде занимало то, что обычно называют школой Лаппо-Данилевского. Никакого официального положения Лаппо-Данилевский в университете не имел вплоть до 1918 года: он был приват-доцентом; только в последнем году он стал профессором. Из этого были практические выводы. Он не мог сам никого оставить при университете и дать не мог продолжения своей школы. Один инцидент характеризует общественную обстановку, которая создавалась вокруг этого положения: в 1912 году один из его учеников пожелал остаться при кафедре, не по инициативе Лаппо-Данилевского (Лаппо-Данилевский инициативы в этом отношении не проявлял). Когда этот его ученик с письмом от Лаппо-Данилевского отправился к Платонову, рекомендация Лаппо-Данилевского оказалась недостаточной и ему было заявлено, что так как его работа не известна руководителю кафедры, то эту работу нужно представить, и данное лицо должно было написать специальную работу, которая легализировала его на русской исторической кафедре. Это — одно.

Другое — это то, что то, что называют школой Лаппо-Данилевского, на официальном языке тогда не называлось даже семи-

нарием, а создалось в русской университетской среде совершенно своеобразно. Надо сказать, что семинарий у Лаппо-Данилевского существовал в университете как официальный семинарий, существовал до 1910 года. Но когда в 1910 году вспыхнули студенческие волнения и была объявлена в начале 1911 г. студенческая забастовка — тогда участниками была решена ликвидация этого семинария. Мы были у Лаппо-Данилевского и просили прекратить университетские занятия и объявить на дому у себя другие занятия и по другой теме. И те, кто интересуется этим, заметит, что то, что было ранее названо семинарием Лаппо-Данилевского, теперь официально именуется иначе: кружком. Темой занятий в 1910 году была довольно скучная вещь: изучение духовных XV — XVII веков. Эта тема была отброшена и темой домашних занятий было поставлено составление каталога частных актов, работа, которую Лаппо-Данилевский задумал раньше и которую сейчас опять поставил. С 1911 г., с момента окончания университетского семинария, и ведутся занятия кружка по составлению каталога частных актов. То, что было налицо в 1916 г., когда был напечатан отчет деятельности кружка, до позднейших дней сохранилось.

Эти две черты, на которые я только что указал, имели некоторый результат, который может оказаться небезынтересным, — вопрос о составе тех, кто работал. Работа по характеру была такая, которая упиралась в технику исследования; работа в известной степени носила внеуниверситетский, приватный, частный характер, и результатом этого был чрезвычайно разнообразный состав тех, кто у Лаппо-Данилевского занимался. Был один член совета присяжных поверенных, окончивший в давние годы, лет за 11 — 12 до того, как начались эти занятия. Был словесник, который кончил университет в 1903 г. Был студент-политехник. Так подбирался состав семинария у Лаппо-Данилевского, в значительной мере из внеуниверситетских элементов. Могу назвать имена: член совета присяжных поверенных Э. Г. Гинзбург, второй — Алексей Алексеевич Шилов, третий — политехник Михаил Николаевич Смирнов, статья которого, посвященная Лаппо-Данилевскому, существует. Участвовал человек, который имел степень доктора русской истории, Вертенников. Таким образом основной состав семинария был такой, который с университетом давно покончил. Студентов было очень мало, их было в последние годы 2 — 3 человека. Вот то, что характеризовало школу Лаппо-Данилевского в то время.

Разрешите в двух словах остановиться на том, что́ характеризовало школу Лаппо-Данилевского в отличие от школы Платонова.

Прежде всего я должен сказать, что не знаю ни одного ученика Лаппо-Данилевского, который бы работал в семинарии

Платонова. У него не работали не по каким-либо политическим антипатиям — таких вещей тогда не существовало, не потому, что политические взгляды Лаппо-Данилевского отличались от взглядов Платонова. Нас отделяло от Платонова другое: отделяли интересы чисто научные. Я приведу примеры, и, может быть, вы меня поймете. Дело в том, что наше отношение к Платонову и к его школе было такое, что мы относились к ним как к тем, которые не являются строго научными исследователями, ибо строгой проработки источников у Платонова не было. Чтобы подтвердить это, я позволю себе процитировать одну книгу, из которой некоторые места уже сегодня цитировались, но не те, которые процитирую я.

Платонова характеризует другое, то, что отчетливо действует на нас. Характеризует его не методика, а очень большой художественный талант. В нашем сознании это преломлялось так, что талант ему дан именно для того, чтобы заместить те прорехи, которые существуют по недостатку научного исследования, и где нет исследования источников, там это у него замещается, замазывается, затемняется наличием большого художественного таланта. Для того, чтобы это вам в двух-трех словах объяснить, я позволю себе привести вам две-три цитаты, которые характеризуют то, что было у Платонова, и то, что было у нас. Приведу две-три цитаты из курса, читанного в Археологическом институте, его здесь цитировали. Этот курс — стенограмма лекций, автором, впрочем, не проверенная. Они касаются источников русской истории летописного типа. Критика Платоновым здесь делится на две части: критику текста и на критику факта. (Не буду останавливаться на том, что факты не критикуются и делить критику на критику фактов и критику текста — нельзя.) Платонов заявляет, что в вопросах «критики факта» историк может оказаться в таком положении, что у него есть «несколько противоречивых исторических сообщений». Как выйти из такого положения историку? «Тогда является истинная задача для ученого остроумия», и вот, дело «ученого остроумия» решить, что́ «взять из одного источника и что из другого, как представить истинный факт». (В зале смех.) Самым главным и самым основным, что делает эту вещь не смешной, а совсем серьезной, является положение Платонова, что «это целое искусство, доступное тем, кто обладает соответствующим талантом, а не знанием только». Если вы хотите говорить об этих двух школах, то в одной, таким образом, главенствовало знание, в другой вопрос касался наличия таланта.

Разрешите привести другую цитату. Она будет столь же характерна для Платонова и его работы. Она касается другой критики — критики текста. По Платонову «критика текста это чрезвычайно техническое дело». Но не методикой и здесь дело

решается. «Нужно обладать, — пишет Платонов, — большой технической привычкой, навыком к этому». Вопрос о технике опять является делом привычки и навыка, и в другом месте говорится, как этот навык достигается. «Навык и сноровка» достигаются тем, что «вырабатываются в нескольких поколениях ученых и передаются преемственно». Если вы эти моменты, которые я только что процитировал, уловили, для вас будет ясно, что́ отличало эти две школы в их университетском бытии.

Я только что говорил о том, что школа Лаппо-Данилевского была такого рода школой, которая создалась специально на изучении техники.

Это школа по роду своей работы не создала цельной историографической теории. Она не была объединена и на основе цельного политического мировоззрения. Состав школы Лаппо-Данилевского был целой гаммой таких взглядов, какие можно только себе представить, и поэтому, если кое-кто из представителей школы оказался в блоке с Платоновым, оказались вместе с ним привлеченными по одному контрреволюционному делу, зато, напр., Михаил Николаевич Смирнов является коммунистом, одним из видных работников Госплана. Диапазон, который дала школа Лаппо-Данилевского, дает возможность оценить ее и с точки зрения политической. Тот вопрос, который был поставлен Михаилом Мироновичем — о блоке двух школ, должен рассматриваться иначе, чем рассматривал его Михаил Миронович. Если ставить эту проблему как общественно-политическую, то надо в силу указанного брать не школу Лаппо-Данилевского, а надо брать отдельных ее представителей, потому что каждый ее представитель шел по своему собственному пути. Некоторого рода сближение между теми, кто был в составе школы Лаппо-Данилевского, и теми, кто был в составе школы Платонова, было. В этом отношении я мог бы назвать совершенно точно время и дату, когда такое сближение происходило. Это было в момент, когда вышел сборник статей, посвященных Платонову, в 1922 году. По вопросу о том, как это случилось, я должен сказать, что это в значительной мере произошло на почве деловой работы в Центрархиве, где работники обеих этих школ столкнулись. И тут нужно сказать, что кое-кто из школы Лаппо-Данилевского в Центрархив вошли не через Платонова. Четыре человека из учеников Лаппо-Данилевского пришли через Лаппо-Данилевского и пришли как раз в самый неинтересный архив — министерства путей сообщения. Не было такого историка, который пожелал бы пройти через этот архив, потому что из него не появилось ни одной интересной научной работы. Через Лаппо-Данилевского в июне 1918 года поступили в архив я, Андреев и другие. Мы сначала сюда поступили, а потом кое-кто перешел в другой архив. Что блока школ не было и быть не могло — доказывают два

факта: один относится к 1922 году, другой к 1929 году. Эти факты имеют некоторое значение для взаимоотношений этих школ. В 1922 году, когда вышел сборник Платонова, вышла и другая книга — «Сборник грамот коллегии экономии». Было устроено заседание; если память мне не изменяет, Михаил Миронович присутствовал на нем, и на этом заседании председательствовал Платонов. Собрание было устроено в день годовщины смерти Лаппо-Данилевского. Платонов, присутствуя на этом заседании, должен был, что требовалось элементарными правилами приличия в данном случае, сказать речь, посвященную памяти Лаппо-Данилевского, но эта речь не была сказана.

Второе заседание было совсем недавно. Я на этом заседании не присутствовал и то, что теперь скажу, будет обладать характером меньшей достоверности. Но здесь есть лица, которые были на заседании. Если ошибусь — они меня поправят. Это заседание — в 1929 г. тоже было посвящено памяти Лаппо-Данилевского, по случаю исполнившейся годовщины его смерти. На это заседание Платонов не явился и прислал письмо, которое не было полностью оглашено, потому что оно содержало не то, что в таких случаях полагается говорить. Там были не только слова, посвященные памяти Лаппо-Данилевского, но также и критика того, что делал Лаппо-Данилевский. Для меня достаточны такие факты, 1922 и 1929 гг. Вы должны были бы знать, что если бы было то, что называется блоком двух школ, такие факты были бы невозможными, и те, кто принадлежал бы к такому блоку, если бы он был, должны были бы разорвать его самым решительным образом. Собственно эти факты мне нужны были для того, чтобы охарактеризовать взаимоотношение между этими двумя школами. Если разрешите, я готов был бы на этом закончить и притти к некоторому заключению, что если касаться вопроса о том, что представляет собой школа Лаппо-Данилевского, то и путь и те взаимоотношения, которые были с другой школой и в дореволюционное время и послереволюционное время — эти факты не говорят о блоке.

Теперь я хочу остановиться на другой теме. Несомненно то, о чем говорил целый ряд других ораторов, — сейчас подводится итог всему тому, что было получено настоящим от старой буржуазной историографии, и дворянской историографии, которая, как видите, дожила до Октября. Вопрос в том, можно ли было бы из этой историографии использовать что-либо для новой, марксистской историографии, можно ли было бы это, действительно, ввести в оборот марксистской историографии и тем принести известную пользу. Та методика, которую школа Лаппо-Данилевского выработала, была узкой и безыдейной, в этом был признак ее разложения, но в этом есть некоторый положительный признак. Тот методический опыт, который был накоплен,

несомненно таков, что он может послужить марксистской историографии.

Тов. Зайделем и Цвибаком здесь затрагивались не только вопросы общественно-политического мировоззрения, но затрагивалась и область приемов техники исследования. Они указывали, что эти приемы могут служить определенным образом той или другой историографической традиции. Я скажу, что методические приемы, выработанные в школе Лаппо-Данилевского, всецело таковы, что могут быть включены полностью на службу марксистской историографии. Те проблемы, которые тогда ставились и которые сейчас господствуют, носят различный характер. Например я затронул бы вопрос из этой области, на которую я сегодня ваше внимание обращал, на вопросы критики текста. Если бы вы взяли старую буржуазную историографию, то во всех вопросах критики текста вы могли бы найти ряд построений, которые к вопросам анализа и критики текста подходили бы примерно следующим образом. Если для какого-нибудь документа мы имеем, например, две или три редакции, то вопрос о выборе текста решался чисто отвлеченно, вне автора и документа, решался так, что надо для всех авторов и для всех документов брать или последнюю, например, редакцию или первую редакцию. Если вы посмотрите на это с точки зрения классово-политической критики текста, то увидите, что дело обстоит несколько иначе, что здесь вопрос о критике текста становится иначе по существу. Кто имел дело со стенографическими отчетами Государственной Думы или политических организаций 1917 или 1918 гг., увидел бы там, что вопрос о выборе текста имеет совсем другое значение, именно такое значение, что нельзя ставить вопрос ребром: всегда или первый или последний текст. Если оратор правит стенограмму, то, отвлеченно рассуждая, нужно было бы взять правленную самим оратором стенограмму. Но если подойти к такому документу с точки зрения политической критики текста, вы можете заметить, что эта правка речи оратором служила, например, для того, чтобы ряд моментов в его выступлении смазать.

От старой историографии нам оставалось для критики текста то, что есть методика анализа текста. Мы знаем, как можно расчленять текст на редакции. Но вопрос, как применить эту методику к критике, будет своеобразен, здесь точки зрения будут различны. Если раньше полагали, что надо брать ту стенограмму, которая правлена оратором, то теперь вопрос о выборе правленной или неправленной стенограммы будет решаться вопросом классово-политической критики обеих редакций. Четкий пример совершенно диаметрально противоположной формулировки имеется в книге Бернгейма, когда, касаясь критики текста, он говорит, что надо восстановлять «идеальный оригинальный

текст», — вот тот критерий, который им кладется в основу критики текста. На этом частном примере я хотел бы показать, что целый ряд методических примеров, который был выработан предыдущей историографией, может быть в известной мере применен, конечно, в совершенно преобразованном виде против того, что преподносится в старой историографии, на пользу и на служение классовой марксистской историографии.

Я не хотел бы теперь затягивать, не хотел бы на этом вопросе останавливаться, но хотел бы сказать, что новая сложность этих вопросов возникает также потому, что тот ряд методических приемов, которые были установлены, должен быть чрезвычайно резко изменен, и потому, что весь материал, с которым приходится теперь иметь дело, в корне отличен. Если говорить о русской историографии, то в самое недавнее время главным материалом, который был в составе наших источников, были летописи, акты, писцовые книги. Материалы XVIII и XIX веков совсем не были затронуты.

Удобство той методики, которая осталась от школы Лаппо-Данилевского, состоит в том, что она не получила четкой классовой установки и поэтому она с большой пользой может послужить тогда, когда тот, кто ее примет, будет служить делу марксистской историографии и тому делу, которому она служит.

Зайдель. Вы исходили из тезы, что философская часть мировоззрения Лаппо-Данилевского и методико-технические его навыки не связаны между собой. Непосредственной органической связи между ними нет. Нельзя ли на каком-нибудь конкретном примере это показать?

Цвибак. Вы сказали, что Лаппо-Данилевский идет от дворянской концепции и не только идет, но и остается на этой дворянской концепции в своем упадочничестве и отходе от исторических тем. Как же соединить с этим обстоятельством, что он в дворянско-крепостническом государстве не смог играть роли как профессор на кафедре и только мог создавать общественную группировку, в то время как буржуазные историки занимали государственные посты? Как-то не вяжется характер Лаппо-Данилевского с теми чертами, которыми вы определили его школу.

Валк. Первый вопрос доказать фактами довольно трудно. Для этого нужно посидеть в семинарии Лаппо-Данилевского. Я сидел много лет и должен сказать, что ни одного вопроса общетеоретического не поднималось. Это были все вопросы клаузального анализа. Когда один из критиков, который употреблял ряд марксистских терминов (Шумаков), писал по поводу сборника работ учеников Лаппо-Данилевского, он выразился, что они дают то, что есть остеология, изучение костяка. Можно бы заметить это и в работе Лаппо-Данилевского о служилых кабалах,

которая являлась классификацией служилых кабал, по их местным и хронологическим типам. Если, тов. Зайдель, вы так ставите вопрос, то в сознании Лаппо-Данилевского эти две точки зрения не были разорваны. Его последующая работа «Очерк дипломатики частных актов», которая вышла в 1920 г., поразила очень многих из его учеников, потому что в ней было то, о чем вы говорите, в ней была известная историографическая теория, такая историографическая теория, которая стояла в связи с теми, которые были в его работе под влиянием Риккерта. Итак, в сознании Лаппо-Данилевского это было и сказалось в определенном научно-литературном труде. Но в практических занятиях это было оторвано. Могу еще раз повторить, что один и тот же Лаппо-Данилевский вел два параллельных семинария и почти никто из нас в философском семинарии не работал.

Теперь второй вопрос, который задал тов. Цвибак. Михаил Миронович, — то, о чем вы говорите, мне очень трудно объяснить. Если вы видели Лаппо-Данилевского и Платонова, то можно было заметить, что Платонов и по внешнему виду был разночинец. Один был родовитый аристократ, дворянин, а Платонов был разночинец. Но как же вышло, что дворянин остался в тени, а другой пошел в гору — я этого не могу объяснить.

Цвибак. Нас интересуют не люди, а идеология.

Зайдель. Общественно-политическое лицо этой школы.

Валк. Его по существу не было. Не было той историографической теории, на которой школа могла бы создаться.

Л. Райский.

Академику Тарле удавалось до поры до времени маскировать свою контрреволюционную концепцию тем, зто он протаскивал ее по частям. Особым подбором тематики и своеобразной фразеологией, — не революционной, как думает т. Щеголев, но, во всяком случае марксистообразной, — ему удавалось маскировать свое контрреволюционное лицо, и быть на счету, — правда, крайне непрочного, — но все же попутчика. Но как только Тарле попытался выступить с работой, в которой он стремился дать характеристику целой эпохи и тем самым изложить свое мировоззрение в развернутом, хотя и тщательно завуалированном виде, он был немедленно разоблачен нашей прессой.

Первым открыл канонаду М. Н. Покровский. В № 7, «Историка-марксиста» (1928 г.) т. Покровский с присущим ему сарказмом обрушился на «попытку Тарле сокрушать марксистские исторические концепции при помощи, якобы, марксистских приемов».

Тарле откликнулся на эту статью письмом в редакцию «Историка-марксиста» (№ 9), в котором он и на этот раз си-

лился замести следы. Наш почтенный академик принимает позу невинно-оскорбленного, он утверждает, что его, видите ли, не поняли; кроме того, он протестует против тона статьи Покровского. Редакция «Историка-марксиста» ответила, что иного тона в отношении *классовых врагов* большевики не знают. Таким образом в 1928 г. академик Тарле был назван полным именем.

Затем, по поводу вышедших в 1919 г. «Очерках новейшей истории Европы» г. Монсов в рецензии, помещенной в № 13 «Историка-марксиста», писал следующее:

Мы имеем дело с книгой, написанной наскоро, крайне небрежно, с книгой, из каждой страницы, из каждой строки которой выглядывает лицо буржуазно-либерального историка, неумело и неловко прикрытое тонкой маской марксистской терминологии.

И, наконец, в содержательном докладе тов. Зайделя дана была характеристика политического и академического Тарле, в широко-развернутом виде, так сказать, с академических пеленок Тарле и вплоть до его политической смерти.

Интересно бросить ретроспективный взгляд на ряд пореволюционных работ Тарле, появившихся до его «Европы в эпоху империализма». Присматриваясь к тематике этих работ, можно подумать, что Тарле как бы задался целью разоблачить империализм и отдельных его носителей. Так, напр., в № 4 «Историк-марксист» Тарле обрушивается на Вильгельма II, рисуя крайне непривлекательный портрет его. Попутно он (крайне коряво) похваливает германских коммунистов и бросает упрек социал-демократам — в чем? в том, что они не разоблачили роли Вильгельма как поджигателя войны. Все, как будто, в порядке. Ну, тут возникает законный вопрос: неужели же во всем империалистическом лагере не нашлось другой фигуры, которая с точки зрения пролетариата является не менее одиозной, чем Вильгельм II? Возьмем к примеру Пуанкаре... И неужели, скажем, французские социал-патриоты являются рыцарями без страха и упрека? Разве *их* поведение во время мировой войны является образцовым с точки зрения историка, заслуживающего того, чтобы носить звание марксиста? Совершенно ясно, что «односторонность» Тарле здесь не случайна, что ненависть его к Вильгельму II питалась не из пролетарского, а из *антантофильского* источника.

Однако рассматривать Тарле как идеолога Антанты было бы неправильно. Я вполне согласен с тов. Зайделем в той части, где он рассматривает Тарле как идеолога нео-империализма осколков русской буржуазии. Весьма показательным в этом отношении является замечательный во многих отношениях очерк Тарле «Англия и Турция», помещенный в № 3 органа Академии наук «Анналы» за 1923 г. На этот раз Тарле обрушивается уже не на германский милитаризм, а на английский империа-

лизм, алчность и лицемерие которого он в этом очерке разоблачает не без остроумия и сарказма.

Упомянутый очерк носит сугубо-публицистический характер. Он является политическим не только в том смысле, что общественное мировоззрение Тарле наложило на этот очерк яркий отпечаток, но и в более узком смысле слова — в том смысле, что автор ставит и решает здесь конкретно-политическую задачу сегодняшнего дня. Однако Тарле стремится это тщательно скрыть. Он с самого начала пускает дымовую завесу, заявляя, что проблема англо-турецких взаимоотношений представляет для него чисто академический интерес. «Нас эта борьба интересует не с точки зрения политической злобы дня, но с чисто исторической точки зрения», — уверяет нас почтенный автор. Но даже при беглом чтении очерка оказывается, что проблема взаимоотношений Англии и Турции волнует его *политические* чувства!

Итак, в 1923 г. Тарле со всей силой своего таланта обрушивается на английский империализм, берет под свою защиту борющуюся за национальную независимость Турцию и приветствует установившуюся в те годы советско-турецкую дружбу. Почему же Тарле возымел неожиданное желание защищать Турцию против одной из стран Антанты? Стал ли он на позиции пролетарского интернационализма? Сочувствует ли он борьбе угнетенных народов против империализма? Понимает ли он место и роль колониальных и полуколониальных стран в борьбе пролетариата за социализм? Сочувствует ли он этой борьбе? Ничуть не бывало. Начнем хотя бы с того, что ни разу на протяжении всего этого пространного очерка, занимающего около трех печатных листов, Тарле ни разу не упоминает *Советскую* Россию, *Советское* правительство, диктатуру пролетариата, Октябрьскую революцию и т. п.

Очерк, как сказано, был написан в 1923 г. Стало быть, со времени Октябрьской революции прошло 6 лет, но историк Тарле не «удосужился» признать нас ни де-юре, ни де-факто. Он говорит от имени *России*, старой России, в лучшем случае, от имени пофевральской буржуазной России. «Россия», «русские интересы», «русская политика»... Что это — терминологическая неряшливость? Нет, это — политическая демонстрация, это — точное выражение определенной политической тенденции.

Судьба Турции интересует Тарле лишь с точки зрения империалистических интересов буржуазной России. Между Россией и Англией, повествует нам почтенный историк, происходит вековая борьба за Азию. В 1907 году, перед лицом чудовищно-выросшего общего врага — Германии — между Россией и Англией было заключено *перемирие*, борьба была на время приглушена. Мировая война уничтожила этого общего врага. Германский ми-

литаризм повергнут в прах. И между двумя старыми претендентами на Азию перемирие закончилось и возобновилась традиционная борьба.

Курс Англии на разгром Турции и поддержка «Россией» Кемаля-паши есть борьба обеих за плацдарм для империалистического наступления на Азию. Обе державы через голову Турции смотрят в сторону объекта их общих вожделений и антагонизма — центральной Азии. Русская буржуазия заинтересована в провале антитурецкой политики Великобритании. Поддержка Кемаля в данных условиях соответствует основным империалистическим задачам русской буржуазии, поэтому в данном вопросе нужно поддержать политику «нынешнего» (кратковременного, как мечталось господам Тарле) правительства «России». Этот ход мыслей наш «аполитичный» профессор усиленно подсказывает *своему* читателю, прибегая для этого ко всякого рода намекам, временами весьма прозрачным.

Нельзя, словом, придумать *никакой* (подчеркнуто Тарле. — *Л. Р.*) русской точки зрения, с которой следовало ссориться с Кемалем и содействовать греко-английским завоеваниям,

подсказывает Тарле своему контрреволюционному, буржуазному читателю.

Тут же нам «беспартийный» автор указывает, что интересы «России» и Франции совпадают. Словом, очерк, появившийся на страницах органа советской Академии наук, мог бы украсить милюковские «Последние новости».

От передовицы в этом органе обломков российской буржуазии очерк Тарле отличается лишь эзоповским языком и дымовой завесой в виде некоторых марксистских формул, приведенных ни к селу, ни к городу и находящихся в кричащем противоречии со всей установкой очерка. В подобных случаях блестящий стилист Тарле начинает вдруг говорить суконным языком, как сознательно употребленным способом маскировки. Здесь следует приводимому им примеру журнала «Revue des deux Mondes», редакция которого, обычно строго борющаяся за изысканность стиля, допускает суконный язык в тех случаях, когда нужно потоком слов замаскировать неудобную мысль.

Излюбленнейшим методом маскировки у Тарле являются обильные и, как правило, неуместные ссылки на основоположников научного социализма или на их авторитетных учеников. Не могу не рассказать одного анекдотического примера подобного рода маскировки. В конце 1927 г. в Ленинградском отделении института истории РАНИОНа т. Молок в докладе об одной деятельнице Парижской коммуны 1871 г. привел безусловно-правильный тезис о том, что при правильной политике коммуне удалось бы склонить на свою сторону известные слои трудового кре-

стьянства. Тарле решительно и настойчиво запротестовал против этого тезиса, как. антимарксистского. «Помилуйте, — волновался Тарле, — разве это возможно? Ведь крестьяне — собственники! Что общего у них могло быть с Коммуной? Вспомните слова Маркса об идиотизме деревенской жизни!» и т. п.

Если бы Маркс услышал подобного рода рассуждение, он, вероятно, отметил бы «идиотизм» не только в отношении деревни, но и иных представителей буржуазной интеллигенции... Что, однако, означает приведенное выступление Тарле? Означает ли оно добросовестное непонимание основ марксизма — и только? Что Тарле Маркса не понимал, а может быть и плохо знал — это общеизвестно. Но в данном случае мы имеем дело с проявлением идейно-политической мимикрии, стремлением ссылкой на... Маркса выразить буржуазную надежду на то, что пролетариату суждено остаться изолированным, что ему не удастся завоевать на свою сторону непролетарские слои трудящихся и что крестьянство останется прочным тылом буржуазного общества.

Божба марксизмом, как дымовая завеса... Видимо, этот прием оказался слишком соблазнительным и для иных учеников Тарле.

Я. М. Захер, которого ветром на короткое время занесло даже в коммунистическую партию, Марксом уже не ограничивается. Ему, как человеку более гибкому, без ссылок на Ленина положительно скучно. Но чего не хватает в работах Захера, так это именно марксизма-ленинизма. В одной из его последних работ, посвященных «бешеным», есть специальный раздел, озаглавленный: «Объективная реакционность деятельности бешеных».

В число выдвигаемых ими (бешеными) экономических требований входило требование ограничения крупных состояний. Вряд ли требуется доказывать, что это означало бы не что иное, как требование остановки капиталистического развития страны...[1]

Раз во Франции происходила буржуазная революция, то объективно деятельность «бешеных» была реакционной, — рассуждает Захер. Наш «марксист», вероятно, слышал о плебейском способе решения задач буржуазной революции, но ничего, видимо, в этом не понял. Он не понял, что, вне зависимости от *субъективных* идеалов революционной демократии Франции конца XVIII ст., *объективно* их деятельность была *революционно-прогрессивной,* так как именно она выкорчевывала во Франции остатки феодализма и тем самым объективно развязала развитие производительных сил страны.

Рассуждения Захера это — струвианство и меньшевизм,

---

[1] Я. М. Захер, Бешеные, 1930, стр. 34.

Маркс и Ленин никакого касательства к этим рассуждениям не имеют.

Сейчас, когда ленинградская семья историков-марксистов производит самопроверку своих рядов, выясняет, в какой степени каждый из нас готов и способен служить делу социалистического строительства тем оружием, которым мы — не все в одинаковой степени — владеем, а именно оружием исторического исследования, — не лишне отметить, что Захер счел возможным не явиться на это собрание и умолчать о том, как он расценивает свои последние работы, как он относится к своему учителю — Тарле.

Словам мы не верим. Каждый из нас должен *делом* доказать свою приверженность социалистической революции. Отступлений от марксизма-ленинизма мы не допустим.

Наше изучение тарлевских приемов маскировки оказалось не бесполезным. Мы изучили приемы врага и вооружились для дальнейшей борьбы со всякого рода попытками под тем или иным соусом протаскивать антимарксистские, антиленинские взгляды.

М. Мартынов.

Я буду говорить по докладу т. Цвибака о Платонове. Платонов несомненно являлся одним из наиболее ярких и серьезных противников на антимарксистском фронте. В последние годы под его «высокую руку» собирались различные группы и школы русской исторической науки. Платонов был идейным руководителем и вождем этих групп. Огромное влияние, которым он пользовался последнее время, несомненно связано не только с тем, что он в течение многих лет возглавлял кафедру русской истории, но также и с тем, что он в качестве академика руководил историческими работами в Аакадемии наук. В исторических исследованиях часто подчеркивается, что он является тонким и осторожным историком, которого можно считать очень близким к марксизму. Платонов, повидимому, разделял взгляды на самого себя как на объективного историка, близкого марксизму, имеющего право говорить от имени этой школы. В одном из своих произведений, я имею в виду его «Смутное время» (изд. 1923 г.), Платонов говорит, что его

> изложение не подчинено никакой предвзятой точке зрения ни субъективной, ни теоретической. Автору хотелось остаться только летописцем данной эпохи, предоставив читателю свободу толкования изучаемых им фактов.

На траурном заседании, посвященном десятилетию со дня смерти Лаппо-Данилевского, от имени Платонова было зачитано интересное письмо, в котором было подчеркнуто, что Лаппо-Да-

нилевский был чужд новому господствующему течению в русской исторической науке, т. е. марксизму.

Несомненно, что Платонов считал действительно себя своеобразным Нестором русской исторической науки. Но, если мы взглянем на то, что представляли из себя вообще летописцы, то оказывается, что по мнению такого выдающегося специалиста по летописям, как Шахматов, русские летописцы были далеко не чужды политических симпатий или антипатий.

Рукой летописца, — отмечал Шахматов, — управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты отшельника... рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы...

Другой исследователь наших летописей, Приселков, указывает, что такой летописец как Нестор смотрел на Киевскую Русь как «на арену борьбы дьявола и бога». Если так можно говорить о летописцах XI — XII века, то несомненно такого рода характеристику надо дать никому другому, как Платонову, который считал себя новым летописцем русской истории.

Но что же из себя представляет Платонов, какова была его идеология? Это не было достаточно четко подчеркнуто в докладе Цвибака. Цвибак считает Платонова буржуазным историком. Конечно нельзя отрицать, что Платонов на самом деле испытывал на себе влияние буржуазных школ, но буржуазным историком он не был. Платонов, насколько можно судить по его трудам, несомненно находился под большим влиянием Соловьева и Ключевского. Это влияние буржуазной и мелкобуржуазной школ действительно сказалось как на «Смутном времени», так и на исторической концепции Платонова. Платонов идет от Ключевского тогда, когда анализирует причины и периоды смуты. Смута у Платонова, как и у Ключевского, переходит из политической борьбы в социальную и заканчивается победой религиозно-национальных элементов. Платонов следует за Ключевским и в выяснении причин смуты. Ключевский указывал, что главная причина смуты заключалась в борьбе между московским государем, который стремился превратиться в «демократического» царя, и боярской знатью, которая стояла во главе управления. Другая причина смуты заключалась, по Ключевскому, в «социальной розни» и в тяжелом положении крестьянства. По существу то же самое говорил раньше Соловьев и то же самое, впоследствии, под влиянием Соловьева и Ключевского, сказал о причинах смуты и Платонов, который вообще не отличался новизною мысли.

Однако, изучая Платонова, недостаточно констатировать влияние на него буржуазных и мелкобуржуазных школ. В схемы, взятые у Ключевского и Соловьева, Платонов вкладывал другое содержание, которое он взял, главным образом, у такого апологета самодержавия и крепостничества, каким был Карамзин.

Ключевский рассматривает смуту как движение, в котором

был поставлен и разрешен вопрос об ограничении самодержавной власти. По его мнению, московские государи никогда не были неограниченными. И Василий Шуйский, и Владислав, и Михаил Романов были ограничены. Платонов подошел к этому вопросу с совершенно противоположной точки зрения. Для него московские государи никогда не были ограничены, как не был ограничен и Шуйский и Михаил Романов.

Сопоставление этих двух точек зрения дает возможность ближе подойти к выяснению настоящего политического лица Платонова. Платонову надо было доказать, что романовская династия, облеченная «народным избранием», имеет законные права на престол и правит страною не в узко-классовых и династических интересах, а в интересах народных и государственных.

От государева батюшки Филарета Никитича до его великого правнука Петра, — по словам Платонова, — все первые представители династии Романовых одинаково были проникнуты стремлением к государственному и народному благу... В единодушном избрании «всей земли» крылся чистый и благородный источник власти Романовых. Такое избрание возвысило власть Московскую, прежде вотчинную, до значения народно-государственной и сообщило ей необыкновенную крепость и популярность.

Это единение царя с «народом», составляющее, по мнению Платонова, основу в политике первых Романовых от Михаила до Петра, понималось Платоновым, как единение царской власти с дворянством. Платонов преклоняется перед Петром и Александром II, так как и Петр и Александр II стремились превратить старое дворянство в действительных организаторов государственной власти и сохранить за ним руководящую роль в политической жизни страны.

В этом стремлении оправдать права на первенствующую роль дворянства при новых буржуазных условиях Платонов идет как от Карамзина, так и от О. Конта. В своих воспоминаниях о студенческих годах Платонов рассказывает, что он находился под влиянием Милля, Льюиса и Тэна. Тэн — француз-черносотенец, а Милль и Льюис — позитивисты, ревностные поклонники Конта. Конт мечтал о государстве ученых. Платонов преклоняется пред «образованными» дворянами и смотрит на них как на носителей прогресса. Карамзин считает «палладиумом России» самодержавие, «целость которого необходима для ее счастья». С другой стороны, Карамзин высоко ставит дворянство, считая его «братством знаменитых слуг великокняжеских или царских», «честью» которых «красится» «благоразумный господин» — царь. Платонов соединил в себе Карамзина и Конта, подкрасив дворянство позитивистической философией. Эта ставка на новое преобразованное дворянство проходит красной нитью через все произведения Платонова. Платонов облагораживает дворянство и тем самым идет по старой дороге, от Ка-

рамзина. Эту любовь к Карамзину Платонов унаследовал от своего учителя Бестужева-Рюмина, который всегда с благоговением отзывался о Карамзине. «Яркие образы (Карамзина), говорил Бестужев-Рюмин, запечатлевались в памяти и на всю жизнь становились светлыми маяками». «Светлые маяки» Бестужева-Рюмина — были «светлыми маяками» и Платонова. За буржуазными формулировками Платонова перед нами выступает его подлинное дворянское лицо. Платонов стремился сохранить за дворянством старое привилегированное положение.

Только с точки зрения этой ставки Платонова на дворянство возможно понять его отношение к интервенции, к крестьянству и к северу. Это связано с желанием показать, что дворянство может и должно сохранить в настоящих условиях руководящую роль в политической жизни. Вот почему Платонова нельзя причислить к буржуазным историкам. Он песнопевец старого крепостнического дворянства в новых буржуазных условиях.

С. Семенов-Зуссер.

Остановлюсь на некоторых отделах любопытнейшего журнала «Анналы», издававшегося в 1922 — 23 гг. Академией наук под редакцией члена-корреспондента Тарле и имевшего вполне четкое контрреволюционное направление с совершенно определенной ориентацией на белогвардейщину.

В передовой статье № 1 журнала Тарле определяет пути и задачи нового научно-исторического органа.

Журнал «Анналы», — пишет он, — ставит своей целью хоть отчасти облегчить русским исследователям идейное общение как с русскими, так и с западно-европейскими собратьями по науке. Далее он сообщает: Редакция указывает на ответственность, которая лежит на оставшихся, оберегающих и поддерживающих не потухший еще огонь русской научной мысли.

Определяя политическую направленность журнала, Тарле заявляет о великой миссии, возложенной на него и его единомышленников (имея в виду Бартольда, Платонова, Жебелева и др.), оберегать всеми средствами русскую историческую науку, неприкосновенность ее идеологии, хотя (тут он делает уступку!) «широкая терпимость ко всем взглядам и точкам зрения, представленным в науке, обязательна для редакции».

Тарле готовится в академии и ему предстоит необходимость выявить пред реакционной частью Академии всю свою политическую сущность, чтобы после этого заручиться симпатиями черносотенных ученых и при поддержке их вполне рассчитывать на успех — избрание в члены Академии наук. И Тарле, надо отдать ему справедливость, прекрасно выдерживает экзамен, как это можно усмотреть из «Анналов», положенный ему «оставшимися учеными и эмигрантами собратьями по науке», по его соб-

ственому выражению. Тарле находит вполне возможным для себя блокироваться с такими монархистами, как Платонов, Успенский, Васильев, Вульфиус, Бенешевич и др., старается во всю, из кожи лезет вон, чтобы показать свое истинное, неприкрытое контрреволюционное лицо. Тарле привлекает к активной работе в журнале такого махрового реакционера, как Жебелев, которого сам Ростовцев из-за рубежа предписывал во что бы то ни стало внести в члены Академии наук. Вполне понятно, Тарле быстро находит общий язык с Жебелевым, уделяет ему внимание в своем журнале, в результате чего они вдвоем, Тарле и Жебелев, проходят в 1927 г. в академики в одной и той же сессии, при одинаковом почти количестве голосов. Любопытно отметить, что Жебелев, квалифицированный как плагиатор и фальсификатор, в чем он сам признался, считающий себя «другом и соратником» Ростовцева, становится уже другом и соратником по «Анналам»... Тарле. Жебелев в своей исключительной по бездарности и цинической откровенности статье: «Из университетских воспоминаний», одобренной редактором Тарле и помещенной в «Анналах», дает нам апологию дворянской исторической науки, поет дифирамбы крайним реакционерам типа Помяловского, Никитина и др., выдвигая их, как «достойных подражанию ученых». Я позволю себе привести некоторые строки из этой «замечательной» статьи, чтобы получилось полное представление о направлении всего журнала «Анналы». Говоря о профессорах, автор с гордостью отмечает:

Они оставались стойкими борцами за истинно-научное знание; они как профессора были тем, чем и должен быть профессор прежде, и главнее всего — истинными жрецами науки, преданными сынами ее. Честь и слава тогдашним профессорам историко-философских факультетов! О, если бы встречался всегда достойный пример и достойное им подражание.

И все это помещено в журнале, душой которого являлся чуть ли не «марксист» Тарле. Вы послушайте далее, что пишет Жебелев в журнале, идейную ответственность за который принимает на себя Тарле.

Политикой при обилии занятий и при увлечении ими заниматься было некогда, да к ней, признаться, тогда и не тянуло. С этой точки зрения мы сочтены были по более поздней «квалификации» студентами — «малосознательными».

«Ученый» Жебелев едко вышучивает подобную «малосознательность», поносит и третирует революционное студенчество, а редактор Тарле принимает как должное, заслуженное, считает это в порядке вещей. «Аполитичный» Жебелев в той же статье описывает некотрые моменты из своей студенческой жизни и почему-то в 1923 г. считает необходимым вспомнить о балах, где пелись царские гимны, во время которых «непристойно» дер-

жала себя часть «революционно-настроенного» студенчества. И тут же приводит полностью черносотенную кантату:

Светлой радостью горя,
День торжественный встречайте,
Песнью дружной величайте
Православного царя...
Слава знаний покровителю,
Просвещения хранителю

Кантата, — пишет с грустью Жебелев, — сопровождалась свистом части студентов: худо ли это или хорошо, не знаю — я в течение университетского курса всецело бы охвачен занятиями, наукой.

Это замечательно! В 1923 г. Жебелев не знает — худо или хорошо то, что происходило в 1887 г. Он не может дать сейчас, спустя 35 лет, соответствующей оценки демонстрации студентов на черносотенные, патриотические гимны и выступления монархистов. И все это помещено в журнале Тарле. У «объективного» и «аполитичного» Жебелева плохая память, он смутно, как в дымке, припоминает какие-то сходки, студенческие «смуты», слухи о заговорах против Александра III... «Обо всем этом у меня осталось очень смутное воспоминание», — пишет Жебелев, но зато далее он с особенным воодушевлением сообщает о неудавшихся покушениях террористов на Александра III и пространно рассказывает о благородном ответе Александра на адрес верноподданного университета, после одного из таких покушений. У Жебелева, оказывается, не такая плохая память, как он себе ее представляет, так как он сейчас точно вспоминает адрес и подлинный ответ царя: «на этом адресе государь написал, между прочим, такое:

Надеюсь, что университет не на словах только, но и на деле докажет свою преданность престолу и родине. Да благословит его бог на все доброе!

Нельзя, кстати, не указать еще на одно место в другой работе того же Жебелева, написанной в том же 1923 г. в отдельном издании «Введение в археологию» и характеризующей всю его объективность и пассивную «аполитичность».

Русские цари в истории археологии, — пишет он, — должны быть помянуты добрым и благодарным словом. Они постоянно заботились об ее нуждах и старались содействовать ее процветанию.

Так распоясался ученый Жебелев и полностью выявил весь свой махровый монархизм. Тарле, деликатно скрывая обнаженную Жебелевым идеологию, печатает его статьи, являясь идейным другом его, с которым вместе становится, по выражению самого Тарле, «на защиту осиротевшей и обедневшей русской исторической науки». Теперь для всех станет ясно, почему Тарле отказался голосовать в университете в 1929 г. за резолюцию протеста против Жебелева (Голоса: «этот известный скандал свя-

зан с пресловутым сборником»), правильно, с известными сборниками — «Seminarium Condakovianum».

Я считал необходимым привести эти места для той части доклада тов. Зайделя, где он останавливался на исторической концепции и политической направленности Тарле в период двадцатых годов и особенно в связи с изданием «Анналов».

А. Молок.

Заслушанные нами доклады тт. Зайделя и Цвибака о вредительстве на историческом фронте дают развернутую революционно-марксистскую характеристику Платонова и Тарле как историков буржуазии и врагов пролетариата. Эти доклады имеют крупнейшее научно-политическое значение в нашей борьбе за марксистскую историческую науку против всех ее врагов, в каком бы идейном облечении они ни выступали.

Я буду говорить по докладу т. Зайделя и остановлюсь лишь на тех моментах в работе Тарле, которых не касались (или почти не касались) ни докладчик, ни выступавшие по его докладу товарищи. Начну с методологии. Здесь уже упоминалось (правда, вскользь), что в своих ранних работах Тарле выступает часто как самый примитивный идеалист. Приведу несколько примеров. Беру «Историю Италии в новое время», вышедшую в 1901 году в серии «История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время» (под ред. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого). Вот как «объясняет» здесь (стр. 20) Тарле возникновение так называемого Возрождения в Италии:

> Нетрудно видеть, почему люди, не удовлетворенные богословием, схоластикою и всею совокупностью средневековых знаний, обратились именно к античным традициям. В Италии эти традиции никогда, даже в самые худшие, безнадежные времена, не были окончательно забыты. Географическое тождество средневековой Италии и Италии классической, близость латинского и итальянского языков, масса уцелевших, несмотря ни на какие нашествия, памятников старины, — все это делало античную культуру более близкой итальянцам, нежели любому другому народу. Древний мир для первого поколения гуманистов, для современников Петрарки, обладал всеми качествами заманчивого, таинственного и любопытного кладезя всевозможной премудрости: его мало знали, может быть даже совсем не знали, но от него многого ожидали, как от девственного места, где никто еще не был, но о котором утвердительно все говорят, что оно есть золотой рудник.

Эта чисто-идеалистическая концепция, под которой мог бы подписаться и Гревс, дополняется не менее идеалистической характеристикой пропагандистов «итальянского Ренессанса» — тогдашней интеллигенцией, которая изображается как некая внеклассовая группа «носителей высшей культуры, утонченной рефлексии, глубокой сознательности» (стр. 19).

Другой пример — из другой книги. На странице 43 «Очер-

ков и характеристик из истории европейского общественного движения в XIX веке» — книга вышла в 1903 году — находим такое «объяснение» резкого антиклерикализма в программе бакунинского «Альянса»:

За отсутствием других объяснений, — пишет Тарле, — можно вспомнить о романской расе, которая в громадном большинстве исповедует католицизм и подвергается весьма влиятельным клерикальным воздействиям.

Что идеализм не испаряется у Тарле и в более поздних работах, показывает хотя бы его статья о Гарибальди в «Энциклопедическом словаре» Граната (изд. 7, том 12, стр. 546 — 551).

Не подлежит сомнению, что в дальнейшем Тарле проделывает известную эволюцию, переходя от идеализма к эклектизму. Эклектизм его дает себя чувствовать на каждом шагу. Характерным в этом отношении примером может служить предисловие Тарле к русскому переводу книжки Арну «История инквизиции», изданному в 1926 г. Поправляя Арну, Тарле заявляет здесь, что политика церкви и государства, орудием которых являлась инквизиция, «диктовалась многообразными и очень часто (очень часто! — *А. М.*) строжайше-материальными интересами». «Материализм» Тарле механистичен и фаталистичен. Ему присуще полное игнорирование того, что мы называем собственным фактором в истории. Особенно ярко это сказывается тогда, когда речь заходит с социальных движениях новейшего времени. Тов. Райский уже рассказывал здесь о выступлении Тарле по моему докладу «Андре Лео как публицист Коммуны», прочитанному в нoябре 1927 г. в Ленинградском отделении института истории РАНИОН. Это выступление было направлено против моей устновки в вопросе о позиции крестьянства во время Коммуны и базировалось на утверждении, что французская деревня 1871 г. была сплошь собственнической и сплошь реакционной. Я возражал, ссылаясь на «Восемнадцатое брюмера» и «Гражданскую войну», на данные документов эпохи, на позднейшие исследования. Тарле остался при своем мнении. Более того: несколько дней спустя, случайно встретившись со мною в Москве, в Институте Маркса и Энгельса, он по собственной инициативе вернулся к предмету нашего спора, причем заявил: «Пересмотрите вашу точку зрения — она не марксистская, у вас получается роль личности в истории». Итак, роль субъективного фактора, в данном случае роль партии пролетариата в пролетарской революции (я говорил об ошибках руководства Коммуны, как результате отсутствия такой партии), приравнивается к роли личности в истории и на этом «основании» начисто отрицается! Перед нами яркий образец фаталистического понимания (вернее извращения) исторического процесса, которое — и это особенно характерно для Тарле — выдается за марксистское.

Неудивительно, что подобная методология, находящаяся ко-

нечно на службе определенной политической тенденции, приводит Тарле к либеральному извращению всей истории классовой борьбы в эпоху капитализма (впрочем, не лучше обстоит дело, как мы видели, и с эпохой докапиталистической). Чтобы не повторять ни докладчика, ни выступавших до меня товарищей, остановлюсь главным образом на той работе Тарле, которой и в докладе и в прениях уделено было сравнительно мало внимания. Я имею в виду его книжку «Европа от Венского конгресса до Версальского мира», изданную в 1924 году и переизданную в 1929 г. (под измененным названием «Краткий очерк истории Европы (1871 — 1919). Напомню, что эта задуманная как учебное пособие книжка рекомендовалась студентам в качестве такового в период, когда соответствующую кафедру занимал в Ленинградском университете Захер, давший, как известно, самые яркие образцы оппортунистического примиренчества к Тарле. Мы уже видели, как игнорирует Тарле тот, по выражению Маркса, «круговорот обнищания и задолженности», который проделывает со времени первой революции основная масса французского крестьянства.

Керстьяне, составлявшие более $^3/_4$ всего населения, представляли собою инертную массу... По всему укладу своего ума и чувства они являлись надежным резервом буржуазии...; *сами земельные собственники со времен первой революции, крестьяне на все без исключения правительства, начиная с директории и кончая июльской монархией, смотрели только и исключительно с той точки зрения: останутся ли при них земли, полученные во время распродажи национальных имуществ или будут отобраны?* [1]

Что эта характеристика французской деревни, данная Тарле еще в 1903 г., верна только в отношении *части* (зажиточного меньшинства) крестьянства, — этого он не поймет никогда. «Европа от Венского конгресса до Версальского мира» является новым тому доказательством. Действительный процесс социальной дифференциации деревни Тарле подменяет мнимым процессом ее нивеллировки (стр. 18 — 19). Революционные выступления трудовых слоев французского крестьянства в XIX веке — напр. в декабре 1851 года — им попросту замалчиваются. Все это конечно не случайно. Извращая сознательно подлинную историю французского крестьянства, Тарле выполняет социальный заказ того класса, историографом которого он всегда был, заказ буржуазии. Ему нужно доказать, что пролетарская революция во Франции (да и не только во Франции) безусловно обречена на поражение, так как рабочий класс никогда не будет поддержан крестьянством, этой сплошь собственнической и сплошь реакционной массой.

[1] Курсив мой. — *А. М.*
[2] «Очерки и характеристики», стр. 8.

Перехожу к рабочему классу. Выступавшими до меня товарищами уже было отмечено стремление Тарле принизить роль рабочего класса в истории новейшего времени, представить его классом, неспособным к самостоятельной политической борьбе. Не случайно конечно обошел он молчанием в диссертации «Рабочий класс в эпоху революции» рабочие восстания в жерминале и прериале III года республики, как не случайно конечно пропущено им в книге «История Италии в новое время» восстание флорентинского предпролетариата (так называемых «чомпи») в 1378 году. В книге «Европа от Венского конгресса до Версальского мира» Тарле всячески старается доказать политическую никчемность рабочего класса, прибегая для этого к прямой фальсификации истории. Известно, что именно рабочее движение, принявшее к началу 1870 г. массовый революционный характер (в первую очередь в Париже), нанесло сокрушительные удары бонапартистскому режиму второго издания. Известно, что «оппозиционность» либеральной буржуазии не мешала ей торговаться с правительством о «реформах», что страх пред рабочим классом удерживал ее от решительной борьбы с империей. Как же изображает это дело Тарле? Он целиком разделяет буржуазную легенду, по которой борьба против второй империи направлялась из кофеен Латинского квартала и руководилась буржуазной интеллигенцией. Судите сами. Вот что пишет он в главе II книги «Европа от Венского конгресса до Версальского мира», в разделе «Эпоха второй империи во Франции» (стр. 100):

> Таково было положение вещей, когда названные выше внешние неудачи политики Наполеона III оживили к концу шестидесятых годов XIX века оппозицию против империи. В 1868 году на одном политическом процессе молодой адвокат Гамбетта произнес речь, в которой жестоко напал на правительство и с укоризною вспомнил о государственном перевороте 2 декабря 1851 г., давшем власть Наполеону III. Эта речь произвела глубочайшее впечатление на широкие круги общества. Одновременно стала оживляться пресса, которая до тех пор молчала, либо славословила правительство. Действовать же так круто, как прежде, правительство уже не решалось. В 1869 году произошли выборы в Законодательный корпус, несмотря на все полицейское давление и на все хитрости правительства, оппозиция провела столько своих представителей, как никогда раньше.

Цитировать дальше не буду: приведенный отрывок ясно показывает, что перед нами не картина борьбы против империй, а отражение этой борьбы в кривом зеркале. Говорить о речи Гамбетты на процессе Делеклюза как об исходном пункте борьбы за республику и умалчивать о поведении того же Гамбетты в последние дни существования империи, когда этот вождь республиканской оппозиции в припадке «патриотического» усердия требовал смертной казни для «изменников» — участников революционного выступления в рабочем квартале Ля-Вилетт («трибун» выступил в палате с такой неприличной речью, что сам министр

юстиции императорского правительства счел нужным умерить его пыл)! Переносить борьбу против империи в стены парламента, в редакции буржуазных газет и игнорировать выступления рабочего класса, политические стачки, демонстрации, баррикады! Говорить о quasi-либеральных «реформах» этого периода и не упоминать о свирепом преследовании стачечников, о полицейской инсценировке «заговора» на жизнь императора, о судебной расправе с организацией Интернационала! Перед нами буржуазная легенда, реакционная фальсификация истории, смысл которой — доказать, что пролетариат не может быть самостоятельным политическим фактом, что он является простым придатком «образованного общества».

Неудивительно, что I Интернационал — Интернационал Маркса и Энгельса — под пером Тарле оказывается «не только в теории, а и на практике вполне мирною ассоциациею, никогда не прибегавшею к внушению своим членам насильственного образа действий против какого бы то ни было правительства».

Экономическая, а не политическая борьба, *стачки,* а не революции — вот что составляло содержание короткой жизни интернационального общества... Началось оно, как мы видели, отчасти под императорскою эгидою (?!), хотело стать французским тред-юнионом (?!), сделалось центральным бюро пропаганды и, быть может, мирно просуществовало бы до самой естественной смерти, если бы не один характерный эпизод.

Этим эпизодом явился Бакунинский альянс. Не будь Бакунина и его борьбы с Марксом, Интернационал до конца остался бы аполитичной, антиреволюционной, узко-экономической организацией в духе Толена и Трибура.

Трудно представить себе большее извращение подлинного лица и подлинной истории первой международной организации пролетариата, продолжателем лучших традиций которой является в наши дни III Коммунистический Интернационал!!

Неудивительно, что Парижская коммуна 1871 года — этот первый опыт пролетарской диктатуры — расценивается Тарле не более, как «случайный военный эпизод».[1] В своем «понимании» событий он стоит ниже не только позднейших исследователей из буржуазного лагеря, но даже современников из того же лагеря. Бонапартист Эдуард Эрне и тот лучше разбирался в социальной сущности Коммуны на другой же день после ее подавления!

Излишне останавливаться здесь на других примерах грубейшего буржуазного извращения истории классовой борьбы капиталистической эпохи, которыми полны работы Тарле, в частности «Европа от Венского конгресса до Версальского мира». Не-

---

[1] «Очерки и характеристики», стр. 48.

которые из них уже отмечены мною, другие охарактеризованы были нашей марксистской критикой еще в 1929 году (К. Винтер: «Чего нельзя простить академику» — «Книга и Революция», 1929, № 15 — 16, стр. 8 — 11).

Укажу еще только на то, что, уделяя сравнительно много места изложению учения реформиста Луи Блана, Тарле обходит почти полным молчанием теорию и тактику революционера Бланки. Все это, конечно, в порядке вещей. Тарле, как историк буржуазии, всемерно выполняет специальный заказ своего класса, маскируя свое вредительство квази-марксистской фразеологией, лицемерными ссылками на Маркса.

Я не буду останавливаться на печально знаменитом труде Тарле «Европа в эпоху империализма», насквозь антимарксистском, насквозь пуанкаристском. Я полностью разделяю ту последовательно-марксистскую оценку этой книги, которая была дана в докладе т. Зайделя и в выступлении т. Райского, оценку, которая всходит к характеристике, данной почти три года тому назад М. Н. Покровским, ранее других разглядевшим подлинное классовое лицо Тарле (см. «Историк-марксист», 1928,).

От методологии Тарле перехожу к его технике. Тов. Зайдель прав, говоря, что историкам-марксистам нечему учиться у Тарле и в отношении приемов исследования. Об этом говорилось и в прениях. П. П. Щеголев разоблачил антинаучное обращение Тарле с источниками по движению Бабефа. Выход в свет (в 1928 г.) «Рабочего класса в первые времена машинного производства» вновь показал слабые стороны исследовательской техники Тарле. Игнорирование печатных документов и незнание литературы предмета привели здесь Тарле к ряду крупнейших пробелов и грубейших ошибок, отмеченных нашей критикой (см. рецензию Завитневича в «Историке-марксисте», 1929, № 11). Особенно ярко несостоятельность исследовательской техники Тарле сказалась в его статье о лионском рабочем восстании 1831 г., которым заканчивается названная книга. В «Архиве Маркса и Энгельса» (том IV) Ф. В. Потемкин показал, как односторонне и некритически использует здесь Тарле архивный материал, в результате чего целые серии важнейших документов остаются неиспользованными. Любопытно, что об этих «особенностях» Тарле как исследователя заговорили теперь и в лагере буржуазных историков. Я имею в виду недавнюю рецензию Леви-Шнейдера, в которой он изобличает Тарле в незнании новейшей французской литературы по истории Лиона. Он не знает книги Festy о рабочем движении в начале июльской монархии (вышла в 1908 г.), не знает исследования Guéneau о шелковой промышленности Лиона (вышло в 1923 г.), не знает статьи Alazard о причинах лионского восстания 1831 г. (вышла в 1912 г.), не знает статей самого Леви-Шнейдера о том же вос-

стании (вышли в 1910 г.). Результат этого игнорирования литературы предмета налицо. Тарле в 1927 г. утверждает, что в этом движении не было никаких элементов политической программы и политической организации. А Леви-Шнейдер еще в 1910 г. с документами в руках доказал, что 23 ноября 1831 г. в ратуше Лиона образовалось нечто вроде «Временного правительства», которое выпустило революционную прокламацию с требованием автономии для Лиона и всеобщего избирательного права.[1]

Другой пример вредительского отношения Тарле к литературе предмета — это игнорирование им ценного двухтомника братьев Буржен[2], который третируется им, как «некий инвентарь документов». Он и не подозревает того, что еще в 1922 году в I томе «Трудов Института красной профессуры» (под редакцией М. Н. Покровского) появилась содержательная статья Н. Петрова, основанная как раз на материалах этого столь презираемого им издания архивных материалов.

Несколько слов о политической позиции Тарле в стенах нашего университета. Как ни старался он изображать из себя «старого марксиста», безупречно лойяльного специалиста, случалось, что маска приоткрывала его подлинное лицо классового врага пролетарской диктатуры. Не одобряя практикуемого нами классового отбора при приеме в вузы, он пытался проводить в аспиранты лиц, которым давала отвод партийная организация (случай с Зильберманом в 1926 г.). Аналогичные вещи случались с Тарле и вне стен Л. Г. У. Я хочу рассказать об одном эпизоде, имевшем место в 1927 году. Известно, что в начале июня этого года взрывом белогвардейской бомбы, брошенной в Дискуссионный клуб, был ранен ряд сотрудников Ленинградского института марксизма (ныне Л. О. К. А.), в частности присутствующие здесь товарищи Зайдель и Семенов-Зусер. На ближайшем заседании западной секции существовавшего тогда в Ленинграде отделения Института истории РАНИОН группою товарищей предложен был составленный мною проект резолюции, клеймящей террористическую деятельность белоэмигрантских убийц. Председательствовавший на этом заседании Тарле, воспользовавшись полным отсутствием коммунистов, сорвал эту политическую резолюцию протеста и провел вегетарианскую резолюцию соболезнования пострадавшим от взрыва сотрудникам института. Если память мне не изменяет, он даже как-будто заявил тогда, что последний есть учреждение академическое, а не политическое. Да, только недостатком классовой бдительно-

---

[1] См. Lévy-Schneider: Historie de Lyone et de la région lyonnaise (1919 — août 1929). «Revue historique», juillet - août 1930, pp. 375 — 376.

[2] G. et H. Bourgin: Le Régime de l'industrie en France de 1815 à 1830.

сти, наблюдавшимся на теоретическом фронте в восстановительный период нашей революции, можно объяснить тот факт, что этот историк контрреволюционной буржуазии, ныне разоблаченный как активный враг советской власти, мог так долго ходить у нас в попутчиках пролетарской исторической науки.

В. Кашин.

Имея дело с Платоновым, имеешь дело с человеком, оказывавшим громадное влияние на научные круги и на более широкие круги. Роль Платонова сводится к тому, что до него действительно не было ничего сделано в области смуты, до него эта работа не была поставлена так добросовестно. Если взять Платонова, как научного работника, то нужно отбросить то, что не касается смуты. Роль, вес и значение Платонова как ученого сводятся преимущественно к тому, что было им сделано более тридцати лет тому назад. В те далекие годы, на фоне чрезвычайно скудного и нередко до убожества наивного изображения классовой борьбы русскими историками, исследование Платонова о смуте казалось образцовым исследованием просто уже потому, что в нем впервые главное внимание обращалось на социальные мотивы смуты. Тема о смуте была свежа и актуальна. Платонов стал автором большого исследования на мало разработанную научную тему, но и через тридцать лет Платонов в научном отношении остался преимущественно автором все того же исследования. Высказанное здесь мнение, что вторым слагаемым в составе репутации Платонова как научной величины были его исследования о петровской эпохе, ни на чем, в сущности, не основано. Таких исследований нет, хотя по поводу выхода в свет книжки Платонова «Петр Великий» в ленинградской прессе и появилась хвалебная рецензия, написанная совсем не единомышленником Платонова. Эта книжка лишь апология по содержанию, фельетон по форме. Не считая работ о смуте и об источниках изучения ее, все остальные работы Платонова за период 1883 — 1912 гг. составили сборник статей, все более приобретавших характер беглых заметок и фрагментов или же юбилейно-трафаретных «слов». За тридцать лет безмятежного и тихого жития, протекавшего по руслу, предначертанному табелью о рангах, пятьсот таких страниц немного. «Лекции» же Платонова, за исключением отдела об опричнине и смуте, научной ценности иметь, конечно, не могли. Со времени издания сборника статей прошло еще почти двадцать лет. Несколько популярных книжек Платонова повторили часть прежних тем из «Очерков по истории смуты». Несколько мелких статей ограничились сводкой давно известных фактов. Две-три других статьи дали фрагменты полусырого материала. Отзыв, данный Платоновым о

работах покойного Преснякова в связи с выставлением кандидатуры последнего в Академии, в большей степени применим к самому Платонову: он не продвинулся дальше по пути научного исследования, чем это было тридцать лет тому назад. Разница только в том, что профессор стал академиком. Рост же репутации Платонова и его общественного веса происходил на почве репутации не знатока смуты, а автора того самого курса «Лекций», который не представлял никакого вклада даже в буржуазную историографию, но делал Платонова официальным представителем свыше разрешенной, высочайше одобренной и августейше покровительствуемой русской исторической науки. В таких случаях остается только почить на лаврах, выступать в роли верховного судии, «подводить итоги», писать предисловия — и Платонов выступал в роли верховного судии. Свою последнюю книжку «Петр Великий» он начинает словами олимпийца, возмущенного А. Толстым, Б. Пильняком и прочими земными «пашквилянтами»:

Для того, чтобы писать эту книжку, я беру перо в те самые дни, когда исполняется двести лет... и т. д.

А свое объяснение мотивов написания этой книжки Платонов кончает словами «строгого немецкого ученого Августа Людвига Шлецера», сказанными по другому поводу в начале XIX в.

Тут экс-профессор русской истории потерял все терпение, с которым он смотрел на этот плачевный упадок — и — написал эту книгу.

Пробил час и среди упадка и беспорядка выступает тот, кому принадлежит решающее и веское слово. В чем оно заключается? В утверждении, что несмотря на разницу точек зрения, принимавшихся для оценки Петра различными представителями русской историографии и общественных кругов,

во всех точках зрения Петр лично получал высокую оценку как громадная движущая сила его эпохи. Отдельные голоса скептиков, в роде кн. Дашковой в XVIII в. и Милюкова в XIX в., получали соответствующие коррективы и достаточно обезвреживались аргументами их критиков.

Взяв за шиворот «обезвреженного скептика» Милюкова, разгневанный Платонов дает ему трепку за то, что тот «высказывает, не стесняясь, прямо пренебрежительное отношение ко всему, что делал Петр», а это не позволяет говорить о возможности Петру «господствовать над реформой, руководить ее ходом вполне сознательно и целесообразно». Великолепно это выражение: «не стесняясь», упрекающее Милюкова в отсутствии придворной почтительности. Мало того, оказывается, что Милюков «не уважает» Петра. Досталось и Ключевскому за допущенный им тон «легкой сатиры» и «в сущности не обоснованной насмешки» по отношению к военной истории того времени. Характерен самый

упрек Милюкову не за то, что он не выяснил внутренних, социальных причин наступления петровских реформ, а за то, что он, наоборот, недостаточно подчеркнул личную роль Петра как «господствующей» над ходом реформ «громадной движущей силы». Тридцать лет тому назад Платонов начал с социального анализа смуты. В 1926 г. он вносит в послужной список главы оппозиции его величества и бывшего профессора русской истории выговор за непочтительность к августейшему предку и за недооценку личного влияния Петра, как «движущей силы» русской истории. В сущности это призыв не только «назад от Милюкова», но и «назад от Соловьева».

Платонов не только строгий верховный судья. Он хочет быть и нелицеприятным судьей. Предисловие к книжке о смуте 1923 г. здесь уже упоминалось. Я все же позволю себе процитировать его — оно очень характерно.

Оставаясь строго фактичным, это изложение не подчинено никакой предвзятой точке зрения, ни субъективной, ни теоретической. Автору хотелось остаться только летописцем данной эпохи, предоставив читателю свободу толкования изучаемых им фактов.

Итак, это претензия быть Нестором, модернизованным при помощи «изящного профессорского фрака». После исследований Шахматова, Приселкова и других о происхождении русских летописей и чрезвычайно сильной политической устремленности летописцев трафаретные монологи по Пушкину если и могут казаться классическими, то лишь по своей наивности. Но Платонов человек умный и вовсе не склонен оставлять читателя беспомощно барахтаться в «свободе толкования». По отношению не только к толкованию, но даже и к предварительной оценке самих источников, привлекаемых к исследованию, Платонов весьма недвусмысленно отказывался от роли мифического «беспристрастного летописца». Точка зрения, вполне определенная и «субъективно» и «теоретически», легла в основу подхода Платонова как исследователя к источникам русской истории. Каждый раз, когда Платонов разбирает моменты классовой борьбы, он руководится этой точкой зрения.

По поводу заметок современника о московском восстании 1648 г. Платонов в статье «Московские волнения 1648 г.» еще в 1888 г. писал, что они написаны «москвичом-современником бунта, не умевшим справиться со своими впечатлениями», который «стоит совершенно на точке зрения бунтовщиков». Мало того, говоря о расправе восставшей мелкой буржуазии с казнокрадами и взяточниками боярами, этот современник прямо «без всякого сожаления говорит о погибели их, как о достойной каре», тогда как сам Платонов деликатно выражается совсем иначе — «бояре, пострадавшие в бунте». Понятно, что несмотря на «фактическую полноту» и «очень яркое отражение» событий в рас-

сказе этого современника, «все эти черты разбираемого рассказа, обнаруживая одностороннее отношение автора к событиям», вызывают призыв Платонова к ученой критической осторожности по отношению к источнику, автор которого «стоит совершенно на точке зрения бунтовщиков».

Понятно, что и относительно документальных источников по истории смуты Платоновым в некоторых вполне и легко определимых случаях регулярно овладевает тот же ученый и критический скепсис. В статье «Московское правительство при первых Романовых» Платонов пишет в 1906 г. по поводу «псковского сказания» (в Пскове классовая борьба нашла себе во время смуты особенно яркое выражение), что «мы не придадим ему значения компетентного свидетельства». Почему? Оказывается, особый характер этого сказания «отнимает у него значение исторического источника». В чем заключается этот особый характер, — в сомнительной подлинности этого самого источника, в его бесцветности и скудности, в его неоригинальности? Нет, Платонов отказывается считать псковское сказание историческим источником просто потому, что «демократическое настроение автора ведет его к крайностям и несправедливости».

В чем заключается, следовательно, непригодность того или иного документального свидетельства современника для изображения хода классовой борьбы пером историка, претендующего в той или другой степени на звание «мастера критического анализа?» Метод отбора прост и даже не требует особой учености. Источник перестает быть компетентным, теряет свое звание источника, если автором документального свидетельства владеет «глубоко простонародное воззрение на ход политической жизни... проникнутое слепою ненавистью к сильным мира сего». Дело, конечно, не в том, что иногда политическая страстность автора какого-либо документального свидетельства из истории моментов ожесточенной классовой борьбы могла привести к неточной передаче фактических событий. Историк по своей профессии должен быть «подозрителен» к любому документу с точки зрения его происхождения и содержания. Но для исследователя Платонова, «мастера критического анализа», дисквалификация источника вытекает именно из классовой его сущности, из его «простонародных», «демократических» тенденций. Не критический подход к источнику, не мифическое беспристрастие воображаемого летописца, а крайняя предвзятость руководит Платоновым, когда он возмущается тем, что современник, писавший о восстании 1648 г., называет восставших тем, чем они были и чем называли их все современники этих событий, — «называет их «миром» и «всею» землею». Эти названия слишком почетные для московской толпы. С годами эта предвзятость «летописца» лишь усиливается. В книжке о смуте, вышедшей в 1923 г., мо-

сковские посадские люди для Платонова уже даже не московская толпа», а «площадная толпа», «чернь московская», «московская площадь», и глубочайшее раздражение сквозит в тоне изложения «летописцем» событий трехсотлетней давности:

Шуйские были одни из первых московских политиканов, взявших привычку обращаться к площади. При Борисе они подвигли «торговых мужиков» просить царя Федора о разводе с женой и т. д.

В разряд черни московской попадает даже московская буржуазия того времени, а «критический анализ» заменяется плоским утверждением, что очень значительная роль буржуазии в событиях смуты объясняется дрессировкой ее Шуйскими в своих интересах: не было бы этой пагубной привычки коронованных политиканов, и события пошли бы иначе. Само собой разумеется, что раздраженно-презрительный тон резко меняется, когда речь идет о тех же «мужиках торговых», но в моменты принятия ими консервативных решений. Любопытно проследить и изложение событий, связанных с выступлением классовых низов московского общества в годы смуты, известным под названием восстания Болотникова и бывшим наиболее оформленным в социальном отношении моментом крестьянского движения в смуту. В своей книге 1899 г. Платонов писал, что Болотников призывал к себе «всех недовольных складом общественных отношений в московском государстве». В своих лекциях (цитируем по изданию 1913 г.) Платонов позднее писал, что Болотников призывал «скопившиеся на Украйне подонки: гулящих людей, разбойников, беглых крестьян, холопей». Масса беглых крестьян, спасавшихся от своих помещиков, и закабаленных за долги холопов, не отождествляется с разбойниками, но ставится рядом с ними и именуется подонками. В 1923 г. ополчение Болотникова просто «воровская рать», а изложение событий до надоедливости пестрит термином «воры» и воры (без кавычек), оказывая своего рода гипнотическое действие на читателя. Говоря о программе Болотникова, поскольку она изложена в агитационных воззваниях врага восставших, патриарха Гермогена, и цитируя эти воззвания как единственный пока источник ознакомления с этой программой, Платонов в 1899 г. после цитаты продолжает:

это был прямой призыв против представителей земельного и промышленно-торгового капитала и им легко увлекались люди, страдавшие от тогдашнего имущественного строя.

В книжке 1923 г. после той же цитаты из воззвания Гермогена мы находим уже следующее «летописное» сообщение, «не подчиненное никакой предвзятой точке зрения, ни субъективной, ни теоретической» и предоставляющее «читателю свободу толкования изучаемых им фактов», как в предисловии уверяет Платонов:

Истребление представителей власти и земельного и промышленно-торгового капитала и усвоение их имущества — вот чем манил Болотников украинскую толпу. На московском языке это было прямое «воровство», т. е. преступление, почему и все войско Болотникова получило имя «воров».

Платонов сводит движение к «усвоению имущества» и немедленно объясняет, что «воры» — воры. Говоря дальше о происхождении прозвища Дмитрия II («Тушинский вор»), Платонов объясняет, что этого второго Димитрия «Москва не даром окрестила презрительным прозвищем Вора, т. е. простого злоумышленника». Эта упрощенная игра на толковании слова «вор» в древно-московском его употреблении, как уголовного преступника, мошенника, вряд ли является критически-научным приемом или, беря противоположность, примитивно-летописной «простотой». В одном из примечаний к хрестоматийному сборнику документов, изданному в 1921 г. («Социальный кризис смутного времени»), Платонов находит же возможным указать, что термин «воры» означал на тогдашнем московском языке «злодеев», «законопреступников», «мятежников». Между смыслом слова «законопреступник» как «мятежник», т. е. политический преступник, и толкованием его в значении «простого злоумышленника», нетрудно заметить разницу, ставшую незаметной Платонову, как только он облачился в рясу «беспристрастного» монаха-летописца. Возможно, что это монашеское облачение виновно и в том примере «летописного» отношения к документам по истории смуты, который мы сейчас приведем, ибо касается этот пример освещения Платоновым роли церкви в событиях смуты. Выше мы имели случай ознакомиться с приемами критической оценки Платоновым самой «компетентности», т. е. пригодности, ценности источника, как основания для освещения и толкования тех или иных событий смуты. Подход оказался строго классовым: выражение в документе демократические, «простонародные» симпатии и точки зрения немедленно вели к признанию самого документа не заслуживающим внимания исследователя. Посмотрим теперь, как Платонов после сугубого подчеркивания своей беспристрастности «летописца» (в духе социально-наивного понимания этого слова) производит толкование документа, предварительно признанного им заслуживающим звания исторического источника. В своем основном исследовании «Очерки по истории смуты» (1899 г.) Платонов указывал, что буржуазия приволжских городов начала движение за прекращение смуты и против захвативших фактически власть в Москве поляков еще до чьих-либо призывов к тому из Москвы, до призывов к тому и со стороны патриарха Гермогена. Относительно Ярославля, напр., Платонов сообщает, что

движения в нем против поляков возникло очень рано и, по сообщению самих ярославцев, даже прежде, чем патриарх начал писать к Ляпунову свои грамоты.

Ярославцы об этой своей инициативе писали еще в феврале 1611 г. Поэтому их риторический отзыв в марте того же года о роли Гермогена в пропаганде антипольского движения, как инициатора, вызвал у Платонова, проводящего этот отзыв, лишь замечание:

Так высоко ставили русские люди подвиг патриарха: он один открыл глаза русским людям на иноземный обман и своею твердостью спас государство от окончательного порабощения.

В 1923 г., провозгласив себя летописцем, Платонов цитирует то же место из грамоты ярославцев, но свои приведенные выше слова заменяет следующими:

Значит, Гермоген один открыл глаза русским людям и своею твердостью спас Московское государство от окончательного порабощения. Так в данную минуту определялось значение Гермогена в ходе дел.

Нетрудно видеть, как относится Платонов к обещанию в предисловии «предоставить читателю свободу толкования изучаемых им фактов». В действительности он не так бессердечен и окружает читателя своей заботливостью во избежение толкования читателем грамоты ярославцев так, как ее в 1899 г. толковал Платонов, и тогда вполне благонамеренный относительно церкви. В силу, вероятно, той же летописности исчезли и всякие следы упоминания о грамотах ярославцев и об их собственной инициативе в антипольском движении, а сам отзыв о патриархе цитируется уже не как риторический оборот речи ярославцев, а как отзыв «современников» вообще. Так, видимостью документального свидетельства, придающего оттенок бесспорности, обосновывается дальнейшее утверждение Платонова:

Очень любопытно то обстоятельство, что почин в деле политического совета и руководства исходил от духовных лиц. Это значило, что с падением государства не пала церковь, и ее представители уразумели, что на них теперь перешла обязанность стать во главе расстроенного смутою общества.

Оперирование историческим документом при помощи как умолчания о времени и обстоятельствах его возникновения так и заведомо неправильного определения его значения позволяет таким образом «обосновать» категорическое утверждение о решающем значении церкви в лице патриарха Гермогена, хотя в 1899 г. сам Платонов указывал на «политическое безличие и бессилие» патриарха.

Любопытно видеть, как политические симпатии автора «Очерков смуты» определенно влияют на его взгляды и по отношению к объяснению другого момента острой классовой борьбы в Московском государстве XVII в. В 1899 г. Платонов рассматривал деятельность нового правительства после смуты и его состав, как компромисс владельческих элементов московского и тушинского политических лагерей, а самый этот компромисс считал доказательством похвальной с точки зрения Платонова «большой гибко-

сти и терпимости в устройстве своих отношений» и «широкого понимания» своей программы вождями дворянско-купеческого блока. В 1899 г. революция 1905-07 гг. была еще впереди и повторение этого блока на основе переворота 3-го июня также еще только предстояло совершиться. В конце 1906 г. политическая ситуация была иная по сравнению с 1899 г. Революция 1905 г. уже отходила в прошлое, реакция усиливала наступление. Основным политическим фоном было крепнувшее политическое соглашение консервативных классов. В статье «Московское правительство при первых Романовых», появившейся в декабре 1906 г., Платонов компромисс Москвы с Тушином не считает уже похвальным. Тот же факт наличия в рядах московской правительственной верхушки после смуты многих видных представителей тушинского лагеря Платонов констатирует уже в иных выражениях:

Новая московская власть не только брезговала услугами бывших ров», но охотно двигала их в первые ряды своих сотрудников.

Отсюда делается и вывод. Считая, что причиной волнений 1648 г. является «возврат» московской администрации при первом Романове, выражавшийся в чиновничьем безудержном грабеже населения, Платонов причину этой развращенности московской администрации видит в том, что «во главе ее после смут стояли чаще всего печальной памяти тушинские дьяки», а поэтому «мы поймем, откуда идут в этой администрации дурные навыки и откуда рождается ненависть к ней». Объяснение причин бурного недовольства общественных низов в середине XVII в. только тем, что в правительстве было много бывших тушинцев, является несомненно выводом плоским и примитивным. Но любопытно политическое содержание этого вывода. Москва как лагерь имущих «средних» классов, как лагерь торгового капитала и дворянства, победила Тушино как лагерь общественных низов. «Спасение» общества и состояло в победе над Тушином и тушинцами. Но спасители быстро доводят спасенных до нового восстания. Кто виноват? Оказывается, что те же тушинцы. Но видеть в этом подтверждение той мысли, что Платонов является представителем не буржуазного, а дворянского крыла русской историографии, как думает М. Н. Мартынов, было бы все же по моему мнению ошибкой. Цитируемая статья кончается указанием, что «дурная трава» в лице московской бюрократии тушинского происхождения не была выброшена «из поля вон», а поэтому и «заглушила добрые ростки управления земского с помощью людей «добрых, разумных и настоятельных». Вывод заключает в себе и предостережение от «излишеств» реакции. Управление добрых людей — это будущая Дума третьего созыва на основе блока консервативных элементов после переворота 3 июня. Более прав поэтому, мне ка-

жется, докладчик, а не М. Н. Мартынов. Статья о правительстве при первых Романовых — предостережение и против примирения с «тушинцами», и против недооценки пользы для имущих классов от упрочения «земского управления». Политические позиции Платонова на основании его научных работ определяются скорее всего тем, как он сам характеризует тот политический лагерь в событиях Смуты, на стороне которого находятся его явные симпатии. В момент наибольшей угрозы имущим классам московского общества со стороны стоявших под Москвою повстанцев Болотникова «совершился общественный отбор и всем стало ясно, что как ни олигархично правительство Шуйского, оно одно в данную минуту может объединить консервативные владельческие классы населения. В момент формирования нижегородского ополчения, осуществившего победу имущих классов над смутой, нижегородцы «осмотрительно подбирали в свой союз только те общественные элементы, которые представляли собою консервативное ядро московского общества». Поэтому и окончание смуты было «торжеством средних консервативно-настроенных слоев московского населения». Эти политические взгляды Платонова отразились на оценке им источников и на толковании их. Примеры тог и другого мы уже видели. Они выдвигают необходимость весьма критического отношения к уже имеющейся историографии смуты и особенно к той части, которая касается в смуте общественных низов.

Х. Лурье.

Товарищи, когда проходил процесс Промпартии, мы видели, что припертые к стене рабочим классом, победоносно строящим социализм в нашей стране, наши классовые враги принуждены были сознаться во всем. Они сознались в таких тяжелых прегрешениях, как вредительство замаскированное, вредительство явное, как взрыв в шахтах и т. д., сознались в попытках отравления рабочего класса. Они сознались в том, что подготовляли интервенцию, что способны были продать Советский союз оптом и в розницу. Но в одном вопросе они сознаться не хотели — они не хотели сознаться, что в области чисто научной они являлись вредителями. Рамзин всячески сопротивлялся раскрытию факта научного вредительства и старался доказать, что в своих научных работах он был совершенно объективен. И нужно было проявить действительно большое искусство нашему суду, в особенности государственному обвинителю тов. Крыленко, чтобы показать, что не было никакого объективизма в их научной работе, что здесь было такое же вредительство, как и в практической деятельности. Если удалось доказать, что вредительство в области технических и естественных наук имело место, то совершенно ясно, что с еще большей резкостью оно, конечно,

должно было быть проявлено в области общественных наук, — поэтому совершенно естественно, когда мы говорим сейчас о работе Тарле и Платонова, то мы ее ничем иным и не можем назвать, как именно вредительством в области исторической науки.

Я остановлюсь на Тарле, т. к., работая по истории Запада, мне приходилось с ним лично сталкиваться и наблюдать его. Надо сказать, что Тарле является вредителем не только в освещении целого ряда проблем, но свою вредительскую деятельность он проявил как организатор исторической науки (а он одно время был организатором Исторического института) и как педагог, так как он вел большую педагогическую работу.

В самом деле, посмотрим, как он подбирал кадры. Был с одной стороны подбор кадров по принципу подхалимажа, и с другой стороны подбор носил явно вредительский характер. В этом отношении общественным организациям приходилось вести большую борьбу с ним. Он оказывал определенное противодействие тому, чтобы создать нужные нам кадры. Здесь он вел себя как вредитель, прикрываясь тем, что он хочет быть марксистом. Когда он привлекался к работе ЛИМа, он никакой помощи как ученый специалист не оказывал. Здесь все товарищи могут подтвердить, что ни одного замечания, которое в малейшей степени можно было использовать, как замечание академика, он не сделал. В большой его эрудиции вообще приходится сильно сомневаться, но если он что-нибудь говорил, то держал себя так, чтобы только чего-нибудь не дать. И это делал Тарле, который так любил популярность! Это было не случайно, это было частью того вредительского плана, который он проводил в исторической науке.

Если говоришь о таких людях, то невольно вспоминаешь о наших советских ученых-революционерах, которые разделили свою участь с рабочим классом. Что в этом отношении можно сказать о Тарле? Он производит буквально жалкое впечатление.

Тов. Зайдель подробно рассказал об эволюции его взглядов, о том, как он дошел до явного вредительства. Но если взять его общую характеристику, то надо отметить, что он не создал никакой школы и в этом отношении его научная ценность не очень велика. Необходимо также отметить, что этот человек является не просто буржуазным ученым — он является тем буржуазным ученым, который отказывается от прежних прогрессивных традиций буржуазии. Я постараюсь это доказать на анализе его работ. Остановлюсь на его работах «Континентальная блокада» и «Европа в эпоху империализма». Его книга «Континентальная блокада» имеет более чем 700 страниц. Если ее как следует прочитать, то можно вскрыть того Тарле, которого мы видим в настоящее время.

К чему сводится суть его рассуждений? На протяжении 700 страниц он говорит об экономической истории Франции, но забыл сказать о той... мелочи, что наполеоновские войска освобождали от феодальной зависимости, что они уничтожали остатки феодализма. Если возьмете общую характеристику, которую он дает в «Континентальной блокаде» всем наполеоновским войнам, — это точка зрения мракобеса. Это даже не точка зрения буржуазных ученых, это точка зрения тех ученых, которые не поняли революционного значения наполеоновских войн. По его мнению, наполеоновские войны нарушали все народное хозяйство Европы. «Они привели в такое состояние хозяйство Италии, Германии, Австрии,» что в конце концов, он подводит читателя к тому выводу, что единственным спасителем был Священный союз, который изъял Наполеона и посадил Людовика XVIII. Он достаточно хитер, чтобы буквально этого самому не сказать, но это единственный вывод, который можно сделать из «Континентальной блокады».

Таким образом, характеристика того, что представляет собой «Континентальная блокада», показывает нам, что Тарле стоял даже не на точке зрения буржуазных ученых, а на точке зрения крепостников, феодалов, тех, которые изображают наполеоновские войны от начала до конца, как нечто реакционное. Он не понимает того, что наполеоновские войны начались как национальные. Они были войнами национальными и революционными. Они защищали Великую французскую революцию против контрреволюционных монархий. Французская буржуазия в них выступала, как своего рода апостол капитализма, уничтожая остатки феодализма и создавая предпосылки для развития туземной промышленности. Но, начавшись как национальные, революционные войны, они впоследствии превратились в свою противоположность. Капиталисты, даже выступая в роли апостолов, главным образом заботятся об увеличении своей прибыли. Также и Наполеон создал французскую монархию, поработив целый ряд крупных жизнеспособных национальных государств, вызвав в свою очередь в них национально-освободительное движение.

Но Тарле не хочет понять происхождения наполеоновских войн, их эволюции. Он сваливает все в одну кучу для того, чтобы заставить читателя сделать нужный ему вывод о Священном союзе.

Вот, товарищи, если и в тот период, когда он писал «Континентальную блокаду», мы видим те зародыши, из которых вырос вредитель Тарле, который действовал на наших глазах, то в гораздо более циничной и откровенной форме это проявляется в его работе «Европа в эпоху империализма». Если взять это произведение, то надо сказать, что если в «Континентальной блокаде» он стоит на крепостнической точке зрения, то тут мы

имеем фашистские тенденции. Он начинает прежде всего с того, что показывает, что и в эпоху империализма буржуазия имеет прогрессивные функции. Он говорит, что и в этой эпохе основным стержнем является борьба между землевладельцами, промышленнками и отчасти финансистами. В действительности же период империализма характерен тем, что если буржуазия не превращается в единую реакционную массу, то мы имеем внутри ее на основе империалистической политики новые конфликтные моменты, а это старается затушевать Тарле. У него имеется указание, что именно борьба между землевладельцами и промышленниками является основной движущей силой этого периода. Буржуазия промышленная блокируется для этой цели с рабочим классом, Тарле хочет лишить рабочий класс самостоятельных задач. Тарле заявляет следующее:

Это невольное, стихийное, так сказать, «сотрудничество» обоих непримиримых враждебных классов, связанных с промышленностью, в тех случаях, когда шла борьба промышленного капитала с землевладением, или в тех трех редких случаях, когда промышленный класс противился свободе банковских и биржевых действий, эта общая заинтересованность в подобных обстоятельствах и предпринимателей и рабочих делали всегда промышленный капитал могучей движущей силой в течение всего периода 1871 — 1914 года (стр. 12).

Тов. Покровский своевременно характеризовал его как классового врага. Тарле выполнил тот социальный заказ, который ему давала буржуазия. Написав свою книгу «Европа в эпоху империализма» в начале 3-го периода послевоенного кризиса капитализма, когда особо обострился антагонизм между английскими и американскими империалистами, Тарле пытается находить основную причину империалистической войны 1914 — 18 гг. в том, что на мировое поприще выступили Соединенные Штаты и это толкнуло Европу на военный конфликт. Этим он подготовляет почву для обоснования необходимости выступления Европы против Сев.-Американских Соед Штатов. Об этом он говорит и во вступительной и в заключительной главах. Так он выполняет социальный заказ европейского империализма. Он прямо и непосредственно считает необходимым эту новую империалистическую войну, направленную против САСШ. Такая установка заставляет его выступить против Каутского, против его трактовки современной эпохи, как эпохи ультраимпериализма. Тарле полемизирует с буржуазным пацифизмом с точки зрения агрессивной фашистской идеологии, которая проповедует необходимость новой империалистической войны.

Признавая, — говорит он, — финансовый капитал колоссальной движущей силой современного исторического процесса, мы и подавно не имеем ни малейшего логического права принимать эти пацифистские мечты Каутского о бескровном «ультраимпериализме» за нечто реальное.

И дальше добавляет:

И хоть очень дорога и «невыгодна» была война 1914—1918 гг., есть все основания думать, что финансовый капитал и все подчиненные ему силы могут и впредь в тот момент, который они найдут подходящим, поскольку это от них будет зависеть, снова не остановиться перед расходами и «невыгодами».

Но совершенно очевидно, что острие новой империалистической войны направлено против СССР. Поэтому целью его книги является борьба с социалистическим строительством и социалистической революцией. Он начинает как бы с невинной полемики, с заявления:

Как смешны те, которые думали в начале, что как будто бы с началом 1919 года Европу ожидает какая-то гибель, люди говорили о крушении европейской культуры, эти люди являются болтунами и фантазерами, действительность ничем не оправдывает такое положение.

И он делает окончательный вывод о преходящем характере революции, о неизбежности вечного существования капитализма.

Ни «гибели», ни «спасения», — заявляет он, — продолжающаяся, непрерывная, часто бурная и болезнетворная, эволюция, продолжающаяся, характерная для социалистической природы капитализма, одновременная внешняя (международная) и внутренняя классовая борьба его за свое существование и преобладание, — борьба, развивающаяся для американского капитала в условиях более благоприятных, чем до 1914 года, для европейского капитала — в условиях, в общем, менее благоприятных, в долгом процессе которой дальнейшие катаклизмы, болезненные сдвиги и столкновения остаются более чем вероятными.

Таким образом, прошлые революции, это просто катаклизмы, которые, естественно необходимы для дальнейшего благотворного развития капитализма, капитализм будет вечно существовать, но он будет проходить через определенные болезненные случаи. Америка находится в более благопрятных условиях чем Европа, но по сути дела ничего не изменяется. Тарле доказывает вечность капиталистического строя, невозможность социализма, крушение всех ставок на социальную эволюцию и пропагандирует новую войну. В этой книге он не может совершенно открыто и ясно сказать, что новая империалистическая война должна быть направлена не только против северо-американского империализма, но главным образом против Советского союза, но именно в пропаганде этого ее основная цель.

Нечего говорить о том, что в отношении расшифровки Тарле мы несколько запоздали и что можно было бы быть более проницательными. А у нас в Ленинграде очевидно был некоторый недостаток классовой бдительности. Это нас обязывает по отношению к ряду других товарищей, которые работают совместно с нами, усилить классовую бдительность. Я говорю о тех товарищах, которые работают вместе с нами. Я имею в виду работы

Розенталя. Нужно обратить внимание на то, что мы имеем целый ряд идеалистических построений, и до сих пор мы от него не слыхали, что он отказался от них. Товарищи, необходимо, чтобы все те, кто хочет работать вместе с нами, действительно показали — вместе ли они с нами, или против нас.

Н. Н. Розенталь.

Я предполагал говорить по поводу работ Тарле, но неожиданное замечание т. Лурье по моему адресу выбило меня из колеи. Я себя вредителем не считал и не считаю. Надо надеяться, что своей работой я не даю возможности подозревать во мне врага. Мне кажется, что несправедливость обвинения Лурье может быть лучше всего доказана именно моей работой, и я очень хотел бы выступить перед аудиторией с отчетом обо всем том, что мной сделано, и, в частности, о моей книге о «торговом капитализме». Как должна помнить т. Лурье, я еще в прошлом году, во время нашей дискуссии, решительно отказался от механистического понимания «эпохи торгового капитализма». Своих методологических ошибок, поскольку они осознаны мною, я ни от кого не скрываю и сам постоянно указываю на них моим ученикам. Разумеется, из этого вовсе не следует, что я не продолжаю делать новых ошибок. Вообще итти по пути широких исторических обобщений, не впадая в ошибки, не так легко.

Но перехожу к теме нашей настоящей дискуссии. Первоначально я не собирался в ней участвовать, так как научно-общественная деятельность Тарле и Платонова всегда была далека от меня. Но в виду политической важности дискуссии я позволил себе взять слово и, в частности, хочу остановиться на единственной работе Тарле в области моей специальности, на его книжке «История Италии в средние века». Книжка эта не актуальна и не имеет никакого научного значения, но, при отсутствии других пособий на русском языке, нам, историкам средних веков, к сожалению, приходится иногда называть ее учащимся. К тому же она представляет собою известный интерес постольку, поскольку в ней вырисовывается методология Тарле. Судя по ней, следует признать что т. Зайдель был неправ, считая Тарле начала 900-х годов экономическим материалистом. Тт. Щеголев и Молок справедливо возражали ему, что Тарле был в то время наивным идеалистом. Действительно, читая «Историю Италии в средние века», нельзя не удивляться тому, с какой наивностью автор пытается объяснять исторические факты. Эти объяснения можно воспринять только как ряд анекдотов, свидетельствующих о крайне низком научном уровне старой буржуазной историографии и особенно медиэвистики.

Может быть вас интересует, товарищи, почему в VI веке в

Италии пало готское государство? Тарле считает главной причиной этого религиозный фанатизм туземного итальянского населения, не желавшего мириться с господством иноверцев — готов.

Как это ни странно, — пишет он, — агрессивную политику начали представители религии побежденных... Терпимость Теодориха, столь полезная для всех, исповедовавших никейский символ веры, ничуть не казалась римлянам примером, достойным подражания: религиозная ревность их была так велика, что они не могли платить тою же монетою арианам. [1]

Итак, несмотря на то, что готы были терпимы по отношению к населению Италии, это население восстает против них в силу своего религиозного фанатизма. Вы видите, что у Тарле нет никакого представления о действительном положениии вещей, об экономических связях Италии VI века, о классовых противоречиях внутри итальянского общества, о социальном содержании религиозной борьбы того времени. Кроме религии роль решающего фактора в истории Тарле приписывает субъективным свойствам личности. По его мнению, печальная судьба готского государства в Италии была в значительной степени обусловлена психологическим одиночеством короля Теодориха Великого, которого он, кстати, сравнивает с Петром I.

Надолго сохранили и итальянцы и готы, — читаем мы, — память о своем умном, храбром, добром, но вспыльчивом короле, который не достиг того, о чем мечтал всю жизнь, который *один* (! — *Н. Р.*) в свою варварскую эпоху ставил себе цели чисто культурные, недостижимые и неосуществимые силой меча. [2]

Известно ли вам, товарищи, чем Тарле объясняет распространение монашества, этого сложнейшего социального продукта распада античного мира? Не чем иным, как поучительным примером «святого» Бенедикта Нурсийского.

Уже при Тотиле по Италии ходили слухи, — говорит он, — что появился святой, божий избранник, идущий и ведущий других по стезе спасения. Бенедикт Нурсийский начал свою подвижническую деятельность в пещере близ Субиако. Слух о его самоистязаниях и долгих молитвах быстро распространился... Знатные римские юноши, люди разных сословий, приходили к нему, требовали совета и руководства. Он основал скоро больше десятка маленьких монастырей... [3]

Нужны ли какие-либо комментарии к этой выдержке? Несомненно, что при таком отношении к фактам весь исторический процесс можно упростить до нельзя. Излагая историю Италии в период лангобардов, Тарле целиком сводит ее к взаимоотношениям между папами и лангобардскими королями. Оказывается, с королем Рачисом «папе было легче вести дела», чем с его предшественником, Лиутпрандом.

---

[1] «История Италии в средние века», 1906 г., стр. 16—18.
[2] Там же, стр. 24.
[3] Там же, стр. 34.

Рачис отличался мечтательным настроением и, повидимому, большой впечатлительностью: он сначала, узнавши, что папа заключил с Византией тайный против него союз, подступил к Перуджии, ключу Рима, и готовился уже взять ее, когда внезапно отменил свое решение под влиянием приема папы Захария, аналогичного тому, который был пущен в ход в эпоху Лиутпранда папою Григорием II. Захарий явился в лагерь Рачиса и убедил его снять осаду. Мало того, папа так повлиял на ум короля, что Рачис отрекся от престола и вместе со всею семьею постригся в мнахи. После этой удачи папа и вся римская Италия могли на время успокоиться.[1]

Примеров такого же чудовищно-наивного подхода к историческим фактам можно привести из цитируемой книжки Тарле сколько угодно. Все серьезнейшие проблемы средневековой истории решаются им буквально с «необыкновенной легкостью мыслей». Чем было вызвано иконоборческое движение? Тем, что мусульмане насмехались над иконопочитанием, сравнивая его с поклонением идолам.[2] Почему образовалась «Священная римская империя германской нации»? Потому, что обиженная Адельгейда пригласила в Италию германского короля Оттона I, которому вообще были свойственны «известная любовь к приключениям, честолюбивые планы, политическая мечтательность».[3] Чем объясняется борьба папств с императорской властью в XI веке?

Мы можем, — замечает Тарле, — игнорируя всех предыдущих пап, говорить только и исключительно о политике, тенденциях и воле одного Гильдебранда. Он был сначала тайною, потом явною могущественною пружиною, двигавшею всю политику Рима, за двадцать пять лет, предшествующие его понтификату.[4]

Наивный идеализм Тарле, разумеется, имеет под собой определенную классовую базу. Сводя основное содержание исторического процесса к действиям отдельных личностей, рассматривая эти личности как естественных представителей идущих за ними масс, Тарле не только до крайности упрощает социальную действительность, но и явно затушевывает ее внутренние противоречия. В его книжке вы не найдете никакого анализа революционных движений общественных низов. Города, правда, выступают у него против феодалов, но о борьбе внутри городских общин Тарле ограничивается только глухим упоминанием. О революционном сектантстве XII — XIII вв., о так называемом «еретическом коммунизме», о восстании Дольчино и связанной с ним крестьянской войне он не говорит ни слова, точно так же, как в другой своей книжке «История Италии в новое время» он, по правильному указанию т. Молока, ничего не говорит о движении флорентийских «чомпи». По существу, ни одна из истори-

[1] «История Италии в средние века», стр. 46.
[2] Там же стр. 71.
[3] Там же, стр. 97.
[4] Там же, стр. 107.

ческих работ Тарле не является работой по истории классовой борьбы. Что же касается его идеологии начала 900-х годов, то она безусловно должна быть названа наивным идеализмом.

Кончая, в виду отсутствия времени, хочу особо подчеркнуть критическое положение на фронте изучения истории средних веков. У нас нет серьезных марксистских работ в этой области. Нужно надеяться, т. Лурье, что этот пробел современем удастся восполнить, — конечно, если вы не будете относиться к нашим ошибкам чересчур непримиримо.

С. Томсинский.

Товарищи! Я очень каюсь, что ограничивал время предыдущих ораторов (смех). Сегодняшняя дискуссия имеет большое политическое значение. Ученики Лаппо-Данилевского и Платонова, которые здесь находятся, должны себе отдать ясный отчет: в действительности ли изжили они взгляды и настроения своих бывших учителей. Здесь были выступления Валка и Введенского. Эти выступления носили крайне наивный характер. В наше время наивных людей не существует. Поэтому к этим выступлениям надо отнестись крайне настороженно. С. Н. Валк пытался доказать, что Лаппо-Данилевский плохой теоретик (с чем соглашаемся), но хороший практик, его практика может нам послужить. А. А. Введенский сказал, что Лаппо-Данилевский был и плохой теоретик и плохой практик, но среди его учеников были три течения. Он себя считал сторонником третьего левого течения. Это течение прибило его к берегам марксизма. Стало быть левое крыло правых монархистов переросло у Введенского в марксизм. Отстаивать эту точку зрения — значит не понять своего учителя и вместе с тем остаться в его плену.

Когда умер Лаппо-Данилевский, Пресняков повторил слова Гревса, Гревса, скорбевшего по умершему Лаппо-Данилевскому:

> В натуре Лаппо-Данилевского глубоко и неустранимо заложены были начала религиозности, не внешней, поверхностной, основанной на привычке к формам традиционной церковности, а глубокой и личной, соединенной с неослабным стремлением озарить повседневность образом высшего, вечного, стать под покровительство абсолютного начала.[1]

«Стремление встать под покровительство «абсолютного начала» хорошо характеризует личность дворянина-помещика. Сам Пресняков говорит, что Лаппо-Данилевский — ярко выраженный тип аристократа.

Лаппо-Данилевский говорит о человеке как об интеграле, управляемом высшим духовным существом, о независимых переменах в общественных явлениях. Эта теория не очень вяжется с нашей практикой. Эта теория никуда не годится. Но интересно,

[1] А. Пресняков, «А. С. Лаппо-Данилевский», 1922, стр. 10.

что тов. Валк в наше богатое творческое время доказывает, что теория Лаппо-Данилевского не была связана с практикой, что его система документации не связана с его классовой теорией. Действительно ли так может быть? Действительно ли система публикации Лаппо-Данилевского не связана с его взглядами?

С. Н. Валк повторяет Неволина, который в 1859 г. писал:

Если науки естественные должны быть изучаемы для них самих, из уважения к их внутреннему достоинству, если для них было бы унижением, когда бы стали изучать астрономию только для того, чтобы при ее помощи безопаснее направлять бег корабля, химию для того, чтобы лучше выделывать материи на фабриках, то явления нравственного мира более заслуживают быть изучаемы сами по себе, без отношения к практическим целям.

Вот видите, таким образом, что Валк находится в плену у Неволина, историка, писавшего лет шестьдесят тому назад. Странно слышать из уст тов. Валка, что теория Лаппо-Данилевского не была связана с практикой.

Обратимся к сборнику правил Лаппо-Данилевского по изданию грамот Коллегии Экономии. В пунктах 8 и 9 сказано:

8) Грамоты располагаются по областям, границы которых определяются соответствующими старинным административным делениям по официальным источникам, по писцовым и разрядным книгам.

9) Если несколько уездов образуют одно административное целое, во главе которого стоит воевода, то грамоты располагаются в пределах этого целого, а не отдельно по каждому из образующих его уездов.

Эта «систематизация» материалов является чисто великодержавной, — она не учитывает национальных особенностей районов так же, как их не учитывала старая приказная система. Материалы надо систематизировать по классовому и социальному признаку. А у Лаппо-Данилевского приказный является солнцем, вокруг которого вращается история земли. У Лаппо-Данилевского документ — самоцель, а не средство для достижения цели. Эта идея еще глубоко довлеет над многими историками. Недавно мы получили в Академии наук любопытную статью о борьбе Грозного с боярством. Статья написана на основе материалов опричника Штадена. Основная проблема (о заговоре бояр против Грозного) не могла быть решена — автор уперся в квадратуру круга; он занялся анализом документа вместо того, чтобы на основании документа решить проблему о классовой борьбе. Дворянско-буржуазная школа боялась систематизировать документы. Классовая борьба у нас выпирала из всех щелей. Надо было ослабить впечатление и силу таких документов. И вот издаются «Дела Тайного приказа», «Архив Строева» и т. д. Когда читаешь эти «дела» и «архивы», то убеждаешься, как классовая борьба испаряется, основные вехи истории тонут во мху и топи болот, весь исторический процесс разбивается, распыляется на мелочи и дребедень. Это делалось не спроста.

---

[1] Сочинения, т. VI, стр. 6.

Можно ли после этого считать, что система документации не связана с классовой борьбой?!

Откровением левого течения лаппо-данилевцев Введенский считает то обстоятельство, что они — увидели, что документ эволюционирует. Эта Америка уже была известна Костомарову. Некий Геннадий Карпов в 50-е годы XIX в. требовал издавать документы не в хронологическом, а в «естественном» порядке... Не странно ли в нашу эпоху видеть только эволюцию документа! Революция смела все феодальные и буржуазные учреждения, а они обнаружили только эволюцию документа... Любопытно. Болотниковцы, разинцы, пугачевцы в первую очередь уничтожали документы, а Валк считает документ продуктом внеклассовых отношений.

Тов. Введенский убеждал нас в том, что Платонов не занимался грубой фальсификацией документов. Он, Введенский, историк Строгановых, знает, что Строгановы действительно организовали отряды для подавления смуты. Недаром Введенский изучал историю Строгановых.

Введенский не совсем уяснил себе характер фальсификации документов, если он думает, что эта фальсификация должна иметь только грубый характер.

Посмотрим, как Костомаров и Соловьев подходили к документам. Костомаров пользовался главным образом украинскими летописями, народными сказаниями в особенности данными летописи Величко, врага Московии. Соловьев пользовался исключительно материалом Архива министерства юстиции. Великодержавники поэтому обвиняли Костомарова в фальсификации. Вспомним спор Костомарова с великодержавными историками о том, присягали ли бояре верности самостийной Украине при Юрии Хмельницком, или о том, когда возник малороссийский приказ. Здесь и та и другая сторона прибегала утонченной фальсификации.

Был и другой прием фальсификации документа — вспомним историю с выделением Холмщины при Столыпине. Вспомним крупные споры между поляками и нашими великодержавниками о способах издания материалов по истории юго-западной России.

Я недостаточно знаком с тем, как обстояло дело с публикацией документов по истории Западной Европы — документация же в России *буквально залита кровью*. Нигде эта проблема не стояла так остро, как у нас. Вспомним, как царское правительство действовало, чтобы получить численный перевес русских в Польше. Все это делалось на основе фальсифицированных документов. И вот, товарищи, можно ли сказать, что документы не связаны с практикой? Надо сказать: или вы себя обманываете, или хорошо вводите в заблуждение других.

О тов. Введенском. Я прочел его работы. Что же получается?

Он стремится к ползучему эмпиризму. Я имею в виду не только тов. Введенского, но и работы Любомирова, Веселовского, Бахрушина и многих других. Является ли случайным этот ползучий эмпиризм? На-днях т. Введенский дал мне свою статью по истории иконописи. Это перл — вроде жития святых. Нужно, конечно, заняться историей иконописи. Надо марксистам показать, в какой степени иконопись была связана с классовой борьбой. Можно ли писать о них, как писал Лихачев, Кондаков и прочие православные исследователи? Даже Буслаев понимал это лучше Введенского. Это лучше понимал и протопоп Аввакум, писавший в середине XVII в. Этот протопоп был связан с революционно-настроенной массой. Поэтому он понял социальный смысл икон. Он писал, обращаясь к никонянам: «Вы пишете святых толстобрюхих, толстокожих, и руки и ноги у них яко стульцы»... Святые же должны быть пригвожденные, измученные», так как «бедный христианин шесть дней мается в труде».. Введенский же этого не понял. Он рассказывает нам, какими красками мазали богомазы.

Введенский не понимает тематики. Это видно из того, что у него имеются интересные места, но он не сумел за них уцепиться, схватиться. Возьмите вопрос о портретных иконах дома Строгановых: ведь не случайно заказывались портреты помещиков и купцов и заносились на иконы. Вот этот процесс надо изучить.

Введенскому кажется, что он — объективный историк. Я вспоминаю рассказ Пришвина о том, как он сфотографировал ручей, который переходила курица, а в результате получилась большая река, какой-то Ниагарский водопад. Если врет объектив фотографа, то «объективисты» — врут гораздо больше. Меринг сказал: «Жалок тот историк, который не обладает долей воображения». Этой доли воображения у вас нет. После Костомарова и Соловьева буржуазная историческая наука вступает в полосу упадка. Нигде не была так остра классовая борьба, как в России — мужики как палачи с топорами стояли у барского порога.

Дворянско-буржуазные историки утопали в мелочах. Это был своего рода расслабленный фокстрот, который их убаюкивал.

Ползучий эмпиризм не является случайным. Это методология дворянско-буржуазных историков в период упадка. После Костомарова, Соловьева наши историки боятся проблем.

Наша буржуазная историческая наука измельчала, выродилась. Не очень давно мы получили статью от историка Смирнова. Он пытается доказать, что революция находится в связи с солнечными пятнами. Эта статья — замечательный плагиат. За этот плагиат его, конечно, можно было бы посадить в сумасшедший дом. Таких историков у нас еще не мало: Полосин, который бросает мысль о желании Ивана Грозного насадить

военный коммунизм, Веселовский, считающий приказных дьяков движущей силой истории и т. д.

Иностранный путешественник XVI в. отметил, что в Англии короли управляются королями, во Франции короли — людьми, в Германии люди — скотами, в России — скоты скотами. Наши буржуазные историки считали, что в России короли управляют скотами. Эта мысль красной нитью проходит у историков, писавших о крестьянских движениях. Наша буржуазная историческая наука в целом это отметила, когда торжественно праздновала юбилей 1812 и 1613 гг.

Товарищи! Я должен сказать ученикам Платонова и Лаппо-Данилевского (*Введенский:* Только Лаппо-Данилевского), выступившим и тем, которые не хотели выступать (это, конечно, их дело), что им еще много придется поработать над собой, прежде чем они смогут сказать, что они отошли от платоновской методологии. А отход от Платонова еще не означает приход к марксизму.

З. Лозинский.

Еще не так давно находились отдельные лица, которые склонны были даже придворного историка Платонова трактовать чуть ли не как «стихийного марксиста». К сожалению, это не анекдот, а действительный факт. В издании одного из местных вузов мне довелось недавно прочесть об одном весьма любопытном диалоге между покойным Пресняковым и его учеником. Последний просил Преснякова рассказать о своем отношении к марксизму. Покойный историк ответил, что он стоит к марксизму гораздо ближе, чем большинство старых русских историков, но что марксистом он все же себя не считает. Этот ответ не удовлетворил студента, который высказал предположение, что Пресняков, якобы выступая в своих последних трудах и лекциях как марксист, не сумел себя только марксистом осознать. Пресняков усмехнулся и рассказал, что Платонова тоже кто-то пытался изобразить, ссылаясь на его труд о «смуте», неосознавшим себя марксистом, и что оный неосознавший себя «марксист» в ответ на это воскликнул: «Неужели, граждане, я уже такой несознательный, что до сих пор не мог осознать свои позиции!»

Это происходило не очень давно, и об этом не мешает вспомнить. Правда, сейчас вряд ли найдутся такие бесподобные чудаки, которые искренно верили бы в «марксизм» историков, разоблаченных как злейшие наши классовые враги. Но не исключена возможность новых вылазок классового врага, кой-какие следы вредительской работы могут еще и в дальнейшем сказаться, и мы должны всячески мобилизоваться для того, чтобы отдельные проявления «платоновщины» и «тарлевщины» могли всегда встретить должный отпор.

Особенности настоящего момента обязывают нас тщательней, чем когда бы то ни было, проверить свою боеспособность, свою готовность к развернутой и последовательной борьбе как с явным классовым врагом, так и со всякими сомнительными тенденциями, имеющими место на нашем историческом фронте. Все ли у нас благополучно в данном отношении? Все ли наши работники могут считаться пригодными для активного участия в развертывающейся борьбе под знаменами марксистско-ленинской теории? Ответ наш должен быть короток и ясен: далеко не все! Чтобы доказать это, я постараюсь хотя бы в самых общих чертах остановиться на литературной деятельности одного из наших работников, научного сотрудника Института истории, С. В. Вознесенского. Кстати, последний несколько лет тому назад возглавлял историческую секцию блаженной памяти «Научного общества марксистов».

Что собой представлял С. В. Вознесенский в дореволюционный период? Тов. Цвибак уже упоминал о статьях Вознесенского, помещенных в пресловутом монархическом сборнике «Государи дома Романовых». Это — не единственный «цветочек», хотя аромат его и исключителен.

В одной из своих рецензий, напечатанных до революции в журнале «Русская школа», Вознесенский выражает свою солидарность с концепцией Эдуарда Мейера:

Мы, конечно, вполне присоединяемся к мнению Эд. Мейера, что «между всеми отделами истории политическая история занимает первенствующее положение».

О классовой физиономии того же Эд. Мейера неплохо сказано в статье Вознесенского, опубликованной в 1929 г. В этой статье Вознесенский отмечает, что ни

русские, ни западно-европейские историки, поскольку они твердо стояли на почве признания современного буржуазно-капиталистического строя естественным, само собою разумеется, не могли и не желали «преодолевать» Гегеля. Пока человеческая жизнь не изменится в корне, — писал Эд. Мейер в своих «Теоретических и методологических вопросах истории», — до тех пор политическая история будет занимать центральное место в истории, ибо от политических событий находятся в сильнейшей зависимости все проявления деятельности человека. Немудрено, что, несмотря на частные исторические исследования, резко противоречившие гегелевской концепции... эта концепция продолжала владеть умами исследователей, так как в рамках буржуазной идеологии ее нечем было заменить.

Таким образом самому Вознесенскому ясен теперь буржуазный облик Мейера. Но это обстоятельство обязывает его признать, что поскольку он в дореволюционный период солидаризировался со схемой Мейера, постольку он и сам не выходил за «рамки буржуазной идеологии».

Позиция того или иного историка в значительной степени

определяется отношением его к существующим историческим школам. Отношение Вознесенского к Мейеру мы уже выяснили. Теперь коснемся вскользь отношения Вознесенского к Ключевскому. Оказывается, что

Ключевскому мы обязаны выработкой новых принципов чисто научного построения истории. В «Боярской думе» Ключевский впервые развернул вполне научную социологическую схему, которая легко, без всяких натяжек, без всяких урезываний вобрала в себя все многообразие исторической жизни России.

Судите сами, может ли подобная панегирическая оценка выйти из-под пера подлинного марксиста, — а ведь Вознесенский до сих пор выдает себя за «марксиста с 1904 года». Говоря о том признании, которое получили научные заслуги Ключевского, наш «марксист» не забывает упомянуть, что в 1903 г. «великому методологу русской истории» был пожалован чин тайного советника.

В своей статье о Ключевском Вознесенский пытается изобразить знаменитого буржуазного историка чуть ли не как родоначальника марксистской историографии. Схема Ключевского «была построена на признании зависимости политических фактов от социальных явлений, в свою очередь обусловленных эволюцией народного хозяйства». И это — отметим — было высказано в то время, когда на Западе, выражаясь словами Милюкова.

экономический материализм еще представлялся скорее, как общая тенденция изучения, чем как готовая философски-политическая доктрина, — скорее по Роджеру, чем по Марксу.[1]

Вряд ли нужно доказывать, что схема Ключевского изложена здесь ошибочно, с величайшими натяжками. Бросается в глаза любопытное противоречие: с одной стороны Вознесенский расшаркивается перед Э. Мейером, с другой стороны, он с сочувствием отзывается об «экономическом материализме» Ключевского. Подобные противоречия характеризуют Вознесенского на всем пути его научной деятельности: одной из основных черт его является неспособность к монистическому мышлению, резко выраженный эклектизм, неумение в вопросах мировоззрения свести концы с концами.

Особенно колоритный характер приобрела литературная деятельность Вознесенского в годы войны. В этот период особым вниманием Вознесенского пользуется «проблема славянства», при чем в своих реакционно-славянофильских высказываниях он доходит поистине «до последней черты». Империалистическую войну Вознесенский рассматривает под углом зрения борьбы «германизма и славянской стихии». Особенно ярко эта точка

[1] «Русская школа» 1911, кн. IX.

зрения изложена в статье «Галицкая Русь в борьбе за независимость». В предисловии к брошюре «Славянство в русской журналистике» (1915) мы находим следующие утверждения, вполне уместные на столбцах «Нового времени»:

В переживаемые теперь Европой грозные дни в русском обществе, без сомнения, народилась серьезная потребность в ознакомлении со славянским миром, который Россия торжественно призвала наконец к свободе и единению.

Далее Вознесенский горько сокрушается, что

чаще и охотнее сознавая себя европейцами, чем славянами, мы, русские, гораздо больше интересовались стихией романо-германской и только в редкие моменты своей истории обращали внимание, и то довольно - таки мимолетное, на стихию славянства.

В 1917 году Вознесенский уходит с головой в политическую деятельность, принимая активное участие в плехановской группе «Единство». В газете этой группы он напечатал ряд статей, в которых развивает чисто кадетскую по существу программу. Конфискацию частновладельческой земли он считает мерой «вредной для пролетариата и всей страны». Он решительно выступает против тезиса о предоставлении отдельным народностям самых широких прав на культурное, административное и политическое самоопределение». Даже система «государственного капитализма» представляется Вознесенскому мало подходящей для его «родины». В этом пункте Вознесенский оказался правее «левого» кадета Степанова (автора известной «Записки»).

Россия принадлежит к числу тех стран, про которые Карл Маркс сказал, что они страдают не столько от развития капитализма, сколько от его недоразвития... не через регулирование и контроль над производством, а через рост производства возможен переход от капитализма к социализму.[1].

После Октябрьской революции С. В. Вознесенский частенько цитирует Маркса, всячески кокетничает с марксистской терминологией, выдает себя за стопроцентного марксиста, даже выдвигается отдельными товарищами на руководящую идеологическую работу (т. н. «Научное общество марксистов»), но, в конечном счете, всерьез считать его марксистом могут или люди, имеющие очень смутное представление о марксистской методологии, или товарищи, недостаточно осведомленные о характере его работ.

В 1923 г. Вознесенским был опубликован указатель литературы по русской истории. Этот указатель содержит целый ряд программ по истории России, при чем наибольший интерес представляет предисловие и весьма обширные комментарии, которыми снабжены основные разделы книги. В этой своей работе Вознесенский пытается построить новую схему периодизации

---

[1] Газ. «Единство», 1917, № 168.

исторического процесса, обязуясь при этом решительно отмести весь мусор, который накопился за многие десятилетия в работах буржуазных историков. Данная попытка вновь подчеркивает эклектизм Вознесенского, его неспособность продумать вопрос до конца, примитивность и «младенческий возраст» его методологии.

Вознесенский признает «лишь некоторую ценность за попытками в этом направлении (выработки периодизации — *З. Л.*) историков-марксистов», и поэтому он выдвигает свой проект, «являющийся до известной степени синтезом».

Интересно отношение Вознесенского к путаной немарксистской, насквозь эклектической схеме Рожкова. Периодизацию этого историка Вознесенский признает слишком абстрактной и в этом отношении

вполне пригодной для социологии, но отнюдь не для истории, так как она совершенно не исходит из конкретного материала, представляемого именно русским историческим процессом.

При таком отношении к схеме Рожкова, оказывающейся к немалому нашему удивлению «вполне пригодной для социологии», Вознесенский, конечно, бессилен выбраться из пут рожковской периодизации.

Секрет выработки новой «синтетической» периодизации гениально прост: плохо перевадренную схему Покровского разбавить рожковщиной, кое-где Рожкова заштопать случайно вырванными текстами Покровского... На стр. 41 рекомендуется «в дополнение и уяснение того, что дал Рожков», обратиться к Покровскому, на стр. 84 Покровский опровергается Рожковым, и т. д. и т. п. В схеме Вознесенского мы найдем и «эпоху господства добывающей промышленности», и «эпоху земледельческого хозяйства», и пр. перлы. В XVIII веке, по мнению автора «синтетической» схемы, господствовало «рабовладельческое» (?) хозяйство. Весьма пикантно звучит последний тезис о «Февральской *революции*» и «Октябрьском *перевороте*» (!)

После этого надо обладать богатым воображением, чтобы выдавать себя за «старого марксиста».

Как относится С. В. Вознесенский на данном этапе к предшествующим историческим школам? Сегодня, после того, как мы заслушали доклад о вредительской деятельности Платонова, небезынтересно ознакомиться с тем, что писал недавно об этом историке Вознесенский. Характеризуя «петербургскую школу историков», перечисляя ее заслуги в отношении тщательного изучения источников и углубления методов исторического анализа, он отмечает, что «блестящими образцами» исследовательской работы этой школы

до сих пор могут служить многие труды А. С. Лаппо-Данилевского, А. Е. Преснякова и в особенности С. Ф. Платонова. Последний, например, в своих очерках «Смуты», главным образом благодаря необычайно глубокой обработке материалов, сумел рельефно вскрыть основные моменты классовой борьбы, развернувшийся на рубеже XVII века в Московском государстве.

Но и петербургская школа историков подобно московской не выработала на смену старого «нового целостного понимания русской истории». [1]

С точки зрения нашего «марксиста», Платонов повинен только в одном: он не дал «целостного понимания» истории. В остальном он, очевидно, не внушает Вознесенскому особых сомнений. Предоставляю вам, тт., судить, можно ли в 1929 г. так писать о классовом враге.

Каков характер того «марксизма», адептом которого объявляет себя Вознесенский, показывает тот факт, что к фаланге «исследователей-марксистов» он причисляет... Петра Струве и Туган-Барановского. Это, товарищи, написано не в «доисторические» времена, а в 1923 и 1929 гг.! Назвав имена Струве и Тугана, Вознесенский сейчас же поспешил оговориться, что оба они — *бывшие* марксисты. Очевидно Вознесенский уверен в том, что Струве и Туган-Барановский когда-то действительно были марксистами. Час от часу не легче!

Несколько слов об отношении С. Вознесенского к М. Н. Покровскому. В прошлогодней дискуссии (об общественных формациях) Вознесенский гордо заявлял, что он гарантирован от многих ошибок, поскольку, в отличие от многих учеников Покровского, непосредственно «шел от Маркса»... Особенно недоволен Вознесенский Покровским за неправильное, по его мнению, решение вопроса о торговом капитале и крепостничестве.

Если мы будем говорить, что торговый капитал, в лице купцов, защищал крепостное право, то это значит, что мы ничего не поймем во взаимоотношениях между дворянами и купцами... говорить о том, что торговый капитал создал крепостное право в своих интересах, никак нельзя... Это было выгодно не купцам, а проводилось в интересах исключительно землевладельческого дворянства. [2]

Мы уже указывали в начале речи, как легко меняет Вознесенский свои взгляды, как непостоянен он в своих обобщениях. Высказывания его о Покровском не составляют исключения. Сравните, к примеру, приведенную нами выдержку из стенограммы дискуссии со следующими строками, заимствованными из статьи, посвященной 60-летнему юбилею Покровского:

«Русская история» М. Н. Покровского, вскрыв действительный характер торгово-капиталистического строя Московской Руси и его воздействия на социальную структуру общества, наглядно показала, что не московское

[1] «Записки Научного общества марксистов», 1929, № 1/13.
[2] «Спорные вопросы методологии истории», . 132.

самодержавие создавало сословно-классовые группировки в русском обществе, а наоборот: оно само явилось созданием определенных общественных классов — дворянства и богатого купечества, одинаково заинтересованных в установлении крепостного права над крестьянством.[1]

Что это: двурушничество, научная недобросовестность, отсутствие твердых убеждений? Вернее всего — и то, и другое, и третье!

Нововременский мудрец, черносотенец и циник В. В. Розанов любил говорить в утешение себе и себе подобным, что «и божии светила движутся кривыми путями». С. В. Вознесенский может гордиться: им тоже пройден весьма и весьма «кривой путь». К несчастью, «света» до сих пор что-то маловато.

У Вознесенского очень много претензий. Но как бы он ни божился великими именами, пока дело ограничилось лишь весьма поверхностным и несерьезным «знакомством» с Марксом. Вознесенскому еще остается доказать, способен ли он вообще к усвоению марксизма, без подмены его «марксической» фразеологией и дешевой эклектической стряпней. Пусть он не пеняет на нас, если, обозревая всю его литературную продукцию, мы не склонны выражать на сей счет особого оптимизма.

[1] «Записки Научного общества марксистов», 1929, № 1/12.

М. Цвибак.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

Одно ясно — старой исторической науки нет и не будет. М. Н. Покровский в статье о «Всесоюзной конференции историков-марксистов» [1] отзывается о старой науке, как о кладбище, и отмечает, что для нас как для марксистского учреждения загружать себя «функцией погребения научных покойников нет ни малейшей надобности. Предоставим им самим погребать друг друга». Говоря о бывших «ординарных», «экстраординарных» и «заслуженных», Михаил Николаевич замечает:

Вы еще не в могиле, вы живы, но для дела мертвы вы давно — и никак даже нельзя сказать, что этим людям суждены были какие-либо «благие порывы». Давным давно прошло то время, когда «заслуженным» такие порывы были свойственны. Если брать их действительно крупные ведущие работы (Как это верно для Платонова! — *М. Ц.)*, дату их напечатания придется начинать по большей части с цифры «18...», а уж если работа написана в первом десятилетии нынешнего века, то это прямо последнее слово науки.

И после этого приходят сюда представители старых исторических школ и говорят здесь с нами таким тоном, будто они и только они носят у себя в кармане билет на право продолжения исторической науки.

В наших условиях гигантского роста новых кадров делаются ничтожными мелкие достижения прошлого. В настоящее время не приходится говорить об отдельных ученых и сверхученых людях, настолько незаменимых, чтобы им позволить продолжать их старые традиции. Рост кадров у нас сейчас настолько велик, что с этой делячеcкой точкой зрения подходить никто не станет.

Каждый из историков, работавших раньше, должен показать на деле, что он может быть полезен для пролетарского социалистического строительства. Правильно, с нашей стороны, использовать все то ценное, то здоровое, то хорошее, что можно использовать из прошлого, как мы используем технику, оставшуюся в наследство от капитализма, и преобразуем ее для наших социалистических потребностей.

Тем, кто хочет итти с нами, нужно много поработать над собой, от многого отказаться, многое позабыть. Прежде всего, нужно позабыть, что они великие ученые, что они — носители науки. Отрицательное впечатление оставило выступление А. А. Введен-

[1] «Историк-марксист», № 11.

ского. Он почему-то считал нужным остановиться на том, почему его хвалили Бахрушин, Платонов и другие буржуазные историки — нас это нисколько не интересует. От такой интеллигентской самовлюбленности, типичной для присяжного творца научных истин, нужно решительно отказаться, и тогда только можно что-нибудь понять.

Введенский характеризует себя как представителя «беззубого марксизма», и объясняет свою «беззубость» тем, что его плохо обучали в университете марксизму в годы «так называемого «магистрантства», которое проходило по всяким объективным условиям у буржуазных историков». При этом он ссылается на статью М. Н. Покровского к десятилетию И. К. П., в которой указывается, что мысль Ленина обучить всех университетских преподавателей марксизму показалась в 1921 г. неосуществимой работникам Наркомпроса. Не стали обучать университетских работников марксизму, как предлагал Владимир Ильич, и это гибельно отразилось на А. А. Введенском и, замечает он,

несомненно буржуазные историки прививали нам, аспирантам, эклектическое мировоззрение, разрывать которое, перековывать его на мировоззрение марксистское приходилось уже вне школы, после нее. Марксистская оснастка приходила во время практической советской работы, вопреки эклектическому обучению буржуазных учителей.

Не ошибусь, если буду квалифицировать это выступление как выступление, рассчитанное на чрезвычайно невысокий уровень аудитории, на полное незнание слушателей о том, что делалось в наших ВУЗах в революционные годы. Мы знаем историю развития классовой борьбы в ВУЗах и кое-кто из нас знает ее неплохо. В условиях этой борьбы можно было политически и марксистски выявить себя. Люди подобные Введенскому, да и сам Введенский вместе со всеми, кто вошел в «пассивный» или «активный» блок с Платоновым, в этой классовой борьбе были против нас. Они поддерживали буржуазную историческую школу и научно и политически. Нечего здесь изображать из себя «обманутые массы». Вам никто не поверит, т. Введенский!

Такого же порядка и попытка Введенского увязать с политикой группировки внутри семинария Лаппо-Данилевского. По его словам

еще при жизни Лаппо-Данилевского академическая среда его учеников не была однородной. Было три течения, оформившиеся в многолетней работе дипломатического семинария: правое, интересовавшееся только клаузальным анализом актов, видя в этом самоцель, это чистые представители формального метода в истории.

Введенский не жалеет эпититов, осуждая «правое» крыло, прибавляя при этом, что я ошибся, «прикрывая всех лаппо-данилевцев этим правым крылом, т. к. кроме «правых» были еще центристы, которые в академическом отношении стремились формальный метод поставить на службу исторического исследования.»

Были и «левые». Введенский пытается эти академические группировки, о которых я слышал и раньше, представить в сугубо политическом виде и хочет нас уверить в том, что «левые» лаппо-данилевцы стали левыми и политически, и эта их научная позиция в прошлом привела их к тому, что они «идут и придут к революционному марксизму». Замечу, мимоходом, что вся эта концепция порочна уже тем, что главный вредитель и наиболее правый политически из лаппо-данилевцев А. И. Андреев отнюдь не был «правым» в «кружке по составлению каталога частных актов». В чем же была «левизна» в науке тех, кто после Октября стал «левым» и в политике, как хочет нас убедить А. А. Введенский? Вот как рисует их установку сам Введенский:

Левые стремились представить акт в его эволюции, хотели дать живую историю акта в зависимости от определенной среды.

Дать «живую историю», вскрыть «дух эпохи», изучить «стиль», почувствовать «гений местности» — типичная черта до мозга костей идеалистической науки, которая перед войной и революцией всячески насаждалась в наших университетах представителями либеральствующих мракобесов. Ярким примером продукции этого рода являются книжки о «душе Петербурга» Анциферова, выступления Зелинского и откровенно-реакционные сочинения Добиаш-Рождественской и ее учениц и учеников. Ничего левого в «живой истории акта» не было. Если и представляет интерес работа лаппо-данилевцев, то отнюдь не своей «живой историей», а только техническими приемами изучения и издания исторических источников. Сплошной чепухой являются разговоры о дореволюционной левизне, попыткой с негодными средствами является стремление т. Введенского представить свою школу в виде органической струи, из которой вырастает современная марксистская историческая наука.

Вы сами принуждены признать, что все вы были в «пассивном» блоке с Платоновым. Странная «пассивность», которая выражается в редактировании журнала! Напрасно вы отрекаетесь от тематической связи с Платоновым. Всем известно и то, что Платонов в «смуте» ориентировался на север, но всем известно и то, что север без актового материала изучать нельзя, а этот актовый материал давали в платоновской группе именно лаппо-данилевцы. Платоновские сборники о севере издавались совместно с лаппо-данилевцем Андреевым. Да и сам т. Введенский в своей корреспонции в VI кн. «Дела и дни» высказывался в весьма определенном духе.

Мы не видим вех в том выступлении, которое мы здесь слышали от Введенского. Тут не было никакого признания ошибок, была защита старой позиции, была попытка протащить, как что-

то ценное, свою собственную старую, прогнившую ненужную, враждебную нашей научной работе буржуазную установку, буржуазную теорию «левой» лаппо-данилевщины.

С. Н. Валк пытался доказать, что философия Лаппо-Данилевского не была увязана с его источниковедением. Для Лаппо-Данилевского, говорил Валк,

было два выхода: один выход в область чистой философии, другой в сторону методики и техники исторического исследования. Надо сказать, что Лаппо-Данилевский испробовал оба выхода — и первый и второй. Они были резко у него ограничены и практически друг с другом связаны не были.

Это неверно. Лаппо-Данилевский, как это принужден был признать и С. Н. Валк, сам показал, что они были связаны, когда выпустил свой курс «дипломатики». Технические и методологические приемы Лаппо-Данилевского определенным образом были всегда увязаны с его философией. Это же азбучная истина и это должен понять каждый, а С. Н. Валк этого не понял. Другие авторы, писавшие о Лаппо-Данилевском, это понимали. Так, например, автор статьи о «Теории истории Лаппо-Данилевского» в 1915 г. писал:

Он не ограничился подобно чистым философам, как Виндельбанд, Риккерт и др., выставлением лишь общих и принципиальных положений теорий и истории, но дал также и детальную разработку специальных вопросов в виде источниковедения. В то же время он на протяжении всей работы остается верен принятой им теоретико-познавательной точке зрения.[1]

Для Кондратьева, того самого, всем так хорошо известного, ибо он является автором этой статьи, является бесспорной верность Лаппо-Данилевского во всех его работах «принятой им теоретико-познавательной точке зрения» — точке зрения неокантианца-агностика — «философа мертвой реакции». Считая, что в «строе дворянской историографической стоит и Лаппо-Данилевский», в этом «анкетном» подходе Валк смешивает происхождение Лаппо-Данилевского с характеристикой его классового лица как ученого. Он не понял что Лаппо-Данилевский является типичным представителем именно буржуазного агностицизма, к которому принадлежало подавляющее большинство профессоров. С. Н. Валк двумя интересными примерами показал нам разницу между научно-техническими приемами Лаппо-Данилевского, строившего обучение исторической технике, как обучение всякой другой технике, и подходом Платонова. считавшего, что для историка нужно «искусство, доступное тем, кто обладает соответствующим талантом, а не знанием только», и что умение разбираться в историческом источнике «вырабатывается в нескольких поколениях ученых и передается преемственно».

---

[1] «Историческое обозрение», XX, 123—4.

Приводя эти примеры, С. Н. Валк не понял классового содержания обоих обрисованных им подходов к технике исторического исследования. В лице Платонова мы имеем узко цеховую тенденцию передачи научной техники от мастера подмастерьям, передачи «сектора» работы над источником группе избранных — это подход типичный для докапиталистических отношений «феодализма в науке», который так устойчив в науке буржуазного общества.

Иное дело школа Лаппо-Данилевского — хотя ее глава и происходил из помещичьей усадьбы, около Гуляй-поля, и отец его был предводителем дворянства. Стремление к выработке точных приемов исторической техники, апеляция к чистому знанию, хотя и строго формальному, полупрезрительное отношение к историкам, которые подобно старым актерам играли «нутром» («мы относились к ним, как к тем, которые не являются строго научными исследователями», говорил Валк о Платонове и его учениках) — все это вместе взятое — показатель того, что в школе Лаппо-Данилевского видны буржуазные промышленно-капиталистические тенденции. Эта школа знаменует попытку перевести историческую технику от феодальной цеховщины на первичные этапы капиталистической техники.

С. Н. Валк, котрый всячески пропагандирует свою технику, а его техника представляет интерес, совершенно не понял социального лица школы, из которой она вышла. Он хочет представить дело так, как будто техника Лаппо-Данилевского никакой связи с научно-теоретическими установками не имеет. Для этого и было нужно по существу абсурдное признание Лаппо-Данилевского представителем дворянской историографии. Нельзя же в самом деле признать «источниковедение» Валка феодально-дворянским пережитком! А если это так, то значит источниковедческая техника ни с какими историческими теориями не связана и может быть соединена с любой историко-теоретической установкой а прежде всего с марксистской, хочет убедить нас С. Валк. Он спрашивает, можно ли из старой историографии использовать что-либо для новой марксистской историографии, и отвечает:

методологические приемы, выработанные в школе Лаппо-Данилевским всецело таковы, что могут быть включены полностью на службу марксистской историографии.

Вот это и не верно. Сделав ошибку в этом основном вопросе, Валк до конца остается на неверной позиции. Тем самым он сам угробил, похоронил идею, которую пытался защищать. Ни для кого не является секретом, что школа Лаппо-Данилевского уже давно потеряла авторитет единственного носителя научно-технических приемов, который она могла иметь в дореволюционной России и на который сейчас ее эпигоны не имеют никакого права.

Вся методика школы Лаппо-Данилевского связана с неокантианской философией, с агностицизмом, основана на признании непознаваемости вещи. Она стремится лишь к вскрытию исторического «явления» и построению представления о нем, с «номотетической» и «идеографической» точки зрения. А нам нужна техника исследования и критики источника, увязанная с исторической методологией на основе материалистической диалектики. Ее надо вырабатывать, а не переносить неокантианскую методику в марксистскую историческую науку, путем механического соединения. Мало того, школа Лаппо-Данилевского и не дала даже общей сводки своих технико-методологических установок. Такая сводка была бы для нас не бесполезна, хотя и только в чисто отрицательном смысле. Преодоление и борьба с неокантианским техницизмом в методике источниковедения могла бы помочь выработке установок нашей исторической диалектико-материалистической техники изучения, критики и использования источника. Все же то, что было у школы Лаппо-Данилевского, не только чуждо и враждебно нам, но и уже просто мелко для сегодняшнего дня. Мы перешагнули в нашей текущей практике революционного строительства и революционной борьбы через те достижения, которые были у лаппо-данилевцев. Мы являемся представителями более высокого настоящего, научного изучения исторических фактов. Мы идем от непосредственной классовой борьбы, от критерия практики. Этот критерий практики дает такие достижения в области научной интерпретации, критики и исследования, которых никакие Лаппо-Данилевские, никакие школы и школочки не могли дать. Мы переходим на методы коллективной научной работы, коллективно организуя труд и объединяя его результаты. Мы готовим громадные кадры историков. Раньше в университетах подготовлялись единицы, индивидуально, теперь у нас растет в различных ВУЗах и научных учреждениях несколько сот молодых историков-марксистов. Они сильны не только тем, что владеют методом марксистской диалектики, они и овладевают и овладели техникой исследования, критики, научного издания и использования источника. Наши издания оставляют позади себя научно-технические достижения не только русского прошлого, но и западной современности.

Но довольно об этом. Остановлюсь еще на одном вопросе, поднятом С. Валком. Это вопрос о блоке между Платоновым и учениками Лаппо-Данилевского.

А. А. Введенский считает, что лишь правое и центристское крыло, говоря его языком, группы лаппо-данилевцев входили в блок активно, левые же были в блоке пассивно. Но все факты, приведенные им, хотя бы для доказательства пассивного участия его самого в этом блоке, с ясностью показали нам, что ни о какой пассивности говорить не приходится. С. Н. Валк тоже не хочет при-

знать наличие блока и тоже приводит, сам того не замечая, факты, доказывающие наличие блока. Если Введенский говорил о трех группах внутри школы, то Валк предлагает просто брать «отдельных ее представителей, потому что каждый ее представитель шел по своему собственному пути». Далее оказывается, что все эти идущие «по своему собственному пути» оказались «на почве деловой работы в Центрархиве» (мы эту работу иначе как вредительством не назовем) в состоянии «некоторого рода сближения» если не с самим Платоновым, то «с теми, кто был в составе школы Платонова». Сделав это совершенно недвусмысленное признание, Валк продолжает утверждать, что блока не было. «Доказывает» он это двумя фактами. Оба факта свидетельствуют о некорректном отношении академика Платонова к покойному академику Лаппо-Данилевскому. Факты эти бесспорны, но они не мешали тому, что ученики покойного академика преспокойно кушали эти некорректности и продолжали деловую и политическую поддержку единства с Платоновым. Что Платонов нарушал правила академических приличий по отношению к Лаппо-Данилевскому, мы вам верим, а где и когда представители вашей школы, т. Валк, выступали против Платонова и сказали об этом? Они этого делать не могли, так как у вас был блок.

Итак, мы здесь имели законченные, правда несколько по разному аргументированные, выступления представителей одной из буржуазных школ, с кадетским буржуазным лицом в прошлом и попыткой протащить свои идеи в нашу среду в настоящем, выступления законченные, объединенные, организованные, независимо от того, хотели этого или не хотели выступавшие.

Некоторые же товарищи решили, что слово — серебро, а молчание — золото. Между тем эта мелкобуржуазная пословица уж устарела. С. В. Вознесенский совершенно не удостоил аудиторию своим вниманием: на первом докладе он был, а на втором и прениях отсутствовал. Другие выступавшие, в свою очередь, говорили далеко не о том, что является самым главным.

Когда старый историк хочет говорить о том, что сейчас происходит на историческом фронте, то ему, прежде всего, нужно начинать с себя. А когда приходит Н. Н. Розенталь и начинает рассказывать о том, что Тарле в какой-то дрянной книжке написал отчаянную чепуху, то Розенталю надо сказать, что таким способом марксистских крепостей не берут.

Тов. Розенталь, надо было сказать о себе, о своем «Юлиане Отступнике», а не об Италии Тарле (Розенталь — «Когда хотите и сколько хотите»). Заслугой является умение самому найти место и время для того, чтобы сказать что нужно. Нужно было понять, что только на базе действительного разоблачения тех традиций, тех установок, которые типичны для прошлого того или иного историка, можно выступать здесь.

Мы имеем небезинтересное выступление и со стороны В. Н. Кашина. Он тоже с деликатностью отнесся к той сокровенной части своей души, которую называют политическим кредо. Кашину не особенно хочется говорить о своих старых взглядах. Поэтому Кашин дает нам исследование библиографического характера, частично повторяя то, что говорилось в докладе, частично дополнив материал доклада. Я за это последнее ему благодарен, в частности за материал о восстании 1648 в Москве. Но, почему Кашин критически как библиограф Платонова не остановился еще на одном труде Платонова? В моих руках труд Платонова, имеющий известное место и в биографии Кашина. Это — «Памятники социально-экономической истории России» под редакцией А. И. Заозерского и В. Н. Кашина. Акад. С. Ф. Платонов. Социальный кризис смутного времени. Л. 1924 год. Вот об этом труде никак нельзя было умолчать. (*Кашин:* Вам и карты в руки, вы об этом говорите.) Мне кажется, что это ответ довольно определенный, автор не хочет о себе говорить. Кашин считает, что для него совершенно достаточно дать критику удачных и неудачных высказываний Платонова по отдельным вопросам, и что он совершенно свободен от необходимости коснуться характеристики своего классового лица в организации, которая создалась в свое время в Ленинградском университете вокруг Заозерского. А об этой роли знает каждый, кто учился тогда в университете, кто знает положение исторического фронта тогда в Ленинграде. Вокруг Заозерского собирался наиболее реакционный кружок молодежи. Роль «катедер»-марксиста в их среде играл Кашин. Следовало бы вспомнить самому т. Кашину о той научной и политической роли, которую играл семинарий Заозерского, его отдельные участники и прежде всего сам Кашин. Это не просто разговор об отдельных личностях, вскрывание лица старых группировок, разоблачение их — основная серьезнейшая задача, без которой невозможно преодоление старых школ. Больше того, только после выполнения ее можно что-либо говорить об участии в современной исторической работе, о борьбе на современном историческом фронте в наших рядах. Кое-кто из товарищей это понял, а тов. Кашин проявил полное непонимание и нежелание понять.

Я уже говорил о молчании С. В. Вознесенского. Странным было молчание и некоторых других товарищей. Меня удивляет, и я думаю, что не только меня удивляет молчание такого крупного в нашей среде представителя старой университетской исторической науки, как Б. Д. Греков. Б. Д. Греков известен своими работами о происхождении крепостного права, в них есть многое от старых школ, но, можно сказать, он пытался сотрудничать с марксистами по этому частному вопросу. Этого мало. Сейчас надо поставить перед собой вопрос во весь рост до конца и вы-

сказаться по вопросам истории в целом. Тогда только можно будет говорить о сотрудничестве с нами. Молчание Грекова тем более недопустимо, что его работы подвергались критике в ряде марксистских изданий.

Тут было несколько выступлений, которые подчеркивали отдельные несогласия со мной. Почему-то С. Н. Валк решил, что я считаю Лаппо-Данилевского первым, кто выдвинул документально-актовый материал. Этого не было в докладе. А. А. Введенский отмечал, что я якобы признал у Платонова наличие двух тем. Это тоже неверно.

Платонов — историк не с двумя темами: «Смута» и Петр 1, но историк одной темы: происхождение, развитие и гибель российского самодержавия

говорит Введенский. Насчет «происхождения» и «развития» — это верно, незачем полемизировать со мной, цитирую себя по стенограмме:

с начала 80-х годов XIX века до конца 20-х годов XX века Платонов писал либо о смуте, либо о Петре, а у него и то и другое. одна проблема — проблема рождения романовской монархии.

А вот насчет «гибели» поспорим, Платонов не был историком гибели самодержавия, ибо для него оно не погибло — он продолжал быть монархистом, и, как мы знаем, считал необходимым возрождение самодержавия тех же Романовых. Этого маленького обстоятельства недоучел А. Введенский. Больше всего полемизировал со мной М. Мартынов. Мне кажется, что он совершенно не прав, хотя по значению затронутых вопросов его возражения являются единственными, которые заслуживают внимания. Он нашел, что мой анализ Платонова как представителя класса был не четок. По мнению Мартынова Платонов никто иной, как «песнопевец старого крепостнического дворянства». Тут о нечеткости не приходится говорить. Можно говорить о разногласии. М. Н. Мартынов предложил совершенно неправильную оценку Платонова. Она и просто неверна и неприемлема политически. Свою установку М. Мартынов приводит совершенно бездоказательно. Он не дает ни одной цитаты из сочинений Платонова, чтобы доказать свою основную мысль, в то время как находит время по второстепенным вопросам цитирпвать Шахматова и Бестужева-Рюмина. Совершенно бездоказательно также проводится причисление Платонова к позитивной школе Огюста Конта. Единственным основанием служит упоминание Платонова в воспоминаниях о том, как он в последнем классе гимназии познакомился с Тэном, Льюисом и Милем. Этого маловато для того, чтобы признать Платонова позитивистом, тем более что позитивная философия ни в малой мере не отразилась на сочинениях Платонова.

Каковы же данные, позволяющие Мартынову признать Платонова сословным историографом российского дворянства?

К числу наиболее сильных, по мнению М. Мартынова, доказательств нужно отнести 1) пристрастие Платонова к монархическому образу правления, 2) непонимание им классового характера самодержавия, 3) преклонение перед Петром I и Александром II (эти цари «стремились сохранить за ним (дворянством) руководящую роль в политической жизни страны»), 4) облагораживание дворянства, 5) представление о «единении царя с народом», как единении царя с дворянством.

Русская буржуазия, как это должно быть известно т. Мартынову, отнюдь не была республиканской. Кадеты даже до 1917 года были монархистами, так что первое доказательство не доказательство. Как мы знаем, «теория внеклассового характера самодержавия» — общее место для российских и буржуазных и дворянских историков, так что этим М. Мартынов тоже ничего не доказывает. Еще меньше он доказывает, говоря о пристрастии к Петру и Александру или об «облагораживании дворянства» или о понимании Платоновым «единения царя с народом», как единения царя с дворянством. Тут мы сталкиваемся с совершенно явной способностью нашего оппонента запутать своими искусственными домыслами самый простой вопрос. Все сказанное Мартыновым в равной степени характерно и для буржуазных и для помещичьих историков. А ведь все эти путаные построения нужны Мартынову для того, чтобы обосновать совершенно дезориентирующее, демобилизующее нас политически представление т. Мартынова о том, что

только с точки зрения этой ставки Платонова на дворянство возможно понять его отношение к интервенции.

Для того чтобы понять, что Платонов был интервентом, вовсе не нужно думать, что он был сословным дворянским историком. Отношение Платонова к интервенции мы великолепно поймем и не считая его представителем одного только дворянства. Почему-то Мартынову кажется, что интервенционистская тенденция Платонова связана

с желанием показать, что дворянство может и должно сохранить в настоящих условиях руководящую роль в политической жизни.

Это уже ни с чем не сообразно. Как это Мартынов до сих пор не знает об интервенционных контрреволюционных тенденциях буржуазных и мелко-буржуазных слоев? Странно как-то это слышать от М. Мартынова. Мы имеем ряд примеров, показывающих ставку на интервенцию у мелко-буржуазных слоев, в прошлом принадлежавших к левому лагерю. Не надо быть представителем дворянства, что-

бы быть сторонником интервенции. Интервентами были мелкие буржуа-с.-р. во время гражданской войны. В частности на севере, в Архангельске, они осуществили ее. Осуществляли с.-р. ее и в Закаспии — на юге. Сейчас за интервенцию Каутский и II Интернационал вместе с русскими меньшевиками. За интервенцию кулацко-кондратьевская тоже мелкобуржуазная группа.

Второй существенной политической ошибкой М. Н. Мартынова было странно увязанное с его взглядом на Платонова, как дворянского историка, стремление подновить резко осужденную мной в докладе тему о том, что Платонов «является тонким и осторожным историком, которого можно считать очень близким к марксизму». Т. Мартынову чудится, что и сам

Платонов, повидимому, разделял взгляд на самого себя, как на объективного историка, близкого к марксизму и имеющего право говорить от этой школы.

Это последнее мнение, не в пример другим утверждениям, Мартынов пытается фактически обосновать. Платонов оказывается считал себя в праве говорить от имени марксизма в 1929 году, когда он написал письмо с критикой Лаппо-Данилевского, о котором говорил Валк и в котором было отмечено по словам М. Мартынова, что

Лаппо-Данилевский был чужд новому господствующему течению в русской исторической науке, т. е. марксизму,

прибавляет Мартынов и делает вывод, что Платонов в силу этого считает себя не чуждым марксизму. Это более чем смело. Такая смелость заслуживает лучшей доли, чем поиски столь знатного «родственника» для марксистской историографии как акад. Платонов. Ничего общего с марксизмом — «революционной теорией самого революционного класса» у националиста-черносотенца Платонова никогда не было. И он сам никогда, не в пример другим, не претендовал на «право говорить от имени этой школы».

Итак, каково же было социальное лицо Платонова? Он был представителем 3-июньского режима, представителем направления, в основном являющегося направлением крепостнического дворянства и самодержавия, но к которому примкнула и верхушка буржуазии. Это был типичный представитель военно-феодального империализма, консолидированного с «капиталистическим империализмом новейшего типа» и в этом его сугубая вредность. Сбросить же его с дороги, как представителя отживших еще в буржуазную эпоху чисто феодальных, старых, дворянских сословных тенденций — дело слишком простое. Это значит не дооценить реакционность русской буржуазии вообще и буржуазной историографии в частности. Необходимо подчеркивать бур-

жуазное дворянское лицо Платонова, наряду с тем фактом, что он стал в определенных условиях вождем всей основной группы, представителем русской буржуазной исторической науки.

Характерным является для русской буржуазной науки, что она умерла под платоновским знаменем. Не об одних дворянских, а и о буржуазных историках писал историк-марксист М. Н. Покровский, как о «лейб-гвардии Романовых». Вся русская дореволюционная официальная университетская историческая наука «была лейб-гвардией Романовых». Это надо понять, это пора бы уже понять теперь, в 1931 году. Тем не менее этого все еще не может понять Мартынов, твердящий о дворянском историке, одновременно являющемся марксистом, не может понять Валк, отделяющий лаппо-данилевцев от всех других школ, как особенную школу, могущую дать нам чистую, свободную от старой буржуазной «четкой классовой установки» методику, не может понять Введенский, с гордостью возражавший т. Томсинскому с места, что он ученик никак не Платонова, а только Лаппо-Данилевского. Гордиться нечем. Ученикам Лаппо-Данилевского не доказать полярности своей группы по отношению к Платонову. Мы, вслед за Лениным, иного мнения о группировках в буржуазной науке, среди буржуазной профессуры. Вот что писал В. И. Ленин в 1913 г.:

> Верхам буржуазии и богатой буржуазной интеллигенции: адвокатам, профессорам, журналистам, депутатам и т. д., почти всегда свойственно тяготеть к союзу с Пуришкевичами. С ними связывают эту буржуазию тысячи экономических нитей.[1]

Поскребите, тов. Введенский, Лаппо-Данилевского — получите Пуришкевича.

[1] Ленин, Соч., т. XVI, стр. 281.

Г. Зайдель.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

Чтобы быть полезным на фронте науки вообще и исторической в частности, надо прежде всего понять всемирно-историческое значение этапа, который мы переживаем. «Вступление в период социализма» не есть словесная формула, за которой скрывается старое содержание. Нет, это есть новая полоса в мировой истории, означающая прежде всего, что здесь, в СССР, мы перешагнули через капитализм, мы завершаем фундамент социалистической экономики. В области идеологии это означает, что буржуазная наука нам перестала служить, она не может двигать вперед наше развитие. Это не означает, что мы просто выбрасываем за борт буржуазное наследие. Нет, но мы его коренным образом перерабатываем на основе марксистско-ленинской методологии и таким образом решительно через это наследие переступаем. Вот почему мы в области идеологии имеем сейчас бурный процесс самокритики. Вот почему ряд буржуазных ученых, которые на прошлом этапе с нами «сотрудничали», оказываются сейчас в лагере врагов, в лагере контрреволюции.

Они пришли к нам, они стали с нами работать, надеясь на победу капиталистической тенденции, которая заложена в НЭПе. Но все их надежды рухнули — социалистическая тенденция явно и бесповоротно побеждает, вопрос о том «кто кого» нашими внутренними силами в основном решен. Не остается никакого другого выхода, как один из двух: либо перевооружиться, переоценить свое собственное прошлое, отбросить буржуазную идеологию, либо стать по ту сторону баррикады, помогать всеми мерами — вплоть до интервенции — внутренней и международной контрреволюции сократить советскую власть, уничтожить единственное в мире социалистическое государство.

Не все из выступавших здесь понимают, что эта новая расстановка классовых сил ставит перед нами в области идеологии совершенно новые задачи. В частности, эти задачи с особенной остротой выдвигаются перед теми, кто вышел из буржуазных «школ» и «школок», кто только в процессе нашего строительства пытался переключиться на рельсы служения пролетариату. Выступления некоторых товарищей показывают, что это переключение является неполным, что они еще в значительной степени на-

ходятся во власти прошлого, не совлекли с себя «ветхого Адама» буржуазно-реакционной исторической науки.

В самом деле, чтó мы слышали здесь, например, от С. Валка, который как специалист по источниковедению занимает у нас в СССР не последнее место? Он охарактеризовал школу Лаппо-Данилевского, из которой он вышел, как «течение в известной мере упадочное». Лаппо-Данилевский по его характеристике представляет собой «струю дворянской историографии», является «в некотором роде эпигоном западничества». Как мы видим, С. Валк пытается здесь, худо ли, хорошо ли, указать и классовый и идеологический источник мировоззрения Лаппо-Данилевского. Мало того, уточняя свою мысль, С. Валк указывает и на философский источник работ Лаппо-Данилевского — неокантианство Риккерта. Он характеризует Лаппо-Данилевского как «Риккерта на русской почве».

Но после этого мы с удивлением узнаем из выступления С. Валка, что «вопросы изучения... нового исторического материала» шли у Лаппо-Данилевского «в плане разрыва с тем, что можно назвать философскими проблемами». Рассказывая интересные вещи о работе в университете, о «приватной школе» своего учителя, С. Валк пытается доказать свое положение следующими соображениями:

Из тех, кто работал в семинаре по дипломатике частных актов, — говорит он, — почти никто не работал по методологии. Это были две области, друг от друга совершенно отрезанные.

Это первое доказательство. Второе состоит в том, что среди тех, которые прошли через «кружок» Лаппо-Данилевского, мы имеем людей с разными политическими установками. Тов. Смирнов, коммунист, видный работник Госплана, на которого ссылается С. Валк, как известно, в области истории не работает. Если же взять тех учеников Лаппо-Данилевского, которые продолжают работать в области историографии, как Валк, Введенский и др. — то они ничем не показали до сих пор, что преодолели своего учителя. Некоторые (Андреев) оказались в стане вредителей. Это конечно не случайно.

Методология мстит за себя. Она неразрывно связана с миросозерцанием и, следовательно, с политикой. Самому С. Валку пиэтет перед учителем мешает стать на марксистские позиции. В 1923 г. в предисловии к «Методологии истории» А. С. Лаппо-Данилевского составители (А. А. Дроздецкий, С. Н. Валк и А. И. Андреев) писали:

В виду *принципиального различия между методологией истории и ее техникой, а также ее методикой* настоящее обозрение касается последних лишь мимоходом. [1]

---

[1] А. С. Лаппо-Данилевский, Методология истории. Выпуск первый, П. 1923. Подчеркнуто мною. — *Г. З.*

С. Валк и сегодня продолжает стоять на той же позиции, утверждая разрыв между методологией своего учителя и его методико-техническими приемами. Отвечая на мой вопрос об этом разрыве, С. Валк вновь подтвердил, что в семинаре, в котором он работал под руководством Лаппо-Данилевского, «ни одного вопроса общетеоретического не поднималось. Это были все вопросы клаузального анализа».

Стоит даже бегло просмотреть второй выпуск «Методологии истории» Лаппо-Данилевского, который как раз касается «методико-технических» приемов учителя С. Валка, чтобы констатировать, насколько последний неправ, когда утверждает, что у школы Лаппо-Данилевского «не было той историографической теории, на которой школа могла бы создаться». С. Валк, правда, признает:

«Очерк дипломатики частных актов», который вышел в 1920 г., поразил очень многих из его учеников, потому что в нем было то, о чем вы говорите, в нем была известная историографическая теория, такая историографическая теория, которая стояла в связи с теми, которые были в его работе под влиянием Риккерта.

Возьмем несколько примеров из «Методологии истории», и мы убедимся, что это суждение С. Валка применимо не только к названной Валком книге его учителя, но и к работам Лаппо-Данилевского вообще. Для Лаппо-Данилевского, конечно, существует критерий «абсолютной истины» в *кантианском* смысле этого слова. Он всецело стоит на почве формальной логики, и с точки зрения соответствия или несоответствия данного исторического факта законам формальной логики рассматривает достоверность факта.

Если историк, — пишет он, — сознает, что основные правила логики соблюдены в нем (в факте, в показании. — *Г З.*), он полагает, что показание может быть достоверным; и наоборот, если он сознает, что они нарушены в нем, он полагает, что показание, по крайней мере в его целом, не может быть достоверно; если историк находит, например, самопротиворечивое показание или показание, одновременно утверждающее или отрицающее нечто об одном и том же факте, т. е. в сущности содержащее противоречивые показания об одном и том же факте, он, разумеется, получает основание сомневаться в достоверности одного из них, может признать одно из них недостоверным и т. п.[1]

Формально логическая, буржуазно-юридическая точка зрения на достоверность факта или показания, которую развивает здесь учитель С. Валка, совершенно очевидна. Противоречивые показания об одном и том же факте, с точки зрения диалектического материализма, вовсе еще не дают «основания сомневаться в недостоверности одного из них». Оценивая эти противоречивые

---

[1] А. С. Лаппо-Данилевский. «Методология истории», вып. II, СПБ, 1913, стр. 625—626.

показания по основному *классовому* признаку, мы можем часто отвергнуть оба показания и выдвинуть *третье* решение, а не выбирать между двумя, по существу, *ложными*. Если, например, *буржуазная* историография утверждает, что риккертианская методология Лаппо-Данилевского является единственно верной основой для выработки правильных методико-технических приемов исторического исследования, а *мелкобуржуазная*, эклектическая историография утверждает, что методология Лаппо-Данилевского плоха, а методика его хороша, ибо нет никакой связи между методологией и методикой Лаппо-Данилевского, — то мы вовсе не выбираем между этим двумя показаниями, а отвергаем оба и заявляем, что и методология и методика в данном случае плохи. Бывает, конечно, и так, что приходится выбирать между двумя противоречивыми показаниями, но правильный выбор может быть сделан только с точки зрения классовой оценки того или иного показания.

Так, методико-технические приемы Лаппо-Данилевского теснейшим образом увязаны у него с его методологией. Приведем еще несколько примеров. Что понимает под «историческим фактом» Лаппо-Данилевский?

Под историческим фактом, — пишет он, — в наиболее характерном, специфическом его смысле, следует преимущественно разуметь воздействие сознания данной индивидуальности на среду, в особенности на общественную среду.

Или в другом месте:

Историк обращает наибольшее внимание на волевое воздействие данной дивидуальности. [1]

Конечно Лаппо-Данилевский не может пройти и мимо воздействия среды на данную индивидуальность, но и самое понятие «среды» он сводит к понятию «индивидуальности». Говоря например о процессе образования народа, об «истории народа»,

историк, — по словам Лаппо-Данилевского, — в сущности, разумеет под ним конкретный данный процесс образования некоей индивидуальности. [2]

Это — плоское буржуазное понимание «среды», «индивидуальности», без попытки рассмотреть действительность с точки зрения единства противоположностей, без какого бы то ни было классового анализа. Понятно, это не может не отразиться и на технике исследования. На примере Тарле мы уж видели, как вредительская техника его исследования совпадает с политическим вредительством, с его контрреволюционной концепцией. «Узкий объективизм», скрывающий противоречия, в действительности характеризует «беспристрастие» буржуазных методологов, в том числе и Лаппо-Данилевского.

[1] Там же, стр. 322 — 323. Подчеркнуто мною, как и дальше. — *Г. З.*
[2] Там же, стр. 329.

И уже конечно охарактеризовать классовое лицо последнего как дворянского историка, что делает Валк, будет по существу неверным. «Риккертианство на русской почве», «упадочный» характер его школы великолепно характеризует именно буржуазный смысл методологии Лаппо-Данилевского. Он собрал воедино, на основе «модной», «неокантианской» теории все, что характеризует методы исследования и миросозерцание русско-буржуазных историков последних лет XIX века и начала XX столетия: от Струве, Милюкова и др. — до Петрушевского и его современных учеников. Анализ Валка оказывается слабым и негодным: он должен быть категорически отвергнут. Тов. Валк обеими ногами стоит еще на буржуазной методологической почве своего учителя.

То же можно сказать о В. Н. Кашине. В свое время здесь, в Ленинграде, [1] т. Кашин продемонстрировал свой методологический нигилизм. Этот методологический нигилизм можно прощупать во всех его работах, обилие фактического материала, собираемого им, всегда давит на него, он из-за деревьев не может и не в состоянии видеть леса. В своем выступлении о Платонове он дополнил рядом данных анализ, данный Цвибаком, но ухитрился одновременно оторвать Платонова-историка от Платонова-публициста. Тот же грех, который характеризует С. Валка — отрыв методологии от методики, в несколько своеобразном виде присущ и Кашину. Разве можно быть тенденциозным реакционным публицистом и одновременно оставаться добросовестным ученым-историком? Публицист и ученый неразрывно связаны всегда: документация историком подбирается всегда под определенным углом зрения. Между тем ранние работы Платонова, по словам Кашина, являются «образцовым исследованием», так как «им впервые главное внимание обращалось на социальные мотивы смуты». Правда, в дальнейшем Кашин пытается показать классовый смысл этих «социальных мотивов», выдвинутых Платоновым, — но при чем же тут «образцовое исследование»?

Тов. Цвибак совершенно прав, когда он указывает, что Кашину, близко сотрудничавшему с Заозерским и являющемуся даже редактором работы Платонова, — следовало бы и глубже проанализировать идеологию буржуазной историографии и кстати заняться самокритикой, вскрыть свои ошибки. Тов. Кашин отказался от этой, не спорю, мало приятной для него вещи, но этим он только продемонстрировал свое нежелание окончательно оторваться от «того берега».

Занявшийся «самокритикой» А. А. Введенский охарактери-

---

[1] См. «Спорные вопросы методологии истории» (дискуссия об общественных формациях), изд-во «Пролетарий». 1930 г. Выступление В. Н. Кашина.

зовал свою позицию, как «беззубый марксизм»,— правильнее было бы сказать, что у него нет ни грана марксизма. Ибо «самокритика», при помощи которой пытаются смазать свое реакционное прошлое, является пародией на «самокритику». В чем выражается левизна А. А. Введенского в его исторических работах, мы уже слышали из уст т. Томсинского. Недостаточно объявить себя марксистом, недостаточно быть даже «отлученным от всех академических церквей буржуазной историографии», чтобы стать действительным марксистом.

В вопросе о переключении на марксистские рельсы мы не можем не быть непримиримыми. Поэтому довольно странно звучит просьба Н. Н. Розенталя относиться «не слишком непримиримо» к его ошибкам. Тот «розовый» марксизм, который царит в работах Н. Н. Розенталя, не может нас удовлетворить. Мы должны его беспощадно разоблачать. Розенталь не понимает смысла и существа учения Маркса и Ленина о революции, он в своей книжке «История Европы в эпоху торгового капитализма» придумал столько типов революции, сколько имеется не только стран, но чуть ли не городов. Он стоит, по существу, на механистической точке зрения, так как вводит особую общественную формацию, в виде «эпохи торгового капитализма». В главах, посвященных России, Н. Н. Розенталь дает великодержавное истолкование русской истории, говоря о «территориальном росте» России, там, где речь идет о колониальных захватах и грабежах. [1]

Выступая сегодня здесь, Н. Н. Розенталь ограничился выхватыванием анекдотических мест из книги Тарле «История Италии в средние века», причем вся речь Розенталя свелась к тому. что он продемонстрировал свое полное непонимание своеобразия вредительских методов Тарле. Для Розенталя Тарле просто «идеалист» в историографии, а не «экономический материалист». Розенталю должно быть, наконец, известно — об этом в наши дни много пишут и говорят, — что «экономический материализм» часто выступает как самый обыкновенный идеализм. Поэтому у Тарле можно найти ряд просто идеалистических объяснений. Однако своеобразие методологии Тарле — это его методологический эклектизм, как я и старался показать в своем докладе. Этот методологический эклектизм помогал Тарле в его вредительской работе: по отношению к людям типа Н. Н. Розенталя он в весьма еще недавнее время оборачивался своей «марксистской стороной», казался «марксистом». Сейчас Розенталь спешит объявить Тарле просто «идеалистом» — и не соглашается с моей характеристикой. В данном случае Н. Н. Розенталь идет вслед за тт. Молоком и П. П. Щеголевым, которые дают повод своим

---

[1] См. рецензию тов. М. Волина в «Историке-марксисте», 18—19 за 1930 г.

плохим примером к не менее плохому подражанию. По т. Молоку путь Тарле — это путь от «идеализма к эклектизму». Для т. Щеголева «экономический материализм» может быть противопоставлен «эклектизму». Это, как я показал в докладе, не соответствует действительности. С первых же шагов своей деятельности Тарле соединял Маркса, Роджерса, Лучицкого и Конта — и таковым он оставался и в зрелые годы, вплоть до наших дней, т. е. был и остался типичным «эклектиком», сочетавшим «экономический материализм» с «идеализмом» и «позитивизмом».

Но возвратимся к Н. Н. Розенталю. Он является не только автором «Европы в эпоху торгового капитализма», но и автором насквозь идеалистической и реакционной книги «Юлиан-Отступник». Почему Н. Н. Розенталь, в припадке «самокритики», ничего не сказал об этом своем «грехе молодости»? Или он считает, по примеру героини из известного анекдота, что «во-первых, я не родила, во-вторых, ребенок-то был совсем маленький». Нет, уже если выступать с «самокритикой», то будьте добры, тов. Розенталь, непримиримо вскрывайте собственные ошибки до конца!

Выступления тт. Молока и Щеголева изобиловали очень интересными данными. Попытку т. Щеголева дать развернутую критику собственных ошибок надо приветствовать. Его указание на то, что Тарле находится под влиянием схемы Бюхера, безусловно верно. Я не отметил этого, так как мне казалось это само собою разумеющимся и не нуждающимся в доказательствах. Кстати, это противоречит попытке Щеголева изобразить Тарле примитивным «идеалистом»: как раз схема Бюхера самая соблазнительная схема для «экономического материалиста», для эклектика, вообще. [1] Не останавливаясь на других выступавших, о которых отчасти сказал уже тов. Цвибак, разрешу себе сказать пару слов о тех, которые не выступали, о *молчальниках*. Молчание это свидетельствует о несостоятельности тех, не выступавших, работы которых подверглись здесь совершенно заслуженному критическому обстрелу. Примером такой научной и политической несостоятельности являются С. Вознесенский и Я. Захер, которые не соизволили сказать здесь ни слова. Тем самым они только подтвердили те характеристики, которые им были даны, тем хуже для них — советская и научная общественность по достоинству оценит их поведение.

Несколько слов по поводу тех уточнений, которые некоторые

---

[1] Укажу также на то, что т. Щеголев несколько примитивизирует и работу бонапартистских историков из журнала «Napoléon»: «Историки» из этого журнала возрождают культ Наполеона, выхваляют его «культуртрегерскую» миссию в Египте и др. колониях, — подводя этим базу под империализм новейшего финансового капитала. Коляски Наполеона и его «любовницы» — только прикрытие этой «благородной» миссии.

товарищи вносили в мою характеристику классового существа работ Тарле в наши дни. Тов. Лурье указывала на то, что если внимательно проанализировать работу Тарле «Европа в эпоху империализма», — в ней можно обнаружить фашистскую идеологию Тарле. Эта характеристика несколько лапидарна и применение ее полностью к Тарле наших дней — не дало бы нам еще полного ответа на вопрос о классовом существе писаний Тарле после революции. Однако доля правды в этой характеристике есть, причем она полностью укладывается в мое определение Тарле как идеологического представителя русского неоимпериализма. Тарле вполне по-своему последователен. В период мировой войны и Февральской революции он стоял на точке зрения единой и неделимой России, тем самым защищая интересы русской империалистической буржуазии. После Октября Тарле во всех работах по внешней политике исходит из восстановления франко-русского союза на несколько новой основе, с учетом интересов Англии и разграничением сфер влияния Англии и России. Тем самым Тарле защищает интересы русской послевоенной буржуазии, «восстановленной» на капиталистических основах России, т. е. русского неоимпериализма. Но русская послевоенная буржуазия не может не нести в себе известных фашистских черт. Русская буржуазия, конечно, не прочь прибегнуть к фашистским методам диктатуры. Поэтому в идеологии русского неоимпериализма не трудно обнаружить и элементы фашистской идеологии. Все это свидетельствует о том, что моя характеристика Тарле, с одной стороны как историка, который хотел показать, что рабочий класс не имеет самостоятельной истории, что он является придатком буржуазии, а с другой — как апологета буржуазной реставрации и русского неоимпериализма, является верной.

Подводя итог прошедшей дискуссии, надо сказать, что в Ленинграде мы имеем глубоко засевшие остатки и тарлевщины и платоновщины. Мы будем беспощадно и непримиримо разоблачать этих последышей буржуазно-реакционных школ. Мы вновь призываем товарищей, которые хотят вместе с нами бороться за торжество марксистской исторической науки и за поворот на службу социалистического строительства, отказаться полностью от своих ошибок и пересмотреть свои позиции. После размежевки, кто окажется на нее способен, может итти в бой вместе с нами. Кто окажется неспособным — пусть пеняет на самого себя: для подлинной исторической науки он перестанет существовать.

Ниже мы публикуем заявления Я. М. Захера, Н. Н. Розенталя и А. А. Введенского, поступившие уже после дискуссии в институт Истории при Ленинградском отделении Коммунистической академии.

Эти заявления свидетельствуют о том, что названные историки, под влиянием фактов контрреволюционной деятельности группы Тарле и Платонова и жестокой критики реакционного буржуазного наследия со стороны исторического марксистского фронта, — делают попытку разоружиться и отказаться от своих научно-исследовательских ошибок.

Отмечая этот акт, необходимо вместе с тем указать на следующее: Я. М. Захер заявляет о том, что *двурушничество* привело его к фактической защите контрреволюционной «тарлевщины» и что он готов загладить свою вину дальнейшей работой. Насколько искренни признания Я. М. Захера, — мы сможем судить только по результатам этой работы.

По поводу заявления Н. Н. Розенталя надо отметить его умолчание о том, что в партии кадетов он играл не последнюю роль, будучи избран гласным в одну из районных дум Петрограда по кадетскому списку, и даже написал очерк по истории своей партии. Эти обстоятельства диктовали, казалось, Н. Н. Розенталю необходимость развернуть и до конца вскрыть свои политические и идеологические ошибки, особенно, еще и потому, что он претендует на то, чтобы его причисляли к революционным марксистам, и даже считает себя субъективно человеком, который «скоро» станет коммунистом «de facto». Приходится поэтому с некоторым удивлением отметить, что Н. Н. Розенталь выдает свои «сменовеховские» настроения в эпоху написания им «Юлиана-Отступника» за «разрыв с буржуазным прошлым и принятием новой советской действительности». Приходится констатировать, что «пережитки буржуазно-интеллигентской психологии», о наличии которых пишет сам Н. Н. Розенталь, достаточно в нем сильны еще и сейчас.

Что касается заявления А. А. Введенского, то необходимо отметить еще раз, что все его прошлые работы ничего общего с марксизмом не имеют. Заявляя об этом сам, А. А. Введенский вновь пытается прикрыть это обстоятельство напоминанием о разрыве с искусственно сконструированными А. А. Введенским «правыми», «центристами» и «левыми» лаппо-данилевцами.

А. А. Введенский заявляет о своей марксистской выдержанности в педагогической работе, в то время как имеются данные, опровергающие его указания. В 1922 году А. А. Введенский был привлечен к работе в Комуниверситет (ныне имени тов. «Сталина»), где он пробыл весьма недолго, — его заменили, лишь только появились подлинные марксисты-преподаватели.

Совершенно необосновано всей прошлой деятельностью А. А. Введенского и сообщение о том, что Октябрьскую революцию он принял безоговорочно. Этому противоречат и деятельность А. А. Введенского и тон статей А. А. Введенского, хотя бы например статьи «Об архивах приуралья» в I книге журнала «Дела и дни», где рассказывается о том, как провинившихся учительниц якобы сажали «в строгановский архив, вооружали ножницами, и в порядке принудительно-трудовой повинности сельская интеллигенция принуждалась к разгрому архива»,[1] или возмущенное упоминание о том, как пермский архив лишился руководителя, «вследствие ареста его местной Ч. К., без соблюдения порядка, предписанного декретом об аресте ответственных незаменимых советских работников».[2]

Странное впечатление производит также постоянное упоминание

---

[1] «Дела и дни», кн. I, стр. 366.

[2] Там же, стр. 365.

А. Введенским о влиянии на него профессоров в эпоху его «магистрантства». Фактически А. А. Введенский в эту эпоху был совершенно зрелым и взрослым человеком, так что всего меньше к этому периоду можно отнести «обволакивание» его «принципами буржуазной историографии», так как А. Введенский сам был уже вполне определенным представителем этой буржуазной нсториографии.

Хронология ухода А. А. Введенского из «платоновского лагеря» также возбуждает сомнения. В 1926 году А. Введенский не был еще в составе Института марксизма, так что с этого времени ему нет основания начинать свой «последний этап», тем более что факты, связанные с его докладом о 1905 годе на Урале, который положил начало по словам А. Введенского его отлучению «от академических церквей», не мог произойти ранее 1927 г., если этот доклад читался во втором исследовательском институте при Л.Г.У., так как этот институт организовался в марте 1927 года.

Больше прямоты, правдивости в вскрывании своего прошлого, вот что приходится рекомендовать А. А. Введенскому. Если А. А. Введенский имеет «волю к борьбе со своими ошибками исследователя», то он это должен показать в своих работах, которые он теперь, как видно из его заявления, готовит. Будет ли он работать в «ученом одиночестве» или в коллективе марксистов — зависит от него самого. Институт истории Комакадемии никогда никому не отказывал и не будет отказывать в помощи, но в свои ряды он принимает только историков, выверенных в качестве исследователей марксистов-ленинцев. К этой категории А. А. Введенский до сих пор не относился.

ПИСЬМО Я. ЗАХЕРА.

1. Первый вопрос, который естественно вытекает из всего моего прошлого, это вопрос о моем отношении к Тарле. В области чисто политической ответ на этот вопрос был мною уже дан в заявлении, поданном в Ленинградское бюро секции научных работников в августе 1930 г. Повторяя то, что я писал в этом заявлении, считаю долгом сказать, что опубликованные за последний год материалы не оставляют во мне никакого сомнения в том, что Тарле является злейшим противником советской власти, вредителем и участником контрреволюционной монархической организации.

2. Переходя к вопросу о научной физиономии Тарле, я считаю вполне выясненным, что Тарле является сознательным антимарксистом, сумевшим однако ловко скрыть свой антимарксизм под маской марксистской фразеологии. Вполне солидаризируясь с положениями, высказанными в докладе т. Зайделя и прениях по этому докладу, я полагаю, что основной задачей, которую ставил себе Тарле в своей «научной» деятельности, являлось стремление установить незначительность исторической роли рабочего класса и тем самым доказать возможность его борьбы с буржуазией. Кроме того вряд ли требует доказательств то положение, что работы Тарле в области эпохи империализма являются нечем иным, как апологией антантовского империализма. Тем самым «научная» физиономия Тарле вполне соответствует его физиономии политической и точно так же должна быть квалифицирована, как физиономия ярко контрреволюционная и двурушническая, ибо свое подлинное лицо Тарле неизменно скрывал под маской «марксизма» и лояльности к советской власти.

3. Однако я считаю, что основной задачей моего настоящего выступления является говорить не столько о Тарле, сколько о себе самом. К этому я сейчас и перехожу.

Начало моей педагогической и научной работы относится к концу 1918 г., т. е. ко времени, когда, порвав организационно и политически с партией меньшевиков, я идеологически все еще продолжал находиться под

влиянием меньшевизма. Это обстоятельство полностью определило мою работу в 1918—1922 гг. и было без всякого сомнения основной причиной всех моих тогдашних ошибок, главнейшими из которых я считаю следующие:

4. Работая в 1918—1922 гг. в семинариях Тарле и Кареева, я, как мне тогда казалось, проводил в своих работах марксистскую точку зрения и противопоставлял ее взглядам таких типичных учеников этих профессоров, как Попов-Ленский, Бирюкович, Данини и др. Однако сейчас для меня вполне ясно, что этот «марксизм» был ничем иным, как «марксизмом» каутскианско-гильфердинговского типа и именно поэтому, конечно, Кареев и Тарле, критикуя мои выступления, вместе с тем не только терпели меня в качестве своего ученика, но иногда даже и выдвигали вперед. Само собой разумеется, что усвоенная Тарле политика подлаживания под марксизм делала для него необходимым наличие в числе его учеников не только открытых идеалистов, как Н. Платонова, но и «марксистов» вроде меня. Таким образом я, сам того не сознавая, целиком играл в это время на руку двурушнической политике Тарле.

5. В непосредственной связи с моим участием в работе семинариев Кареева и Тарле стоит мое литературное сотрудничество в сборнике в честь Кареева и в «Анналах». Причины, заставившие Тарле привлечь меня к участию в «Анналах», теперь для меня совершенно ясны. После того, как в № 1 «Анналов» не было помещено ни одной марксистской статьи, Н. М. Лукин поместил в «Печати и революции» рецензию, в которой указывал на странность того обстоятельства, что в журнале не принимают участия «молодые петроградские историки — Захер и Тюменев». После этого-то Тарле и пригласил меня сотрудничать в «Анналах»; таким образом и здесь мое сотрудничество явилось для него удобной ширмой. Если таковы причины, заставившие Тарле пригласить меня работать в «Анналах», то с другой стороны, причины, заставившие меня пойти на сотрудничество как в этом журнале, так и в кареевском сборнике, могут быть формулированы следующим образом: во-первых, я тогда — и здесь еще раз сказалось мое меньшевистское прошлое — искренне считал, что сотрудничество марксиста в буржуазном органе может быть полезно в смысле распространения марксистских идей. Во-вторых, мне тогда (я ведь был еще начинающим работником!) крайне импонировала возможность печататься в одном органе с такими «крупными столпами», как Кареев, Тарле, Успенский и т. д.!

6. Кроме только что указанного, меньшевистские пережитки, а равно и несомненно имевшее место влияние на меня взглядов Кареева и Тарле наложили ясный отпечаток и на мои научные взгляды того времени. Яснее всего это сказалось в следующем:

а) в докладах, читанных мною в 1921—1922 г. я отрицал, что Парижская коммуна была диктатурой пролетариата, и рассматривал ее как диктатуру мелкой буржуазии;

б) в своих ранних работах о «бешеных» (брошюре «Жак Ру» и брошюре «Очерки по истории бешеных», хотя и напечатанных в 1925 г., но написанных зимой 1922—1923 г.), я рассматривал движение «бешеных», как движение целиком реакционное, что несомненно является чисто меньшевистским взглядом;

в) кроме меньшевистских идей и влияния Кареева и Тарле я в это время находился также и под влиянием кропоткинской концепции Французской революции, что наложило отпечаток на первое издание моего учебника «Французская революция» и брошюру «Парижские секции». Это, между прочим, было правильно отмечено в рецензии Н. М. Лукина.

7. В конце 1922 г. я, как мне тогда казалось, окончательно порвал со своим меньшевистским прошлым и подал заявление о вступлении в кандидаты ВКП(б). Прямым следствием этого был мой полный разрыв с Кареевым и полуразрыв с Тарле. Однако освободиться от тяжести прошлого

было не так-то легко: я не только продолжал в 1923 г. сотрудничество в «Анналах», но и в своих последующих литературных работах сделал ряд грубых ошибок, корни которых лежат в тех же пережитках меньшевизма и тарлевщины. Важнейшие из этих ошибок следующие:

а) как известно, стремление Тарле к умалению роли рабочего класса во Французской революции привело его к отрицанию капиталистического характера французской промышленности конца XVIII века и недооценке роли мануфактур. В своих работах я полностью усвоил эту ошибочную точку зрения;

б) в своих работах 1921 — 1925 гг. я вполне разделял точку зрения Тарле на отрицательные результаты закона о максимуме. Впоследствии же, я хотя частично и отказался от этого взгляда, все же ошибочно считал, что к концу 1794 г. все классы Франции стремились к отмене максимума. Ошибочность этой точки зрения была осознана мной лишь сравнительно недавно;

в) в своих работах о 9 термидоре я, находясь в плену у буржуазной и меньшевистской историографии, указывал на частично отрицательную роль якобинского террора. Это привело меня к выводу, что накануне 9 термидора Робеспьер лишился поддержки всех классов общества, не исключая и мелкой буржуазии;

г) хотя в своей большой книге «Бешеные» я и отказался от ранее данного мной определения всего движения «бешеных», как целиком реакционного, я все же частично остался на точке зрения их революционности, что теперь считаю ошибочным. Точно так же ошибочным я считаю и свой взгляд на 9 термидора, как на переворот хотя и реакционный политически, но прогрессивный экономически.

8. Отмеченные в предыдущем пункте влияния на ряду с моими научными работами не могли также, конечно, не наложить отпечаток и на написанные мною учебники. Следствием этого и явились ошибки, сделанные в моем «Промышленном перевороте в Англии» (механистическая концепция промышленного переворота) и «Революция 1848 г. в Германии» (недооценка значения рабочего класса в этой революции).

9. С конца 1928 г. в своих политических воззрениях я стал испытывать колебания в сторону правого оппортунизма. Прямым следствием этого была недооценка мной факта обострения классовой борьбы в СССР и, следовательно, необходимости усиления борьбы с классовым врагом на идеологическом фронте. Поэтому я не понимал необходимости разоблачения антимарксистских взглядов Тарле и, когда мне было предложено выступить против него, совершил свой двурушнический поступок, достойно наказанный исключением меня из ВКП(б) и снятием с работы. Оценку этого поступка я дал в нескольких своих заявлениях, поданных в ЛБ СНР. Ко всему тому, что было мной тогда сказано, теперь я считаю необходимым прибавить, что если субъективно я исходил лишь из малодушного страха окончательно порвать со своим бывшим учителем, то объективно я прикрывал не только антимарксиста, что я сознавал и тогда, но и контрреволюционера, что, разумеется, я понял лишь впоследствии. Однако это последнее обстоятельство, само собой разумеется, отнюдь не умаляет объективного значения моей вины.

10. Все сказанное выше показывает, что я сознаю свои прошлые ошибки как чисто политического, так и теоретического характера. Возможно, что я здесь что-либо упустил; само собой разумеется, что я буду лишь благодарен тем товарищам, которые укажут мне на незамеченные мною ошибки и тем самым облегчат мне возможность их изживания. В настоящей своей работе я, по мере сил, стараюсь искупить свое прошлое; то, что это так, показывают отзывы о моей работе в Вологде, недавно представленные мною в ЛБ СНР. В заключение могу лишь еще раз повторить то, что я писал в предшествующих заявлениях: задачей всей своей

настоящей и будущей работы я ставлю борьбу за генеральную линию ВКП(б) и посильное содействие социалистическому строительству. В отношении идеологического фронта, на котором я работаю, это означает прежде всего вести борьбу со всеми отклонениями от марксизма, от кого бы они ни исходили. Именно поэтому я и считаю своим долгом говорить в этом своем заявлении не только и не столько о Тарле, сколько о самом себе.

Настоящее письмо прошу, если возможно, предать широкой гласности.

Я. М. Захер.

Ленинград, 18 февраля 1931 г.

ПИСЬМО Н. Н. РОЗЕНТАЛЯ.

После пережитых мною колебаний и сомнений в первые годы революции, я решительно порвал со своим буржуазным прошлым и всецело связал себя с делом рабочего класса.

Я родился в 1892 году. Мой отец, книжный работник, начавший службу 14 лет у издателей сочинений К. Д. Ушинского и затем прослуживший большую часть своей жизни (умер в 1914 году) в издательстве Ф. Ф. Павленкова, дал мне возможность — я был его единственным ребенком, — иметь материально обеспеченные условия существования и получить высшее образование. В 1914 году я окончил Ленинградский университет, при котором был оставлен по кафедре западно-европейской истории, и сделался преподавателем истории в б. Тенишевском училище (теперь 15 Советская школа). По своему мировоззрению я был в это время «прекраснодушным» либеральным идеалистом, высказывал своим ученикам «вольнолюбивые» мысли и ходил в Гос. Думу слушать речи Милюкова. В 1917 году, под влиянием охватившего меня националистического возбуждения, я стал активно работать в кадетской партии, хотя, между прочим, формально не вступал в ее ряды. Октябрьскую революцию я не принял, но никогда не ставил вопроса ни о насильственной борьбе с ней, ни об эмиграции. Мои кадетские симпатии были обусловлены не столько моим «буржуазным» бытием (фактически я всегда был трудящимся, сперва учился, а непосредственно после окончания университета вел преподавательскую и научную работу), сколько моим тогдашним идеализмом и связанным с ним национализмом. Первый резкий идеологический сдвиг я пережил весной 1918 года, когда на ряде фактов имел возможность наглядно убедиться в истинной классовой сущности якобы «бесклассовой» идеи родины (немецкая ориентация Милюкова, отношение кадетов к интервенции и т. п.). После этого я решил отойти от политики и посвятить себя исключительно «чистой» научной и «общественно-полезной» деятельности. Сдав магистерские экзамены, я стал готовить исследование об Юлиане-Отступнике, занимаясь в то же время преподаванием в школах и чтением популярных лекций в клубах. Изменившиеся объективные условия моей жизни, естественно, все глубже и глубже изменяли мою внутреннюю сущность. Законченная в конце 1921 года и появившаяся в печати в 1923 году моя книга «Юлиан-Отступник» несомненно представляет собой характерный психологический документ. В трагической судьбе Юлиана я увидел поучительный пример для колеблющихся представителей нашей буржуазной интеллигенции. «Неудивительно, что для позднейших поколений, а особенно для нас, современников иного великого кризиса, — писал я в предисловии, — религиозная революция IV столетия представляет исключительный интерес, и мы жадно стремимся проникнуть в мысли и чувства ее участников. Тогда, как теперь, люди раздирались противоположными принципами, и между тем как одни устремлялись вперед вместе с течением жизни, другие упорно оставались на старом берегу. Судьба защитников умирающего прошлого, обладавших властью и талантами, но

все же обреченных на гибель, вследствие изжитости их идеалов, полна захватывающего трагизма» («Юлиан-Отступник», стр. 7). Как видно из приведенных слов, в годы писания Юлиана я имел еще идеалистическую концепцию истории, но практическими выводами, к которым я хотел привести читателя, были разрыв с буржуазным прошлым и принятие новой советской действительности. Лично для меня вопрос был решен тогда же безоговорочно. Я стал вполне советски настроенным педагогом, начал работать в комвузах и систематически учиться марксизму.

Будучи по специальности историком средних веков, я сделал попытку написать учебник, который явился бы первым марксистским пособием по этой эпохе. Должен признать, что мои две книжки, изданные в 1924 и 1925 гг. «Прибоем», о раннем и позднем средневековье, конечно, весьма далеки от подлинного революционного марксизма. Но я искренно хотел сделать их марксистскими и, за неимением лучшего, они все же принесли некоторую пользу пролетарскому студенчеству. Как известно, они получили распространение и в наших школах и в ВУЗах и, к сожалению, до сих пор еще не могут быть заменены другими учебниками такого же типа. Своим более удачным марксистским опытом я считаю книжку о Томасе Мюнцере (ГИЗ, 1925 г.). После выхода в свет моего «Средневековья», издательство «Прибой» в лице В. П. Викторова предложило мне написать аналогичное пособие по истории Европы в эпоху «торгового капитализма» и выпустило его в 1927 году. Когда я работал над этой книгой, я субъективно чувствовал себя революционным марксистом гораздо более, чем в 1923—1924 гг. В журнале «Историк-марксист», № 7, о ней был помещен сочувственный отзыв С. Кунисского. Но объективно в моей «Истории Европы» много существенных недостатков. Главными из них являются: выделение из истории капиталистического общества особой эпохи «Общества торгового «капиталистического» и квалифицированного «нового дворянства, связанного с рынком», как своеобразной разновидности класса торговых капиталистов. Эти допущенные мною ошибки я понял и признал в прошлом году и теперь постоянно указываю на них моим ученикам.

В настоящее время, когда наша страна вступает в период социализма, для меня конечно не может быть никаких сомнений относительно того — с кем и куда итти. В происходящей у нас борьбе на историческом фронте я решительно выступил против идеологических врагов марксизма (доклад о Петрушевском в Институте истории, статья о Допше и Петрушевском в «Проблемах марксизма», выступления в прессе, в секции Н. Р. и в Варнитсо по поводу выборов в Академию наук в 1929 и 1930 гг.). Если в отношении к нашим классовым врагам у меня нет надлежащей большевистской ненависти, то это объясняется отнюдь не моими принципиальными колебаниями, но лишь пережитками буржуазно-интеллигентской психологии. Я стремлюсь к социализму и ненавижу капитализм, но в условиях конкретно-практической деятельности мне легче любить, чем ненавидеть. Пролетарская молодежь, с которой я уже долгие годы веду большую педагогическую работу, знает меня, как своего искреннего и верного друга. И большей частью она также расположена ко мне, хотя в начале знакомства со мной всегда обнаруживает более или менее острое классовое недоверие. В последнее время мои ученики все настойчивее и настойчивее спрашивают меня, почему я не с ними в партии, что́ удерживает меня от формального заявления о желании вступить в нее. Я отвечаю им: я еще не доверяю своей психологической подоплеке, я еще не до конца изжил в себе старого интеллигента, я еще не коммунист de facto, но думаю, что скоро стану им. По крайней мере, последние десять лет моей жизни представляют собой ряд последовательно-восходящих этапов по этому пути.

Н. Н. Розенталь.

18 февраля 1931 г.

ПИСЬМО А. ВВЕДЕНСКОГО.

В дополнение к своему выступлению в ЛОКА по докладам тов. Зайделя и тов. Цвибака, считаю необходимым заявить следующее:

I. Я начал свою, не вполне сознательную жизнь достаточно плохо: в марте — апреле 1917 г. я сочувствовал кадетизму и верил в демократию, не сознавая классовой подоплеки этой «демократии». Однако и в этот период кратковременной веры в демократию я не все принимал в кадетизме, почему организационно я не входил ни в студенческую группу кадетов, ни в партию кадетов. Уже в мае 1917 г. моя вера в «демократию» померкла, а после выступления Милюкова и иже с ним и совсем погасла. И до Октябрьской революции я оставался беспартийным обывателем.

II. Октябрьская революция начисто смыла все родимые пятнышки кадетизма. Октябрьскую революцию я принял безоговорочно, я не саботажничал, я активно работал по укреплению советской власти, разъезжал по Северо-Западной области как инструктор-методист по обществоведению в 1918 — 1921 гг. и, работая профессионально, переобучая провинциальных обществоведов, постоянно выступал по провинциальным митингам с докладами о «текущем моменте», «гражданской войне» и «по истории революционного движения» в Витебске, в Луках, Торопце, Невеле, Лодейном Поле и т. д.

III. С 1920 г. началась моя научная деятельность. И первый ее период в 1920 — 1923 гг. проходил в условиях болезненно проходившего раздвоения в моем мировоззрении. Это был период мелкобуржуазных шатаний. В практической советской работе педагога я работаю как марксист, проделывая ту эволюцию, которую прошла советская школа — от учебников Виппера и Рожкова к учебнику М. Н. Покровского. В учебной работе — я ученик буржуазной историографии.

Таким образом, основное мировоззренческое противоречие этого периода состояло в том, что я, будучи добросовестным передатчиком марксизма в своей преподавательской деятельности, не мог научное творчество построить на принципах марксизма, оставаясь здесь на принципах еще буржуазной историографии.

Годы 1920 — 23 были годами моего «магистрантства». Я был оставлен при Ленинградском университете А. Е. Пресняковым и С. С. Рождественским, руководства, особенно со стороны последнего, не было, аспиранты были предоставлены самим себе и самообучались. Несмотря на аспирантское самообучение по преимуществу, обволакивание принципами буржуазной историографии и эклектизмом шло, поддерживалось пиэтетом перед Платоновым, стоявшим вдалеке от аспирантуры, но влиявшим через Рождественского и Преснякова, которые наши научные контраверзы переносили иногда на суд высшего суперарбитра Платонова и приносили к нам его решения.

Ранее моих «магистрантских» годов сложилось другое, и более сильное влияние Лаппо-Данилевского, в дипломатическом семинарии которого на дому у академика я занимался шесть лет с 1913 г. по 1919 г.

Хотя этот семинарий был штудией по изучению методов исторической техники, и, формально, неокантианство не насаждалось учителем в этой семинарии, несомненно, что тем не менее неокантианство проскальзывало в той или иной замаскированной, а иногда в откровенной заключительной формулировке руководителя.

К этому времени пребывания в дипломатическом семинарии Лаппо-Данилевского в 1917 — 18 гг. относятся первые мои занятия по «Капиталу» Маркса. Взяв у Лаппо-Данилевского тему о монастырском вотчинном хозяйстве по архивному фонду Гледенского монастыря в Синодальном архиве, я понял, что без марксизма делать тут нечего. Учитель меня серьезно отговаривал от применения марксистского анализа к архивному материалу Гледенского монастыря, указывая, что «догма» погубит исследователя. Однако, вопреки таким рекомендациям академика. я проштуди-

ровал Маркса, но не сумел освоить марксистского метода и эту тему оставил. Уже после смерти своего учителя я самостоятельно взял темой своего исследования Строгановых как типических представителей русского торгового капитала. Но и в этих работах по истории Строгановых, напечатанных в значительной степени в 1921 — 1928 гг., я также не сумел полностью применить марксистский метод в своих исследованиях. Все мои работы по Строгановым носят еще следы эклектизма и ползучего эмпиризма. И прав тов. Томсинский, говоря на дискуссии, что последняя по времени напечатанная моя работа о строгановской иконе (1928 г.) представляет собою образчик такого ползучего эмпиризма. Работа эта написана однако в 1924 г. и ни в коей мере не отражает настоящего моего мировоззрения.

Философский эклектизм, смесь риккертнанства и кантианства Лаппо-Данилевского были мне всегда чужды и с этим эклектизмом считаю необходимым вести решительную борьбу, вытравляя те элементы эклектизма, которые бессознательно проникли в мое мировоззрение во время длительного периода обучения у Лаппо-Данилевского.

Политическими ошибками этого периода, как я уже указывал в своем выступлении в дискуссии, я считаю: 1) вхождение в редакционную коллегию «Русского исторического журнала» в 1921 г. по приглашению и. о. непременного секретаря акад. Ферсмана, 2) помещение статьи в сборнике в честь С. Ф. Платонова в 1922 г., 3) произнесенные речи в Ленинградском университете на юбилеях Рождественского и Преснякова, где я переоценивал значение буржуазной историографии, учеником которой я был, в период между двух революций.

В этот период, в первой своей печатной работе «Монастырский стряпчий» (Очерки по истории древне-русской адвокатуры), где я изучал ту социальную среду, которая воздействовала на процесс создания тех или иных формуляров актов, я допустил ряд глубоко ошибочных утверждений, взятых из буржуазных историографий, в роде положения о закрепощении государством всех классов в XVI — XVII вв. в Московской Руси.

В своих рецензиях этого периода, печатавшихся, главным образом, в «Книге и революции», я также переоценивал значение исследований буржуазных историков, будучи далек от подлинно марксистской их оценки.

IV. Период 1923 — 1925 — 26 гг. был временем отхода от буржуазной историографии, возглавляемой Платоновым, закончившийся решительным разрывом с платоновской средой. Практическая моя работа преподавателя-марксиста и начавшаяся в этот период моя активная советская общественная работа (член правления жакта, председатель культкомов, месткомов и жакта, организатор ячейки безбожников и т. д.) решительно уводили от реакционной среды буржуазных историков, хотя и в этот период основное противоречие не было изжито: продолжалось бессилие марксиста-исследователя.

Самый уход из платоновского лагеря произошел в первый год существования Второго исторического исследовательского института при Ленинградском университете. Я объявил в институте доклад о «революции 1905 г. на Урале», и Платонов, через своих сановных агентов, категорически потребовал замены этого доклада докладом о строгановской иконе. Мне было заявлено, что специалисту по истории Древней Руси неприлично заниматься темами по истории XX в., которые не являются наукой, а только публицистикой и эти темы по XX в. следует оставить «другим».

Я прочитал доклад о революции 1905 г. вопреки платоновским рекомендациям и был отлучен от академических церквей.

V. Последний этап в моем мировоззрении падает на 1926 г. и продолжается по сие время. В это время я был принят научным сотрудником Институтом марксизма, где принял посильное активное участие. Общение с товарищами, представителями подлинной марксистской исторической науки, окончательно способствовало переделке моего мировоззрения на

мировоззрение марксистское. В этот период, после своего доклада о творчестве Лаппо-Данилевского на торжественном заседании Академии наук в начале 1929 г., я окончательно порываю с «правыми», «центристами», и «левыми» лаппо-данилевцами и преодолеваю лаппо-данилевщину. Я пытаюсь по иному подойти и к дипломатике, дать классовый анализ пройденных русской дипломатикой путей развития, о чем сделал один доклад в Комакадемии. Пересмотру своей выучки дипломатике я посвящаю книгу по истории русской дипломатики в XIX — XX вв., где вскрываю классовую основу в развертывании источниковедческих работ русских буржуазных дипломатиков на протяжении XIX и XX столетий. Этот пересмотр я пытаюсь ставить на основе подлинно марксистско-ленинских принципов. В ученых комиссиях Академии наук в 1929 г. (в Археографической и Истории знаний) мне не удалось прочитать ни одного доклада из материалов моей книги по дипломатике; после своего выступления в торжественном заседании Академии наук с речью о Лаппо-Данилевском я у правых академиков не нашел к себе доверия и в чтении докладов мне было начисто отказано, о чем имеется у меня переписка с академиком Вернадским.

Я признаю, что все мои работы по основной исследовательской моей теме, по истории торгового капитала в XVI — XVII вв., выявляемой мною на примере торгово-промышленной фирмы Строгановых, далеки от подлинно-марксистских тенденций в объяснении собранных мною фактов. В этих работах можно найти лишь беззубый экономический материализм, да установку новых фактов, т. е. чистый эмпиризм.

Из этого признания своих ошибок по Строгановым я уже сделал выводы: в настоящее время я пишу заново свое исследование на основе собранного мною в течение 10 лет работы материала, руководствуясь марксистско-ленинским методом. Насколько успешно будет выполнена эта работа судить не мне. Но если мне суждено будет вести ее в ученом одиночестве, in angello cum libello, ошибки вероятны и даже неизбежны.

1928 год — последний год моих ошибок в напечатанных работах, но последний год и потому, что позже я ничего не печатал. В вышедшем в этом году моем учебнике «Рабочая книга по истории», ч. 1 и ч. 2 (написана в сотрудничестве с А. В. Предтеченским), в главах по истории СССР, написанных целиком мною, есть такие ошибки, основанные на следовании традиции буржуазной историографии. Хотя во время написания я критически подходил к этой традиции, но, тем не менее, кое-что прошло тайком, подсознательно, например «смута» излагается в ключевско-платоновской концепции, начинаясь с боярских верхов, и т. д.

И в настоящее время толкачом моего мировоззрения на путь подлинного марксизма-ленинизма является моя общественная работа, опять-таки обгоняющая марксиста-исследователя. Сейчас я работаю ответственным организатором секции политпрофучебы Культполитсовета Гимпромеза, уполномоченным местного бюро секции научных работников Гипромеза, руководом кружка по XVI партсъезду в Мелноративном техникуме, веду шефскую работу по Московско-Нарвскому дому культуры (читаю эпизодические лекции по истории революционного движения), выступал общественным обвинителем на общественном показательном суде над студентами-летунами в техникуме; веду рабкоровскую работу в «Ленинградской Правде» и «На путях индустриализации».

Я имею волю к борьбе со своими ошибками исследователя и из передатчика марксизма, твердо верю, сумею быть и исследователем-марксистом, так как в своей службе на фронте истории я отчетливо это сознаю, только вместе с пролетариатом, в строгом подчинении исторического исследования целям и задачам строящего социализма пролетариата, может быть смысл исторического исследования.

А. Введенский.

10 марта 1931 г.